

ЛКЧ К84.09(=Чув)

С42

К-68794

**ЮРИЙ
СКВОРЦОВ**



Национальная библиотека ЧР



k-068794

Дорогой Уба-
Бакуну
робуу бабгылы,
Аманга
го-спиз
наеиуе
2/11/84



НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОСТИ

042

**ЮРИЙ
СКВОРЦОВ**

И всё стало иным...

Повести,
рассказы

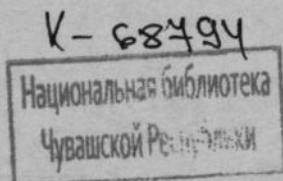
Перевод с чувашского
Киры Ткаченко

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1985

С(ЧУВ)
С42

Рецензенты
В. А. КУКЛЕВ, Ю. А. ДУДОЛКИН

С $\frac{4702650000 - 315}{M106(03) - 85}$ 271 - 85



ПОВЕСТИ

И ВСЕ СТАЛО ИНЫМ...

1

Белое безбрежное поле, на нем одинокая фигурка девочки-подростка в легком, не по погоде, пальтишке. Концы серой пуховой шали, плотно обтягивающие голову, спрятаны под воротник.

Под ногами с хрустом обламывается тонкая глазированная корочка свежей наледи. Пронизывающий, студёный ветер больно бьет по щекам. Девочка пробует защититься ладонями, но безуспешно... Руки без варежек тут же прихватывает морозом, приходится прятать их в карманы. Остается только повернуться спиной к метели...

Небосклон плотно затянут молочной дымкой снегопада, и нет надежды на скорую перемену погоды. Наоборот, ветер крепчает с каждой минутой, метельная мгла заволакивает все вокруг, густо затушевывает темнеющий на пригорке небольшой лесок. Издали он теперь кажется холкой разъяренного дикого кабана, поднявшего для устрашения жесткую щетину.

По обочине дороги вытянулись стебли молочая и осота, их белые пушистые коробочки, обдерганные и исхлестанные ветром, превратились в жалкие, неопрятные комки, напоминающие свалывшуюся овечью шерсть. Куст татарника силится удержать зацепившиеся пружинки гороха — они рвутся с колючих веток, издавая тонкий, дребезжащий звук.

Снегу намело еще не так много, чтобы скрыть мерзлые глыбы чернозема. Из-под одной вдруг показалась любопытная мордочка мыши-полевки. Что за нужда выгнала зверька из уютной норки? Может, мышь забыла подобрать горошины, рассыпанные под колючим кустом?

Секунда — и они, человек и зверек, замирают на месте. Потом мышь вмиг скрывается из вида — словно прова-

ливается под землю... Носком старого валенка девочка пробует скovyрнуть мерзлый ком, но он не поддается: интересно проверить, здесь ли мышиная норка?

И опять все пусто кругом. Сгущаются сумерки. Пора возвращаться домой. Хватит, погуляла, намерзлась, набродилась. А кто ее гнал сюда? Откуда ей знать. Просто что-то странное происходит с ней. Раньше никогда бы не поверила, что можно вот так, без особой причины тосковать и мучиться. А вдруг есть она, эта причина, только неизвестно какая? До чего же все надоело, до чего опротивело... Бежала бы, кажется, на край света... Люди не те, река, поле, небо — все не то, все как будто подменили... А ведь еще летом, только еще летом ох как было весело: купалась, загорала, вечером пела с девчонками, ходила в клуб, на посиделки...

Говорят, здорово выросла, совсем девушкой стала. Косы отросли, теперь уже ниже пояса. Посмотришь в зеркало — сама себя узнаешь с трудом. Особенно изменились глаза: стали большими и блестящими. Губы все время горят, как от горького перца...

Холодина, брр! Сейчас бы дома сидеть у печки, читать или вязать толстый шерстяной носок, чувствуя на коленях уютный колючий клубок...

Мороз пробирается под ткань старого, выношенного пальтишка, руки совсем заколели...

А все-таки хорошо, что она вырвалась из дома и гуляет одна, сама по себе... Одна-одинешенька посреди вихревого, мглистого простора, как бесстрашный полярный путешественник.

Эта неожиданная мысль круто меняет настроение. Прогулка приобретает цель и смысл — ну да, она здесь для того, чтобы проверить силу воли.

Напирая грудью на податливую, вязкую стену снегопада, с радостью и восторгом девочка подставляет горящие щеки секущим струям... Пусть бьют, пусть хлещут — теперь ей не холодно и не больно.

«Лечу-у-у... — хочется крикнуть, — лечу!»

Кажется, она действительно кричит. Отозвавшееся вдали эхо, искаженное метелью, пугает ее зловещим: «У-у-у!»

«Ой, что это? Да ведь это я сама ору как ненормальная, — ругает себя девочка, — как старуха, разговариваю уже вслух. Ох, Тамарка, если себя в руки не возьмешь, пропадет твоя головушка... И в кого такая уродилась?..

Вроде вся родня нормальная... Все работают: сеют, жнут, полют, косят, ухаживают за скотиной, детей растят. Ты-то чего хочешь? Да просто хочу понять, для чего люди на земле живут? Родились, растут, стареют, болеют, а потом умирают. Умирают... Не может быть, чтобы человек только так жил на земле. Иной раз смотришь на взрослых и думаешь: они умные, все знают. А они, глядишь, ничем не интересуются: едят, спят, вкалывают. Кругом — природа: вода, трава, небо, а они только одну землю видят, роются в ней, как кроты. Не хочу... Наверно, только у нас в деревне так — в городе, поди, все по-другому: люди много видят, много думают и знают, для чего живут».

Тамара любит стихи. В них поэты рассказывают людям о своих переживаниях, непохожих на те, которые испытывает она. Вот если удастся попасть в город, если поступит она в институт, то обязательно познакомится с поэтом. И тогда... докажет Вальке! А может, все из-за него?

Девочка тяжело вздыхает, и опять на сердце тяжело, мучительно-неопределенно, и опять становится холодно и нелегко идти против ветра...

«Все,— твердо решает Тамара, — домой. Скоро совсем темно станет».

Разбитая, усталая, переполненная смутными мыслями, неясными предчувствиями, девочка бредет по твердым кочкам, спотыкается, иногда падает, встает.

Это очень честная, очень мужественная девочка. Правда, сейчас она многого не понимает, но пройдет время, и Тамара справится со многими вопросами, поставленными тем возрастом, который принято называть трудным...

Между тем уже почти стемнело, снегопад кончился. Белое, обновленное поле отдыхало после бурных и яростных наскоков первой метели. Свежие снежинки, еще не успевшие слиться в единый монолит твердого наста, сдувались легким ветерком. Казалось, грудь засыпающей земли тихо вздымается под белоснежной пуховой шалью.

До поселка уже недалеко. Метров через двести будет река, затем мост, а за мостом начнутся улицы.

Тамара убыстряет шаг и скоро чувствует, что совсем разогрелась.

Теперь ее одинокая прогулка не кажется чем-то героическим — так просто, глупость, ребячество... В воображении встает мать, с ее упреками, подозрениями: «Где была?», «За чем ходила?», «Кого видела?» Откуда девочке знать?

Ей бы самой кто-нибудь объяснил, что происходит с ней...
...Темно, жутко.

Особенно страшно у моста. Вдруг из воды вынырнет водяной и закричит неземным голосом?.. А мышь, которую давеча видела?! Может, это вовсе и не мышь, а кто-то другой, обернувшийся зверьком... Водил-водил по полю, пугал, навязывал всякие мысли. Не отпускал...

Вверх по реке, ошупывая окрестные предметы темными длинными руками, как слепой Хвери¹, надвигается ночь.

Не в силах подавить надвигающегося страха, Тамара со всех ног пустилась бежать по мосту. Сердце колотится в такт перестуку гулких досок...

Под мостом серая утка, смутно различимая на темной поверхности, с головой ныряет в воду — ловит клювом льдинки шуги. Говорят, именно от льдышек так жиреют осенние птицы...

Краем глаза девочка замечает эту забавную картинку: кувырк — и голова втыкается в мелкую волну, короткий хвост остается на поверхности вместе с желтыми лапами, болтающимися в воздухе, как тряпочные...

Гулко, словно выстрелил, хлопнув крыльями, голубь-сизарь вынырнул из сумерек и уселся на перильца.

«Какая я все-таки дурная, — упрекнула себя Тамара, — чего пугаюсь, о чем переживаю? Впереди еще целых два года, а там... Уеду я из деревни, ни за что здесь не останусь. Что мне тут делать? Многие девчата уехали, теперь живут в городе и довольны. Когда приезжают погостить к родителям — не узнать: нарядные, молодые! Там даже старятся позднее. Я тоже буду приезжать. На каникулы сначала, а потом... Может, тоже, как некоторые, и за границей побываю: в командировке или по туристической путевке... Чем я хуже? Также приеду во всем модном, только без маникюра — старики не любят, когда ногти покрашены.

Воображение, которое так легко переносит в будущее, смиряет, растворяет страх: на душе становится легко, и хочется подурачиться.

— Эй, — кричит девочка утке, — смотри не простудись!..

Голубь, важно выпятив зоб, осуждающе уставился на нее оранжевой бусинкой глаза: мол, нашла время для шуток — зима на носу, трудное время наступает.

— А ты, жирный, что боишься? Не переживай, приле-

¹ Слепой Хвери — персонаж чувашской народной сказки.

тай ко мне во двор. Накормлю, — обещает Тамара и кричит в темноту: — Зима, зима-а-а-а!

Голубя как смыло. Из таинственной глубины, из-под моста, донеслось протяжное: «А-а-а...»

Тамара вздрогнула — что-то слишком громко случилось: вдруг кто услышит?.. И тут, как нарочно, сзади, с противоположного конца моста, застучали решительные, по-мужски тяжелые шаги.

Свернув на боковую тропинку, девочка оглянулась. Несмотря на темноту, ей показалось, что она узнала позднего прохожего. В голове молнией пронеслось: «Только бы он не заметил, а то еще подумает, что за ним гоняюсь!»

Валя, Валентин — самый лучший парень в их классе, самый умный, способный, развитой. Даже не поверилось, что он тогда действительно поджидал ее. В тот вечер и звезды горели ярче обычного и по-особому, горько и тревожно пахло палой осенней листвой... И она казалась самой себе легкой и воздушной — пылинка, с которой играет солнечный луч.

Сказал ли ей парень те, заветные, слова? Кажется, сказал. После их свидания все стало иным. Началось тревожное, непонятное время: минутами такое веселое, аж дух захватывало; минутами грустное — так бы и плакала, жаловалась кому-то очень доброму, ласковому, способному понять и утешить...

А Валентин? Тамаре кажется, что теперь он стал сдержанней, смотрит с какой-то опаской, часто хмурится, злится и отворачивается, если она хочет с ним заговорить...

Зачем он так?

Девочка частенько плачет, незаметно, конечно, чтобы никто не видел — отвернется на перемене к окну и... Потом слезы смахнет и, как ни в чем не бывало, шутит с девочками, смеется.

...Только бы добежать до дома незамеченной, чтобы он ее не узнал. Вот и калитка, Тамара берется за скобу, оглядывается — прохожий свернул вправо и скрылся за углом соседней улицы.

В темноте Тамара едва нашла дверную ручку, потянула ее на себя с силой. Дверь по-зимнему, с натугой, отворилась.

Лампочка в избе не горела. Тетушка Варук, Тамарина

мать, верна старой привычке вздуть огонь в керосиновой лампе, лишь когда вечер наступит окончательно и за стеклами появится густая, чернильная тьма. А дочка любит, чтобы всегда было светло!

Выключатель как раз рядом с дверью, над умывальником. Тамара нажимает черную кнопку. Веселый, ясный свет смывает тоскливую полутьму. В простенке между окнами остро блестит иголка с длиннохвостой белой ниткой.

Сняла пальто, стряхнув с валенок снег, аккуратно задернула занавеску на загнетке, подошла к столу.

— Что так долго? Где пропадала?

— Нигде! — взорвалась Тамара, уже приготовившаяся к отпору. — Вечно одно и то же! Что я плохого сделала? Что? Что?

— Батюшки, — всплеснула руками тетушка Варук, — с чего это ты на мать набрасываешься? Слово сказать не даешь. Разве не имею права спросить? Ведь уже ночь на дворе, а тебя все нет и нет! Думала, плутаешь где, поди, замерзла — пурга. Все нервы дрожат из-за тебя.

Тамара знает, если начались «нервы» — это надолго. А кто виноват, что матери не повезло в жизни? Дети?

— Бесчувственная ты, право слово, бесчувственная, — тянет мать. — День-деньской как белка в колесе, а ты разгуливаешь себе...

Сколько обидных слов приходится выслушивать, сколько попреков... Конечно, иной раз и заслуженных, но какая разница — все равно тяжело.

— Вот помру, — продолжает тетушка Варук, — как без меня жить-то будешь? Как? Ничего ты толком делать не умеешь. Все лето пробегала по купаньям да по гуляньям. Видно, еще не набегалась... Даже и непогода тебе нипочем. Кто про скотину думать должен? Мать; про уборку, стирку — опять мать. Уморишь ведь, до пенсии не дотяну. Небось как останешься одна — в избу к тебе не зайдешь: разведешь тараканов, пауков... Тьфу! Иди, иди, ступай, бегай... Для чего только детей родить?... Корми их, одевай, воспитывай, а пользы — ни на копейку!

Тамаре на самом деле очень жаль мать, просто сердце иной раз разрывается от ее слов. Разве не видит, какой стала Варук после смерти отца, разве не понимает, как трудно приходится одинокой женщине с тремя детьми...

— Мамоchка, родненькая, бедная моя мамочка...

От неожиданности мать теряет нить обычной воркотни.

После слов: «...а пользы ни на копейку» — обычно следовало напоминание: «Ты же старшая, понимать должна».

Варук застывает с открытым ртом, молча подымается с лавки, руки ее заметно дрожат, по увядшим щекам катятся слезы...

— Ты ведь молодая, молодая, — бьется в истерике Тамара, зажимая рот ладошкой, — а... а... посмотри на себя! Неужели и я, и мне...

— Дочка, — не на шутку встревожилась мать, — ты чего? Перестань, не расстраивайся. Не бывает такого, чтобы и мать и дочь были несчастливymi. Ты справная девка, умная, ученая, тебе жизнь достанется хорошая. В институт поступишь. Может, станешь городской. По мне, конечно, лучше бы дома осталась, замуж вышла за своего, детишек...

— Ты же говоришь, зачем детей родить?

— Да это я просто так, в сердцах. Без детей женщина — не женщина, особенно деревенская. Мне в деревне, думается, прожить легче: здесь все свое и все люди свои — соседи, знакомые, родня. Хлеб растить — дело самое нужное. Будь хлебоборкой, как я, как все в нашем роду. Вон Галя, подружка твоя закадычная. Школу кончила, работает в колхозе. Живет, не тужит... Да, забыла, тут она давеча прибегала, тебя спрашивала, просила передать: мол, пусть зайдет, а то ей с Колькой не справиться — мать опять в командировке. Колька, говорит, одну вашу Тamarу слушается. Ты поешь маленько да иди.

Честно говоря, Галю тетушка Варук недолюбливает, терпит лишь потому, что с дочкой дружат с самого раннего детства. Тamarу с Галькой не сравнить. Галька с норовом, дерзкая, развязная, на парней уже засматривается. Правда, она и постарше Тамары, уже совсем взрослая: полная, грудастая. Рядом с ней дочка как воробышек желторотый. А Томка не такая уж плохая. Вот сегодня после школы целую кадку воды натаскала. Кто знает, отчего сейчас у людей такие плохие нервы? Все злишься, злишься, на детей ругаешься. Зачем? Чем они виноваты? Без отца растут. Отец, правда, никудышный был. Пьяница. Шофером работал — питье даровое: кому что привез, кого куда отвез — за все бутылка. Угодил-таки за решетку, а вернулся — опять за свое. В пьяной драке и нашел смерть. От позора она с детьми чуть было не уехала из деревни навсегда. Но спасибо добрым людям — надоумили вернуться. Колхоз пошел навстречу. Дом построили хоть и небольшой, но крепкий. То дров бесплатно привезут, то

корму скотине, а там весной колхозным трактором вспашут огород — все легче, чем лопатой, вручную. Трудно, конечно, приходится, но бабы народ привычный...

Тамара способная к учению, в школе ее хвалят, по литературе и истории — самая первая... Младшая, Лизка, тоже смышленная, тоже учителя ею довольны. Мишка, сынок, еще дошкольник, может, тоже окажется башковитым. Тогда, Варук, готовься одна век куковать — разъедутся ребяташки, разлетятся кто куда. Беда, беда... В молодости — одна, в старости — одна. Такая уж уродилась она несчастная... Судьбу, говорят, и на кривой кобыле не объедешь... Надо терпеть.

А Галька эта — пустобрех, хабалка, ленивая. Машинка у них есть швейная, хоть бы поучила подружку шить, все бы делом девки занимались, а не болтали языком попусту.

Хотела было Варук сказать дочери про машинку, да передумала — вдруг опять вспылит. Только-только замирились. Боязно, а ну как отбреет: «Мало тебе, что я уроки делаю, помогаю по хозяйству, надо, чтобы еще и шила на вас». Вполне может такое сказать, вполне. Нет, лучше промолчать. Взрослая почти стала Тамарка-то...

Вспомнила себя мать в молодые лета. Пригорюнилась. Отпотевшее стекло плачет крупной мутной слезой...

3

Цветет черемуха, цветет чебрец, богородичная трава. Вся опушка выстлана сиреневым ковром... Если зацвел чебрец, значит, весне пришел конец. Иногда богородичная трава зацветает раньше, чем на черемухе успевают облететь ее белые пахучие грозди. Вот тогда-то благодать в лесу: оба аромата, смешиваясь, такой дают запах, что просто сердце разрывается от радости...

...Она идет по лугу, утопая по грудь в высокой траве... Сколько здесь цветов! Да каких красивых... Так и хочется сорвать. Но только девочка протягивает руку, как цветы вспархивают со стебельков и улетают.

Теперь над головой стаи разноцветных мотыльков. Но не тут-то было, никуда вам не деться — оказывается, и она умеет летать, оказывается, у нее такие же легкие и красочные крылья — самых нежных оттенков. Кто-то читает стихи. Неужели это она сама сочинила:

Цветные крылья за спиной,
Как мотылька наряд.

Ты проплываешь над землей,
Притягивая взгляд.
Смеются травы и цветы:
«Да ты летишь, дружок!
Смотри, как с бабочками ты
Пустилась в хоровод»¹.

Тамара проснулась, и так не захотелось ей расставаться с этим удивительным сном. За окном уже почти зима, противно воет ветер. Изба вся простыла...

За столом, укрывшись большим платком, сидела сестренка Лизка и учила уроки.

Ох, как жаль покидать теплую мягкую постель... Вот так бы и лежала целый день, думала о приятном... Заниматься неохота, сегодня легкие предметы, любимые.

Тамара не привыкла зубрить — раз прочитала материал или внимательно выслушала учителя, если ничего не отвлекает, и все улеглось в голове, как в кузовке, новом, прочном... Можно бы еще на полчаса вздремнуть, да вредная Лизка включила радио.

На дворе еще не рассвело, стоит густая сумеречная синева.

Сидя в постели, Тамара долго расчесывает свои густые волосы, закусив зубами конец красной ленточки, которую она собирается вплести в косу.

Мать разогрела вчерашний суп, нарезала хлеб, разделила на пять равных частей мясо. Так уже у них заведено — всем поровну. Позвала детей завтракать.

За столом нужно сидеть прямо. Когда хлебаешь суп, нельзя облакачиваться на стол, низко нагибаться к миске. Чтобы не пролить ни капельки, под ложку подставляешь лопоту хлеба. Крошки тоже надо собрать на ладонь и бросить в рот. Миска общая, и, по старинке, вся семья сидит кружком, поочередно окуная в нее свои ложки. Вперед других лезть не полагается.

Завтрак обычно проходит чинно, без лишних слов и разговоров, молча.

Мать зорко следит, чтобы дети не спешили. Но сегодня Мишка, терпеливо ожидавший, когда заветный кусок подплывет к нему, вдруг увидел: мясо рядом с ложкой старшей сестры. Не выдержав, парнишка рванул из-за стола, выхватил мясо, но не удержал...

Вороватая кошка, сидевшая под столом в ожидании

¹ Здесь и далее стихи К. Ткаченко.

случайной добычи, тут же воспользовалась Мишкиным промахом и, радостно урча, потащила кусок под печку.

— Ты что такое делаешь, ирод? — взмахнула Варук ложкой. — Мясо кошке бросаешь?

— Она сама потащила... А чего ты мало даешь? Хочется ведь.

— Вперед сам заработай, а потом хоти. Ишь «мало даешь»... Не напасешься на этакую ораву, совсем измотали нервы.

Тамара не выдержала: «Сколько раз просила, чтобы ей наливали отдельно!» — поднялась из-за стола собирать сумку. Утреннее настроение вконец испортилось...

...Над деревней, опираясь на прямые столбы дыма, поднимающегося в эту пору почти из каждой избы, повисло огромное серое облако, предвещающее скорый снег.

На дорогах воробьи, значит, зима наступила. Летом эти хлопотливые птицы все в садах и огородах — там много для них поживы. Сейчас, конечно, голодно, все убрано, все попряталось. Нахохлившись, растопылив крылья, воробьи тревожно чирикают: найдется ли хоть что-нибудь, хоть какая крошка, хоть какое зернышко?

Провода, заиндевав, стали похожими на пушистые белые вожжи. Только в тех местах, где посидели птицы, видны черные проплешины.

Тамаре нравится нарядный иней. Он вмиг преображает деревенскую улицу. Снежные цветы, которые вырастают на каком-нибудь старом заборе, на невзрачных, порыжевших пряслах, на воротах и скрипучих калитках, такие хрупкие и нежные — не дотронься — примиряют ее с серыми буднями.

Девочка чувствует, как тяжелеют ресницы, их даже трудно разлепить. Зато сейчас она, наверно, похожа на Снегурочку... Тамара любит сказки, особенно Андерсена. Он умел преображать мир привычных предметов, для каждого находил место в своем таинственном саду. Что делали бы люди, как жили, если бы с детства не знали сказок?

Интересно, трудно ли сочинять? Может быть, попробовать?

Как много впереди заманчивого! А мама хочет, чтобы она сидела тут, в этой глуши, где ничего особенного не происходит и вряд ли произойдет. Для чего же тогда учиться, решать задачи, доказывать теоремы, заучивать стихи? Коровам, что ли, это нужно или овечкам?

С первого класса им внушали: «Тому, кто окончит шко-

лу, все пути открыты». Вот она и привыкла думать, что обязательно после десятого будет продолжать учебу. Однако странно, в последнее время учителя все чаще и чаще повторяют: «Сперва надо поработать, найти себя». Значит, ей, Тамаре, придется остаться? Почему? А она не хочет. Разве можно найти здесь что-то интересное? Да она знает каждого человека, каждую соседскую корову, каждый кустик, каждую тропинку. Любуясь на них всю жизнь. Да так можно умереть от тоски, зачахнуть, и никто на белом свете не узнает, что жила она на свете...

Мысли, что бусы без дырочек, как ни старайся, нанизать невозможно, скользят, рассыпаются. Сколько бы ни думал, все равно ничего не понять, ни в чем не разобраться.

Конечно, всем получить высшее образование нельзя — это ясно. А некоторым, таким, как Галя, оно и не нужно. Но ведь она, Тамара, совсем другое дело, она все детство мечтала: только бы поскорее вырваться из трудной жизни, какой живет ее семья. Пусть учеба, город, незнакомые люди, непривычные порядки — все равно!

Тамара очень любит свою школу: каждый раз приближаясь к ней, девочка чувствует волнение, словно «в первый раз в первый класс». Красивая двухэтажная школа — украшение всего поселка — стоит на горе и видна отовсюду. Кусты акации и ряды молодых елочек окружают светлые стены. Огромные окна с чистыми прозрачными стеклами — словно добрые глаза устремлены в мир. «Добро пожаловать!» — гласит надпись над дверью.

С легким сердцем переступает девочка порог. В школьном коридоре необычная тишина. Лишь возле раздевалки возятся, тузят друг дружку первоклашки — не успели выяснять по дороге, кто сильнее.

Из дверей учительской выходит стройная девушка с повязкой дежурного на левой руке. По тому, как она с нарочитой строгостью закидывает голову, по важному, деловому выражению лица Тамара сразу определяет, что это практикантка. Ах, вот почему никого не видеть! Говорили, еще с неделю назад, что приедут к ним студенты. Два дня, как они уже в школе. К девятому прикрепили Геннадия Васильевича. Он сразу же понравился всем, только ей одной, пожалуй, не очень — чересчур просто держится с учениками. В первый же раз сел к ней за парту без стеснения, а ведь он совсем молодой, можно сказать, парень. Тетрадками Тамариными интересовался, попросил дневник показать. Хмыкнул про себя, полистав, ничего не

сказал. Станный какой-то. Все смотрели на нее, все смотрели, аж неудобно, хотя бы замечание сделал. Если понять не может ученика с первого взгляда, зачем на учителя учиться. Учитель все должен знать, обо всем судить точно и определенно, никогда не ошибаться.

Тамара прячется за колонну — не хочется попадаться на глаза дежурной. Когда бодрые, энергичные шаги удаляются, девочка спешит в класс и вдруг вспоминает, что перед уроком сегодня должна быть политинформация, ее проводит студент-практикант. Неудобно получилось, что опоздала. Преодолев неловкость, Тамара стучится в дверь. Так и есть — все уже на своих местах...

— Можно войти? — несмело спрашивает она.

Геннадий Васильевич разрешил кивком головы, не прерывая рассказа, «уколов» изучающим взглядом. И только. Ни вопросов, ни упреков, ни замечаний. Провалилась бы сквозь землю... Зато Валентин смотрит. Тамара, опустив глаза, проскальзывает за свою парту.

Конечно, у студента язык хорошо подвешен — говорит легко, красиво, не ищет слов, не заглядывает в конспект. Может, и получится из него хороший учитель. Кто знает? Нестрогий какой-то. То ли дело Вера Федоровна! Она говорит громко, четко, повелительно — волей-неволей слушаешься — хотя никого и никогда не выгоняет с урока, не зовет на помощь ни директора, ни родителей. Если кто проштрафился, стоит только Вере Федоровне взглянуть, как душа в пятки.

Практиканта тоже слушают, но по-другому: просто очень интересно рассказывает. Об Индии.

Тамара не может объяснить себе толком, каким таким даром обладает студент. Геннадий Васильевич заставляет тебя самого воображать. Тамара, например, видит Индию, как в кино. Какая здесь природа! Тропические леса, удивительные растения, невиданные птицы и животные. Дворцы и храмы с фигурами огромных индийских божеств и святых. Украшения из золота и серебра, слоновой кости и драгоценных камней, ткани — парча и шелк. Кажется, здесь не должны знать, что такое голод и нужда. Но Геннадий Васильевич говорит, что Индия очень бедная страна.

«Почему же? — недоумевает Тамара. — Сколько всего: бананы, ананасы, финики. Ешь, сколько хочешь...»

— Индийская природа, — поясняет студент, — не всегда добрая мать, иной раз она становится настоящей мачехой — сокрушительные ураганы и тропические ливни в одно

мгновение ока уничтожают многодневный труд крестьянина, все эти финики и бананы.

«Вот это да, — ужасается девочка, — что ни говори, у нас спокойней живется. Лето и зима нормальные, пусть не растут у нас всякие тропические фрукты, зато едим картошку — она родит-то всегда. В лесу нашем — ни зверей хищных, ни ядовитых удавов да питонов не водится. Хорошо у нас. Но все-таки посмотреть на эту Индию очень хотелось бы...»

Растревоженная фантазия уводит девочку далеко-далеко... Она почти не слышит, о чем говорит Геннадий Васильевич. Такое с ней частенько случается: делает вид, что слушает внимательно, а сама...

Вот у Веры Федоровны не отвлечешься. Урок пролетит — не заметишь. Учительница успеет объяснить новое, заставит повторить старое. Для Тамары это очень важно — дома почти нет времени заниматься. Зимний день короткий: вернулась из школы, поела, воды наносила, печь затопила, прибралась — уже вечер. Мать не разрешает сидеть при свете поздно: глаза испортишь, спать мешаешь, детишек беспокоишь...

Уроки по физике и биологии, которые ведет любимая учительница, Тамара никогда не готовит дома, разве что задачи по физике.

Если хорошо подготовишься, то Вера Федоровна у доски не задержит, за две-три минуты оценит знания.

Вот и сегодня на первом уроке по физике Тамара получила свою четверку, быстро настучав мелом формулу и ответив на три вопроса.

— Заслужишь пять, если в следующий раз будешь собранней, — предупредила учительница.

«Откуда она знает?» — удивилась Тамара.

После политинформации она и вправду не сразу пришла в себя, размечтавшись о дальних странах, и вызов к доске был как гром среди ясного неба.

— Ох, — погрозила пальцем Вера Федоровна, — ты, Голубева, способная, вполне можешь учиться на одни пятерки. Смотри, пожалеешь, что занималась с прохладцей, когда придется получать аттестат.

4

Неделя прошла без каких-либо важных событий — тянулась себе и тянулась, как нудный бесконечный день: то ли «позавчера», то ли «послезавтра».

Выпал снег, открылся санный путь. И опять потащились друг за другом понедельник, вторник, среда...

Вот и четверг: те же уроки, то же расписание, те же ребята, те же учителя, тот же класс.

В окно зябко ластится ветер, кто-то мается у доски, трет шершавой, сухой тряпкой испачканную мелом руку, не зная, как решить уравнение.

Все, как вчера и позавчера...

Тамаре скучно.

«Надо же быть таким тупым?» — с презрением думает она про вечного двоечника Тольку Соколова.

Однако по истории Тамара схватила «тройку» — перепутала две даты.

Петр Петрович, директор школы, занося оценку в журнал, вздохнул:

— Программа! Нынче требования очень и очень высокие. После уроков не разбегайтесь — надо поговорить.

Оставаться не хотелось. Но что поделаешь? В половине третьего пришел Петр Петрович.

— ...У вас, молодежи, замечательное будущее, — начал он с пафосом, — все пути для вас открыты. Кем бы ни захотели стать — инженером, врачом, учителем...

— А если провалишься, что делать? В колхоз? — спросил кто-то с места.

— Не исключено. Поэтому я предлагаю вам всем хорошенько подумать... Некоторым лучше дома остаться, не мучиться напрасно.

«Как?!» — разом ахнул весь класс и засыпал его удивленными возгласами: «Если у человека талант?», «Зачем тогда десятый кончать?», «Что здесь делать?»

— Вот-вот, я и советую многим подумать. А талант? Если он имеется, этот «талант», то никуда не пропадет.

— Конечно, — откликнулся чей-то насмешливый голос, — коровам стихи сочинять, на ферме арии исполнять, про Пушкина и Маяковского рассказывать овцам... Ничего себе...

— Надо еще проверить, кто из вас умеет это делать на самом деле, а не воображать! Талант — вещь очень редкая. Запомните.

— Вы же раньше, Петр Петрович, говорили, что людей неталантливых, бездарных не бывает... Каждый имеет способности, которые надо развивать.

— А я и сейчас не отказываюсь от своих слов, — возразил старый школьный ас, привыкший находить выход из любого положения, — развивайте, пожалуйста, только при чем здесь город? Дерзайте, пробуйте свои силы в самостоятельности, в кружках... Не беспокойтесь, сейчас у нас здорово ищут таланты, найдут, кого надо... Вы не о себе думайте, как вам прожить интереснее, а еще и об общем деле, колхозном. Что за талант такой — себе и для себя? По-настоящему одаренные люди идут на жертву, умеют это делать. Ради общества, ради любого «надо». А сейчас надо идти на самые ответственные участки трудового фронта, туда, где в вас, молодых и сильных, нуждаются. Для того мы вас и воспитываем гражданами Советской республики.

— Так... — прошептал кто-то за спиной.

Тамара оглянулась — Валентин! Такого злого и сердитого выражения она еще никогда не видела на его всегда спокойном и серьезном лице, брови насуплены, между ними обозначилась глубокая складка, серые глаза потемнели — они так и сверлят Петра Петровича...

«Что с ним?» — испугалась девочка. У нее, наоборот, слова директора о жертве, о «надо» вызвали раскаяние: «Размечталась — город, театры, красивые тряпки, прически, нежные пальчики... А Мишка, которому мяса не хватает, а Лизка, такая способная, может, способней ее самой, а мамины руки в мозолях, ее состарившееся лицо, согнутые плечи?.. Кто им поможет?»

Может, Вале и не понравились слова Петра Петровича — это его дело, а у Тамары они нашли отклик. Талант... Какой у нее талант? Поет? Да так многие поют, как она. Хорошо сочинения пишет? Так это не сказки Андерсена. Нет, никакого таланта у нее нет. Память есть, сообразительность, просто хочется обстановку переменить, скучно здесь, надоело — каждый день одно и то же. Может, работы боится? Грязи, холода?

А директор продолжал, словно подслушал Тамарины мысли:

— Сельскому труженику еще пока завидовать не приходится. Так вот и проявляйте здесь свои таланты и способности — переделывайте жизнь, украшайте ее не словами, а делами. Может, кто знает, и запеть захотите в новом свинарнике, где будет чисто, светло и тепло, как в больнице. Может, придут на ум и Есенин, и Пушкин, когда увидите свою деревню, свой поселок преобразившими,

с хорошими домами, благоустроенными улицами, с ванной, горячей водой. Труд на пользу других — желание молодой совести. Это дар молодости. Пожалуйста, получайте высшее образование, но не забывайте родных корешков, деревенских, сельских. Обязаны помнить, кого вы оставляете за спиной, прощаясь с домом.

— Да что мы к этой земле привязаны? Крепостные, что ли? — уже громко, не стесняясь, выкрикнул Валентин.

— Кажется, — отрезал директор, мельком взглянув на него, — я еще и о совести говорил. Пусть каждый спросит у нее, как поступить. Совесть человеческая — это тоже духовный дар. Кто вовремя ее не развил, тому и гениальная одаренность не впрок.

— Что, Валька, съел?..

Ехидный выкрик тут же вызвал в Тамаре жалость к Валентину. Что с ним творится в последнее время? Стал грубым, заносчивым, необщительным. Даже здороваться с ней перестал. Смотрит, как на пустое место. За что? За что он на нее злится?

Густая краска залила щеки при воспоминании. Тамара пугливо оглянулась — никто не заметил, как она покраснела?

После звонка Валентин остался в классе: не сдвинулся с места, не переменял позы, сидит нахохлившись, подперев голову обеими ладонями...

Как ей хочется подсесть к нему, положить руку на плечо, поделиться мыслями, рассказать, как бывает порой тяжело и тоскливо, спросить, может, он знает, отчего это... Валя самый умный...

Но она так никогда не сделает, никогда. Потому что он парень, а она девушка, так не принято, стыдно, некрасиво. А почему?

Сегодня Валя сильно чем-то расстроен. Из-за Петра Петровича?

«Ну, посмотри на меня, посмотри!..»

Тамара уверена, что по глазам многое можно узнать, глаза тоже умеют говорить, иногда даже еще лучше, чем язык. Вот если Валька отвечает на ее взгляд стеснительной, несмелой улыбкой, значит, все хорошо, все в порядке. Молчаливое одобрение с его стороны — подарок на весь день, оно совсем не хуже встречи наедине, о которой она мечтает. Все-таки мечтает...

Вздыхнув, вышла в коридор к окну. Падал снег. Легкие снежинки серебрили непогоду. Школьный двор был

полон мелюзги — деревенская детвора любит здесь играть; взбираться по обледенелым лесенкам спортивных снарядов, ходить, растопырив руки, по скользкому бревну, прыгать, падать и орать.

Свежий снег... Малыши, укутанные в мамкины платки и шали, похожи на медвежат. Кому-то удастся слепить первый в жизни снежок и запустить им в приятеля. Смех, визг... Взять бы всех в охапку и закружиться, закружиться... До чего хорошо им сейчас... Небось думают, что так будет всю жизнь... Нет, голубчики-медвежата, скоро кончится беззаботное время. Тамара тоже еще совсем недавно, еще только летом, была такая же... Кто виноват, что она так изменилась? Может, книги? Но ведь и раньше она много читала. Читала, но не задумывалась. Есть ли на самом деле все, о чем пишут писатели? Такие люди, такая жизнь? Есть, наверно. Вот Вера Федоровна, например, Валентин и... Геннадий Васильевич. В нем есть что-то особенное — в лице, в глазах, в улыбке...

А ребяташки... Они почти такие же, как в книгах, с ними весело, с ними сам становишься доверчивым, добрым, не помнящим зла. Так бы и прижала к сердцу всех сразу, убаюкала, спела песенку...

«И у меня будут дети. Мама говорит, что без детей нет счастья. Такое счастье не трудно найти. Замуж выйду. За кого? За Валю?»

Валентина трудно представить мужем. Какой он муж? Смех один... Значит, будет кто-то другой. Интересно — когда? Галька в прошлом году гадала на зеркало, ей кто-то показался. Рассказывала, страшно до того стало, что не разглядела хорошенько. Вот бы самой погадать... Да только все ведь это враки и похоже на сказку: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...»

...Валентин все в той же позе. Проходя мимо, Тамара решила все-таки обратить на себя внимание — нарочно уронила книгу, лежавшую на краю парты...

Как он взглянул на нее! Лучше бы она этого не делала... Какой страшный... словно после тяжелой болезни. А глаза широко открытые, с маленькими, суженными болю зрачками...

Через некоторое время Зинка Тимофеева быстро, чтобы не заметил учитель, протянула учебник по алгебре и тихонько прошептала: «Там тебе записка».

Тамара почему-то сразу отгадала от кого. Хотя почерк трудно было сразу узнать: буквы скачут, строки съезжа-

ют вниз... Еще не читая, она уже почувствовала недоброе...

Математик, как назло, смотрел прямо на нее, прочитать нет никакой возможности. Что пишет Валя? Если что-то хорошее, то почему сам злой? Дождаться бы скорей перемены. Девочка спрятала записку в карман школьного фартука.

Наконец-то звонок. С независимым видом Тамара вышла из класса.

И в обычном-то состоянии она не очень любит шумный коридор: бегают, толкаются, дерутся... Истошно вопят «младшие классы». Куда бы податься, чтоб не мешали? Ага, придумала...

За школьным забором стройплощадка, вагончик, в котором сейчас никого нет — строители уехали еще летом.

Опять началась метель. Галку, пытавшуюся взлететь против ветра, так швырнуло, что она, бедняга, зависла в воздухе, беспомощно растопырив перья, и едва сумела удержать равновесие, чтобы не шмякнуться оземь.

...За вагончиком тихо. Тамара разворачивает записку с трудом: пальцы дрожат, не слушаются, замерзли, что ли?

«Простите», — читает она первое слово и останавливается. — «Почему «простите»? Ничего не понимаю». Дальше стоит слово, от которого бросает в жар — «обманул».

Он обманул? Он? Самый лучший? Самый...

«Не понимаю, не понимаю, — кричит сердце, — зачем ты так, Валя, Валечка...»

Он торопился писать, она торопится читать. Все идет вкривь и вкось...

Тамара уговаривает себя успокоиться, но как можно это сделать, если здесь, на измятом листке, написано:

«Тогда я обманул Вас, то есть тебя. Тебя, тебя... Я другую любил. Я должен объяснить. Мы будем друзьями. Только надо хорошенько все объяснить. Ты поймешь. Теперь все по-другому у меня. А у тебя? Напиши, когда мы можем встретиться. Валентин».

Что она поняла, что разобрала в бестолковых тревожных строчках?.. Не надо никаких объяснений — главное: «не любил», «обманул»...

Тамара изо всех сил вцепилась в скользкие поручни вагончика, уронила горящее от обиды лицо на холодный металл. Откуда-то издали — чужой, ненужный — прозвенел звонок... Как заставить себя сделать хоть один-единственный шаг, как оторвать руки от железа, чтобы не упасть,

чтобы удержаться на ногах? Кажется, ей никогда не сдвинуться с места...

Проходят минуты, а она все еще стоит у вагончика. Наконец, преодолевая сильную слабость и головокружение, Тамара медленно пересекает школьный двор.

Урок, конечно, уже давно начался, когда она появилась на классном пороге бледная, осунувшаяся...

— Голубева, — раздается строгий, недобрый голос «немки» Елены Сардоновны, — закрой дверь с другой стороны, у нас не опаздывают.

Последнее, что она видит — его глаза.

Страшная слабость и пустота. До конца урока девочка стоит у окна.

5

А Валентин Савельев... «Трудный возраст» и ему дается нелегко. Он с виду сдержанный и флегматичный — такой же мечтатель, как и нервная, импульсивная Тамара Голубева. Весь в мечтах, весь в непонятных порывах. В прошлом году, в восьмом классе, Валя такого намечтал... Решил, что время настало полюбить девушку, ради которой стоило бы жить. Она, конечно, должна быть необыкновенной. Пожалуй, здесь ее не найти, но быть готовым к встрече надо. Они должны ждать друг друга уже сейчас, и она, неведомая, тоже должна почувствовать, что он один-единственный на свете. А познакомятся они только после того, как Валентин, окончив школу, «станет человеком».

Встретятся они непременно весной, когда цветут сады. Сначала она вроде и не узнает, что это именно он, может, даже не захочет разговаривать, но потом... Потом она расскажет, что видела его во сне, точь-в-точь такого же. А он добавит, что влюбился в нее еще в восьмом классе и с тех пор все ждал...

...Рая сидела за третьей партой в среднем ряду. Веселая, черноглазая, смешливая. Валентин не сразу поверил, что это «она». Во-первых, Рая — обыкновенная деревенская девчонка, а «та» — таинственная, нездешняя. Правда, когда Рая смеется или, наклоня голову, смотрит исподлобья, что-то мелькает в ее глазах...

Валентин всеми силами старается, чтобы Рая «узнала» «его», но она болтает с ним запросто, как любая девчонка из их класса.

И все-таки... Это случилось... когда они окончили вось-

мой, правда, к тому времени сады уже отцвели, начались летние каникулы... Рая стала еще веселей, еще смешливей, они часто виделись: вместе ходили купаться, загорать, вместе сидели в кино, но все оставалось как прежде — «она» не узнавала «его». Валентин начал было сомневаться — вдруг Рая не «та». Но приехал его друг, студент педучилища, и Валя понял, что все идет, как надо. Конечно, на их пути должен был появиться соперник, тот, кто сначала понравится ей, а потом «она» в нем должна разочароваться, раскаяться в своей ошибке и полюбить «настоящего», то есть его, Валентина. Поэтому он даже с некоторой радостью принял на себя роль почтальона, носил Рае записки от друга и все ждал, когда же наконец наступит «разочарование», но оно не наступало. Рая бегала на свидания и казалась счастливой... А когда студент уехал в город, загрустила и совсем перестала обращать внимание на Валентина.

...Тамара Голубева ему тоже нравилась, у нее глаза голубые и самые длинные косы. К тому времени уже кончились каникулы и начался учебный год.

Однажды Валентин подстерег Тамару после уроков...

— Постой,— сказал он дрогнувшим голосом,— мне надо тебе одно слово сказать...— Сказал и обмер. Наверное, легче с обрыва спрыгнуть вниз головой, чем продолжить. Какое слово собирается ей сказать? Если «то», заветное, как же будет с невестой, которая где-то ждет не дожидается его? Ведь ни Рая, ни Тамара не «те». Так зачем же он все это делает?

— Что молчишь? — спросила Тамара.— Говори, слушаю,— и засмеялась.

— Пошли погуляем.

— Вот что ты хотел сказать,— опять засмеялась она.— Гуляй один, мне что-то не хочется.

— Да ты не обижайся...

— Я и не обижаюсь. Гуляй.

— Подожди... Я...— начал было Валентин, но Тамара уже бежала к своему дому.

— Сама догадаюсь,— крикнула она на прощанье.

Через неделю он получил записку всего с одним коротеньким словом «да».

Что теперь оставалось делать? Можно было, конечно, объяснить... Но как? Проходили дни, а он все никак не мог решиться. Тамара ловила каждый взгляд, все ждала чего-то. Он злился на нее за это и старался не замечать.

Даже в школу стал ходить огородами, чтобы не дай бог не столкнуться на улице.

И вот однажды, когда Валентин копал на огороде картошку, из-за забора он услышал Тамарин голос:

— Замучился, поди, устал? Айда в кино, сегодня, говорят, фильм в клубе хороший!

— Айда,— откликнулся Валентин, понимая, что если сейчас он откажется, то может обидеть девушку.

В зрительном зале они нарочно сели на разные места... Как хотелось ему удрать домой... Валентин понимал, что и после сеанса ему придется играть роль влюбленного, вести ненужные разговоры, провожать домой, одним словом, лгать.

Когда густая толпа зрителей уносила их на улицу, Тамара вдруг оказалась рядом. Она молчала, но глаза смотрели все так же выжидательно и просяще. Валентин не выдержал и опять смалодушничал:

— Не уходи...

— Хорошо,— ответила она, опустив голову.

Дожидаясь, пока все разойдутся, они стояли у афиши, делая вид, что заняты ее изучением, а потом двинулись по тропинке: Тамара впереди, а Валентин чуть поодаль.

— Куда пойдем? — спросил он. — На речку?

— Ага,— ответила девушка смущенным кивком и покраснела.

По деревенским обычаям местом свидания почему-то был выбран мост через речку — то ли вид здесь красивый, то ли привлекала укромность самого места: густые заросли тальника, глубокий овраг, заросший гигантскими лопухами и пахучей таволгой, могли скрыть парочку от докучливых посторонних взглядов...

Они долго стояли на мосту, следя за течением. Говорить было не о чем. Мучительное стеснение делало обоих беспомощными, давило, как тисками. Наконец Тамара, зябко поведя плечами, предложила:

— Пошли домой.

— Как хочешь,— откликнулся Валентин и покорно двинулся вслед за девушкой.

Они шли медленно-медленно, казалось, ожидая чего-то. Как хотелось сейчас Валентину, чтобы кто-нибудь оказался на мосту и помешал этому ненужному, глупому свиданию. «Что она сейчас думает обо мне? Наверно, я кажусь ей последним дураком. Надо все-таки что-то сказать... А

может, сделать... Поцеловать? Она же написала «да». Ей стыдно: она «да», а я, выходит, «нет»...

Ускорив шаг, Валентин нагнал ее, коснулся плеча:

— Погоди...

Тамара вздрогнула, и тотчас, как электрический удар, отозвалось в нем что-то доселе неведомое... Дыхание перехватило, ладони мгновенно стали влажными. Теперь ему уже хотелось совершенно обратного: жаль, что еще очень светло, жаль, что она уходит... Надо остановить, вернуться, спуститься с моста, в овраг...

«Что это? — пронеслось в голове. — Зачем?»

— Не уходи, — рванулся к ней, — не уходи...

Он перестает размышлять. Руки независимо от его воли крепко обнимают, стискивают эти узкие плечи...

Первый раз в жизни так близко бьется чье-то сердце, губы почти касаются его щек, испуганные глаза молят и призывают.

— Тамара, Тамара, Тамарочка...

Что-то пугает ее, и девушка вырывается. Теперь в ее лице — отвращение и страх.

— Пусти меня, пусти!

— Нет, нет. Погуляем... Постоим, — сиплым, охрипшим голосом молит он.

— Ты... любишь меня?..

— М-м-м... — пытается ответить, но слова вдруг все забыты, язык остекленел.

— Перестань, перестань, а то закричу.

Тамара, собрав все силы, толкает его в грудь и бежит... Толстые косы молотят по спине, подпрыгивают над лопатками. А он стоит и смотрит на эти косы... Его внезапный порыв так же внезапно проходит...

«Хорошо, что нас никто не видел», — успокаивается Валентин.

Темнеет. На небе всходит луна — красная, огромная и зловещая...

С тех пор проходит пять полных лун. Они никогда больше не виделись наедине. И если Тамара корит себя, что не захотела выслушать его ответа, испугалась, если мечтает о новой встрече, то Валентин твердо знает, что чувство, неожиданно закипевшее в нем тогда, на мосту, никакого отношения к любви не имеет... Однако то злополучное свидание как раз и приблизило к нему девушку. Теперь она была не просто «одноклассница Голубева», а человек, которого он неожиданно для самого себя оскорбил.

Теперь совесть грызла его, не давала покоя, теперь он постоянно думал об одном и том же. Тайная и стыдная зависимость мучила и одновременно злила Валентина.

«Надо ей написать,—твердил он себе постоянно,—что не люблю, что обманул».

В эти минуты он помнил только о себе, хотел снять тяжесть с души и во что бы то ни стало оправдаться в своих и ее глазах. О том, как воспримет Тамара его признание, он, конечно, не помышлял, ему и в голову не приходило, какое впечатление произведет на нее такая честность.

И вот теперь... Конечно, Елена Сардоновна не отличалась ни чуткостью, ни добротой. Но он?.. Что он наделал?..

В классе скоро забылась история с Голубевой, отвлек урок. Только Валька Савельев, похоже, переживает: уставился в одну точку, ни на кого не реагирует.

«Из-за меня ее выгнали. Из-за моей записки. Наверно, прочла на перемене, наверно, обиделась, ревела. Может, попроситься выйти? Найти, успокоить? А что ей скажу? Ничего. Я — подонок. Это она и без того поняла». Но как ни ругал, ни казнил себя юноша, он не встал, не вышел из класса до конца урока. И опять-таки из страха: «Что скажут ребята?»

6

Елена Сардоновна, «немка», не пользовалась у школьников авторитетом, учителя тоже ее недолюбливали. Пожалуй, она устраивала одного лишь директора, и то в определенном качестве: через «немку» начальство знало, «кто чем дышит», поэтому коллеги остерегались лишний раз вступать с ней в откровенный разговор. Ни для кого не было секретом, что Елена Сардоновна — тупица: уже четыре года безуспешно старается перейти с третьего на четвертый курс заочного пединститута. К тому же она груба, малокультурна и держится в школе исключительно из-за того, что не находится человека на ее место.

Чувствуя зыбкость своего положения, «немка» всеми средствами старалась удержаться в школе: интриговала и сводила счеты, причем так ловко, что приходилось только диву даваться!

Обстановка на ее уроках была напряженной и нервной, большая часть учебного времени уходила на выяснение отношений. Все почему-то оказывались виноватыми перед

учительницей, все заслуживали оскорблений, обидных и грубых прозвищ, ядовитых насмешек.

Комсорг Рая, самая чуткая и справедливая, остро переживала классный конфликт. Но сегодняшний случай с Тamarой Голубевой показался особенно несправедливым. «Может, Голубева заболела? Вон какая была бледная! Почему Елена Сардоновна не спросила? «У нас не опаздывают». А сама? Сама частенько задерживается, — наверно, ругается в учительской. Прибегает на урок злая, кидается на всех, орет, двойки так и лепит... Что за человек!.. Хорошо, что выгнала Тамарку с последнего урока. Домой пойдет, успокоится. После школы надо бы к ней забежать».

Но у комсорга, как известно, дел невпроворот, к тому же общешкольный вечер сегодня. Так Рае не удалось не то что зайти за Тамарой, но даже домой, пообедать.

Рая долго искала Тамару на вечере, заглядывала во все классы.

— Голубеву не видел? — спросила она, пробегая, у Савельева.

— Не видел, — буркнул Валентин и отвернулся.

Но он говорил неправду. Минут пять назад они случайно столкнулись на лестнице. Завидев парня, Тамара отпрянула к перилам, затравленно глядя исподлобья.

— Ты прости меня. Я не хотел...

— «Прости?» А почему не «простите», — съязвила она.

— Прости, пожалуйста.

— Повторять, как воду в ступе толочь. Напрасно стараешься...

— Нет, ты меня пойми...

— Хватит, — отрезала Тамара, — не знала, что ты такой подлец, «простите» за грубое слово.

— Там неясно выражено. Я не сумел объяснить... Давай поговорим.

— Если тебе мало одного «подлеца», могу еще раз повторить — подлец. Видеть тебя не могу!

В голосе — слезы, но глаза сухие и такие отчаянные, что теперь Валентину все равно, сколько раз она назовет его подлецом — нисколько не обидно. Главное, чтобы она что-нибудь не сотворила пострашнее.

— Ты все-таки послушай...

— Ненавижу тебя. Понял? И не беги за мной, как тот раз. Дам по морде, и все, буду права! Ты это хорошо сам знаешь.

— Знаю.

— Ауфвидерзеен!

Останавливать, бежать за ней глупо. А может, она и ничего не сделает, может, просто поревет, позлится и успокоится. Все-таки как сейчас ни тяжело, а раньше, когда он только собирался развязать этот дурацкий узел, было хуже — места себе не находил...

Включили запись, веселая музыка заполнила всю школу.

А Тамара уже далеко, ей ее не слышать.

Вот кто, оказывается, отнял радость, вот из-за кого она так мучилась и мучается. Значит, она влюблена? В него? В Вальку? Дура она, дура! Нашла в кого влюбиться... Но ведь он когда-то и вправду был для нее «самым-самым». Теперь видит — не стоит он ее любви.

Тамара всегда считала, что родилась на свет с горячим сердцем, что способна на необыкновенное чувство. Выходит, ошиблась? Или у нее нет такого чувства, или сам Валька ничего не понимает — просто мальчишка.

Где-то вдалеке звякнуло ведро, ударившись цинковым боком о край колодца, заскрипел под чьими-то ногами снег...

С холодного неба глядела луна, сморщенная, старая.

Тамара совсем продрогла — видно, с полчаса стоит, прислонившись к старой ветле.

В школе сейчас весело, тепло, светло, шумно, не то что здесь... Но пойти на вечер она уже не может — там Валька, теперь самый-самый худший на земле.

Домой? Дома мать, наверное, разбирает овечью пряжу, сматывает выстиранные пасмы в увесистые клубки. Обычно они делают это вдвоем. Тамара продевает пасму между двух вытянутых рук, а мать мотает. Если никто не помогает, Варук перевертывает табуретку вверх ногами, растягивает пряжу на ножках. Так хуже, конечно: нитки путаются, и мать злится... И сейчас — точно, злится, раздражается, то и дело поминает про нервы. «Нервной» Варук лучше на глаза не попадаться.

Куда же все-таки пойти? Галька сегодня дома одна, с Колькой, поди, воюет. А Тамара любит его — он настоящий «мишка». Про этого малыша деревенские старухи говорят, что у него два сердца — такой здоровущий.

В соседнем дворе дико, истошно завыл кот. Тамара вздрогнула — надо куда-то двигаться, а то совсем замерзнет. Ноги сами собой принесли ее к дому подружки.

Так и есть: Галя одна, мать уехала, а Колька так орет, что ушам больно.

— А вот и я! — говорит Тамара.

— Ой, ты... Хорошо, что пришла, а то, думала, этого крикуна... Да я не знаю, что с тобой сделаю, — кричит Галя на братишку, — всю душу мне извел своим криком! Орет и орет. Хоть бы ты его успокоила.

«Правильно сделала, что пошла сюда, — решает девушка, разматывая шаль, — здесь меня любят. Никто не ругает, не обижает».

— На этого человека, — говорит Тамара, подхватывая на руки изреванного, замурзанного Галиного братишку, — кричать бесполезно, он кого угодно перекричит. Разве не знаешь, что у него два сердца?

— Два горла, скорей, — смеется Галя, — смотри, успокоился. Шла бы ты, подружка, в воспитательницы. У тебя к детям есть подход.

— Это только к «мишке». Он такой хорошенький! — Тамара сильно прижимает к груди пухленькое тельце.

— Мы его скоро в садик сдадим, — сообщает Галька, — надоел. По рукам и ногам связана: никуда не сходи, никого к себе в гости не пригласи! Кому охота весь вечер этот громкоговоритель слушать...

— А не жалко вам?

— Что с ним там сделается? Не его жалко, а нянечек и воспитательниц. Говорю, иди в садик работать.

Тамара смеется. У нее так всегда — чем больше расстроена, тем ближе, родней и милей кажутся люди. Отвлекают они как-то, успокаивают. Вот и сейчас. Глуповатая подружка — о ней даже старухи деревенские имеют определенное мнение: мол, не будет месяца и луны на небе, не спросит почему, — кажется ей в эти минуты такой хорошей, отзывчивой, доброй. Тамара знает, что Галька ждет не дождется, когда можно будет рассказать очередную новость. Так и есть.

— У Маруськи, — говорит подружка, вытирая полотенцем полные руки с глубокими ямочками на локтях, — на-ка взгляни, что я выменила, — и протягивает растрепанную, замусоленную рукописную книжицу.

— Что это?

— Книга, по ней гадают. Хочешь?

— Давай, — соглашается Тамара. Ей все равно, лишь бы время скоротать.

— Сейчас, сейчас. Пиво заварила. Прощежу только.

Мать совсем от дома отбилась, все бегаёт и бегаёт, обещала сегодня вернуться к ночи. Ох, погуляем с тобой... А этот, гляди, успокоился...

Колька и правда тих-тихонечек, сидит в уголке, возится с игрушками, никому не мешает.

В руках у Галины решето, наполненное хмелем. Ловко, как цирковой фокусник, она перебрасывает его с руки на руку и при этом болтает без умолку. И откуда только берутся слова. Насмешница она первая, никого не пропустит, всех высмеет. И голос у Гальки хороший...

— Ох, как вспомню про школу, живот болит. У тебя нет? Тогда почему вид такой кислый?

— Не кислый, тебе показалось.

— Показалось, как же... А то я тебя не знаю.

— Гадать-то когда станем?

— Чего, не терпится? — лукаво усмехнулась Галина. — Завелся кто?

— Ну тебя...

— Ладно, скрывай, скрывай. От этой книги никуда не скроешься, сейчас выведем тебя на чистую воду! — И она, оставив решето, достает с полки старую школьную тетрадь с вырванными страницами, ищет чистый листок, потом кладет перед Тамарой карандаш. — Загадай желание, поставь четыре ряда палочек, зачеркивай по четыре в каждом ряду, а какие останутся, подсчитай.

В первом ряду у Тамары зачеркнулись все, во втором осталась одна, в третьем остались свободными три, в четвертом — две. Вышла цифра: 01-32.

Полистав страницы, Галька читает: «Слишком о большом мечтаешь: не любит».

Тамара вздрагивает: ни в коем случае эта болтушка не должна знать, что у нее на душе.

— Вечно ты со своими глупостями, — зевает притворно, подходя к зеркалу и перекидывая косы со спины на грудь. — Очень мне нужно влюбляться.

— А я стихи про любовь переписала.

— Делать нечего. И везет же людям, находят время для всякой ерунды! Ты-то не влюбилась часом?

— Я? Еще влюблюсь, — подбоченивается толстушка, любуясь сама собой, — у меня, как и у Кольки, может, тоже два сердца. Любого парня завлеку. «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». Хорошо сочинил? А тут, — Галька тычет пухлым пальцем в альбом, — тут читай: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Вот как

надо! Умри! Батюшки, страшно-то как,— и она заливается смехом. Отсмеявшись, Галька предлагает: — А не выпить ли нам с тобой пива?

— Не дури, мать вернется, а мы с тобой пьяные.

— От пива пьяным не будешь. Ты разве еще не пробовала?

— Нет,— признается Тамара.

— Тетушка Варук боится, чтобы дети в отца не пошли. А ты не бойся. Коли с умом выпить, ничего худого не будет. Тебе сейчас сколько? Шестнадцать? Вполне взрослая, можешь сама собой распоряжаться. Сиди, я — мигом.

Через минуту молодая хозяйка возвращается из кухни со жбаном, наполненным пенящейся жидкостью. Ловко орудуя ножом, Галина отхватывает от большого пирога два ломтя, протягивает один Тамаре, наливает ей пива в в толстый граненый стакан.

— Ох и повеселимся,— обещает, сладко щурясь.

— Если в школе узнают...

— Они что, никогда пива не пивали, или сами не чуваша? Какой чуваш без пива!

После первого стакана Тамара чувствует странное облегчение, словно кто-то развязал в груди тугой узел. К тому же она здорово проголодалась, а пирог оказался таким вкусным... У них в доме давно уже не стряпали пирогов с курятиной...

— Да ты ешь, ешь, еще отрежу. Чего клюешь, как цыпка? Не стесняйся!

— В школу на практику студентов понаехало,— сообщает Тамара, доедая пирог.— К нашему классу одного прикрепили, Геннадия Васильевича. Он все ко мне на парту подсаживается, тетрадки проверяет.

— Гляди, завлекешь студента. Он в тебя влюбится, в город возьмет.

— Я без него могу уехать. Он какой-то,— Тамара приуменьшает, подыскивая подходящее слово,— ...непропеченный, что ли? Как пирог...

— Так ты его пропеки.

— Ой, что ты болтаешь? — на Тамару вдруг нападает приступ неудержимого смеха.— Чем ты меня напоила? Это же не пиво, а сплошной смех.

— Не притворяйся. От двух стаканов не захмелеешь, я уже точно знаю.

— Это и называется пьяная, раз весело. Ты не знала? Для того люди и пьют.

— Галь, Галя, слышишь? Да ты меня просто спасла! Теперь мне опять хорошо сделалось, как раньше. Не скучно, не тоскливо. Эх, не понять тебе... И без Вальки можно жить. Давай споем?

— Споем,— соглашается подружка, глядя на нее во все глаза.

Сегодня у Тамары голос особенно звонкий... Но, пропев два куплета, она неожиданно говорит:

— Ребята, оказывается, обманщики.

— Не знала? Все — обманщики, потому что любовь без обмана неинтересна, скоро надоест, только надо обманывать первой, чтобы не переживать самой. Пусть парень страдает, а я буду ходить как королева. Тогда другие подумают: раз он за ней так убивается, значит, девка стоящая — и тоже начнут бегать. Вот так. Учить тебя надо, вижу. Выкладывай, что стряслось, кто обманул, как?

— Да Валька Савельев,— неожиданно открывается Тамара: она больше не может ничего таить. Ведь как ни говори, а нет другого на свете человека, кроме Гальки, которому бы она могла сейчас раскрыть душу.

— Так это ты в него влюбилась? — удивляется подружка. — В Вальку? Он же несимпатичный...

— Теперь я его ненавижу. Так бы на куски и разорвала.

— Да ты не переживай. Плевать на него. Подумаешь, сопляк! Он и целоваться, поди, еще не научился. А отомстить ты должна, гордость должна свою проявить.

— А как?

— Проще простого. Если парень увидит девушку с другим, он из себя выходит...

— Валька не выйдет.

— Не выйдет?.. Это почему же не выйдет?.. Еще как выйдет! Как миленький следом за тобой побежит. Только смотри не поддавайся, делай вид, что это тебе нипочем, его беганье. Голову подыми — и никакого внимания, словно он пустое место.

— Ну и что?

— Проверено такое дело — сколько раз... Сомневаешься? Хочешь, попробуем? Айда в клуб!

— Айда,— смеется Тамара и обнимает подругу за плотную талию.

Они вальсируют «под язык». Настроение замечательное.

— А Колька,— спохватывается Тамара,— как его оставим?

— Да он давно дрыхнет!

— Ну тогда пошли.

Беспричинно хохоча, девчата одеваются, отталкивая друг дружку от зеркала, стараясь покрасивей завязать платки.

До чего же они сейчас обе хороши!..

У входа в клуб два молодых парня в модных шапках из собачьего меха играют в хоккей «шайбой»-ледышкой. Один из них, тот, у которого под распахнутым полушубком надета тельняшка, концом ботинка пинает «шайбу», ледышка летит прямо к Галькиным валенкам, та ловко отпасовывает ее обратно.

Тамара смеется:

— Ай да Галя! Толстота, выходит, для спорта не помеха...

— Ее толстота ни для чего не помеха,— откликается кавалер.— Правду говорю? А это кто с тобой, Галина?

— Подружка, самая лучшая. Ее Тамарой зовут.

— Подружка? — удивляется второй парень.— Ни за что бы не поверил. А сколько ей лет?

— Да в девятом она, еще школьница.

— Школьниц мы уважаем,— пробасил тот, что в тельняшке, и подмигнул приятелю: — Чего это мы здесь топчемся? Пошли в клуб.

В клубе было тепло и весело. Девчата беспрерывно смеялись, одобряя и поощряя своих ухажеров к новым шуткам.

Как хотелось бы сейчас Тамаре, чтобы Валентин видел ее такой беззаботной и независимой! Но он в школе, на вечере...

— Твой студент в клуб-то ходит? — спросила вдруг Галина.

— Кто его знает...

— А ты пригласи.

— С ума, что ли, сошла?

— А чего? Он ведь тобой интересуется. Вот и закрутила бы с ним назло Вальке.

— Скажешь тоже! Нужна я ему...

— Тогда мы здешнего найдем, ровню. Ты только меня слушайся...

А интерес у Геннадия к Тамаре Голубевой был. Правда, совсем не такой, какой предполагала дотошная Галья, интерес совсем особый.

Дело в том, что студентам полагалось во время педагогической практики, помимо всего, написать психологическую характеристику на одного из учеников, и он выбрал Голубеву.

Однажды, когда Геннадий сидел на уроке Веры Федоровны, он заметил, как Тамара, задумавшись, рисует на промокашке. Это было удивительно: обычно на физике никто не отвлекался. Он осторожно придвинул к себе ее дневник. Кто она? Отличница, которая и так все знает; двоечница, которой все равно ничего не понять? Однако Тамара сердито выдернула свой дневник из его рук, даром что Геннадий стажировался у них как классный руководитель и Голубева об этом знала.

«Какая смелая!» — подумал будущий педагог. С тех пор он начал внимательно присматриваться к девушке.

В тот вечер, когда Тамара с Галькой развлекались в клубе, Геннадий сидел в учительской. Было тихо, лишь тикали на стене часы да стучала шваброй техничка, наводя порядок после вечера.

Легкие, торопливые шаги вывели его из задумчивости. Это была Вера Федоровна.

— Что, не ушли еще? — спросила она приветливо. — Знакомьтесь с журналом? Кстати, давно собиралась спросить, как вам школа? Говорите, трудный класс достался? Трудный. Однако в нем есть неплохие ребята. Например, Рая. Справедливая, честная. Валя Савельев, очень способный.

— Способный, — протянул Геннадий, — только вспомните, как он с Петром Петровичем...

— Про крепостную зависимость? А что? Не нравится? — засмеялась Вера Федоровна. — Поделом ему, старому «шкрабу», пусть в другой раз выбирает выражения, ведь педагог! Где его учительское чутье? Вместо спокойных, доходчивых слов — демагогия. Действительно, непостояй вопрос, что им делать после школы. Что? Ведь Петр Петрович жизнь прожил, неужели не мог поделиться с ребятами опытом? Своим собственным. А он им «речи толкал»...

— Вы это серьезно? — привстал со стула Геннадий, удивленный такой откровенностью.

— Вполне. И вам советую, коллега, быть серьезным. Ведь души, живые души в наших с вами руках. Отчеты, характеристики и прочая бумажная дребедень — это еще не педагогическая «практика». Нужно уметь общаться с детьми, воспитывать. Послушайте, что я вам скажу. Может быть, такого случая, как сейчас, в ближайшее время не представится.

Почему класс «трудный»? В первую очередь, по-моему, виноват Максим Миронович, классный руководитель. Он хороший учитель. Свой предмет, историю, знает отлично, но стар, откровенно стар и беспомощен. А знаете, дети скидок на возраст делать не умеют. Он им смешон — забывчив, рассеян. Сам как малый ребенок. Как такого слушаться и уважать?.. Я на своих уроках стараюсь, чтобы у них ни единой минуты не было пустой, не занятой мной, именно мной... Не трудно объяснить материал, трудно спрашивать ученика, трудно подготовить его к работе.

— Но ведь и у вас случаются «проколы».

— О чем это вы? — насторожилась Вера Федоровна.

— Да о Голубевой. Она и на вашем уроке умудрилась чертей на промокашке рисовать.

Учительница задумалась, потом вдруг весело и озорно засмеялась:

— А Тамара Голубева — просто прелесть. Огонь! Очень симпатичное существо. Вы к ней приглядитесь.

— Хочу писать о ней характеристику. Советуете?

— Да как сказать... Если шаблонную, сухую, официальную — то нет, ничего такого вы из нее не выжмете. Запутаетесь, устанете сопрягать все «за» и «против». Могут и не «зачесть». Готовьтесь не струсить и устоять, если заставят поступать против совести.

— Я вас что-то не понимаю.

— Поймете, — пообещала Вера Федоровна и вздохнула: — Тамара недавно пережила трагедию. Конечно, такому самолюбивому существу, как она, постыдная смерть отца нелегко далась. Первое время девочка ходила с виноватым видом, словно несла на своих плечах отцовский позор. Ее мать тоже не выдержала: собрала семейство и уехала. Боялась, что в деревне начнут травить детей, придумают обидное прозвище. Хорошо, что потом все наладилось — у председателя нашлись душевные слова, уговорил Варук вернуться в родные места.

— Но ведь они не виноваты... Дети не отвечают за поступки родителей...

— Они — нет. Однако деревенские обычаи, деревенская психология... Вы об этом имеете понятие?

— Нет, но...

— Присматривайтесь. Поможет. А как, кстати, вы собираетесь писать эту характеристику?

— Обыкновенно, как учили. Составлю план, внешний облик, наклонности, внутренний склад и так далее. Отношение с окружающими, семья, товарищи, учителя...

— Извините меня, но это бред.

— Бред? — вспыхнул Геннадий.

— Главное, не злитесь на меня. Постарайтесь отметить все, что пахнет личным: обиды, ущемленное самолюбие, ложное мнение о самом себе. На этих-то «китах» и рождается пресловутая школьная рутина. Вы еще столкнетесь с ней. Потому-то я и рискнула на эту беседу. А Тамара Голубева... Очень я тревожусь за нее. Заметили: взгляд рассеянный, вид потерянный... Ничего не поделаешь — трудный возраст. Но учитель ни в коем случае не должен лезть в душу подростка с расспросами. Дожидайтесь, пока она сама к вам не придет. А к этому надо быть всегда готовым, постоянно не терять ее из вида и ждать. Помните, никакого нажима, никакого насилия!

— Судя по вашему рассказу, трагедия произошла уже давно, год, от силы полтора, но почему она до сих пор такая?

— Какая?

— Отсутствующая, что ли.

— Думаю, что это не имеет отношения к семейным делам.

— А к чему?

— По-моему, здесь как раз чистая психология. Вспомните себя в ее возрасте.

— Ну вспомнил — жить было противно, казалось, взрослые очень часто врут.

— И мне, представьте, тоже так казалось. Почему же мы сейчас с вами должны осуждать ребят за то, что они ловят нас на пустых словах? Не они, а мы виноваты. Теперь еще одно: допускаете ли вы мысль, что Голубева и Савельев равнодушны друг к другу?

Геннадий хотел было возразить, но поймал на себе лукавый, испытующий взгляд.

— Я об этом не подумал, — признался он честно.

— Я, например, была влюблена первый раз в четвертом классе.

— Вы? В четвертом?..

— А вы? Признавайтесь, признавайтесь.

Разговор принимал явно непедagogический характер, и Геннадию стало немножко не по себе. Он привык к тому, что как только учителя касались профессиональных тем, так сразу же их речь теряла обычную живость и становилась похожей то ли на газетную статью, то ли на текст специального учебника, пестревшего терминами и оборотами, не свойственными живому разговорному языку. Так было и сейчас. Сначала и Вера Федоровна, хоть и ругала Петра Петровича за демагогию, сама допустила менторский тон. Геннадий, подавленный ее авторитетом старшего, опытного преподавателя, вдруг забыл, что перед ним еще довольно молодая женщина. Теперь, когда она так лукаво поинтересовалась его «первой любовью», Геннадий почувствовал, как он оживает, как слетает с него тот «учительский мундир» — та нарочитая важность, напускная строгость, которую он нацепил на себя только потому, что так принято.

— Смотрите не переборщите, — усмехнулась Вера Федоровна, словно прочитала его мысли. — Панибратство — тоже опасная вещь. Дети все равно не поверят, что вы такой же, как они.

— Что же делать?

— Учиться быть учителем.

— А как?

— Не могу подсказать, могу только поправить, если замечу ошибку. А насчет Тамары... Постарайтесь узнать, с кем дружит, с кем встречается. Если искренне пожелаете помочь девочке, то все факты поплывут к вам в руки. Жаль, что я скоро должна уехать и не смогу быть вам полезной, во всяком случае месяц-другой. Не оставляйте Голубеву. Хорошо?

— Хорошо.

После разговора с Верой Федоровной Геннадий вдруг увидел свою нынешнюю работу в школе совсем в ином свете: не для очередной оценки в зачетной книжке он теперь будет стараться. Что оценки? Живые люди вокруг. Чья-то судьба становится теперь для него не менее важной, чем собственная.

На следующий день, как и предсказывала Вера Федоровна, «поплыли факты».

Классный комсорг Рая отвела его в сторонку и сообщила трагическим шепотом:

— Я вчера видела Голубеву пьяной. Под ручку шла из клуба с одним тут. Матросом его у нас прозвали.

— Ты не ошиблась?

— Точно, Геннадий Васильевич.

— Пока, Раечка, никому ни слова. Договорились?

— Честное комсомольское, — поклялась Раиса с самым серьезным видом. — Тамарка девчонка самостоятельная. Что это с ней случилось?

— Разберемся. Ты только, пожалуйста, сдержи слово — молчок!

Геннадий сразу же догадался, кто этот Матрос. Жаль, что не с кем было посоветоваться — Веры Федоровны уже не было в деревне, уехала к больной матери в Куйбышев.

8

Есть такие люди — пропади они пропадом! — которые с первого взгляда вызывают антипатию. Вообще-то Геннадию не свойственны поспешные оценки, он человек миролюбивый и покладистый. А этот... До чего же отталкивающий тип...

Как-то в поисках квартиры сразу же по приезде молодой практикант зашел в новый большой дом одной вдовы, живущей вместе с сыном. Какой-то парень стоял у зеркала, рассматривая прыщи на курносом одутловатом лице.

— Чего надо? — спросил он нелюбезно.

Геннадию захотелось немедленно закрыть за собой дверь. Но тут из-за занавески вышла маленькая сухонькая женщина. Вид у нее был жалкий. Заискивающими глазами она смотрела на сына-здоровяка.

— Кто пришел, Митюк?

— Откуда я знаю, шляются всякие по поселку...

— Да ты не шуми, не шуми. Спросить надо человека.

— На квартиру хочу к вам попроситься, я здесь на практике в школе.

— Студент, что ли? — фыркнул Митюк. — Похоже, больно жидкий.

— Так ведь из города, сразу видно, — ласково и добродушно улыбнулась хозяйка, — а городской народ, известное дело, нежный. Да ты проходи, проходи. А сына моего

не бойся — это он больше для порядка ворчит. Парень-то добрый, простой.

— Пустишь, что ли, сердобольная? — спросил с издевкой сын, продолжая любоваться своим отражением в зеркале.

— Пушу. Мне нравятся культурные ребята: ни слова черного не скажут, не обидят, не подерутся. Старших уважают, и их самих тоже уважают. А как же... Они — ученые, грамотные, не то что мы... Вот и пушу паренька. Может, и подружитесь. Поди, одноклассники. Хорошо бы тебе, сынок, такого товарища заиметь, а то водишься со всякой шантрапой...

— Ты у меня поговори, поговори, — грозно нахмурился Митяй.

— Да я уже и поговорила, теперь ты скажи.

— То-то. Я, чай, тоже здесь хозяйин. Если хочешь, оставляй. Только насчет дружбы не загадывай. Не подходящий он для меня. А деньги за квартиру пусть платит. Для меня ведь сбережешь? Отдашь, а?

— Ох, — вздохнула старушка, — как не отдать, коли ты так умеешь выпрашивать. Отдам, только не на выпивку, а на дорожку...

Потом Гена узнал от деревенских, что баловень Митюк вот уже который раз безуспешно пытается поступить в военное училище, да все никак не может. Мать из сил выбилась, снаряжая сына то ли в третью, то ли в четвертую поездку. Квартирант подоспел вовремя — Митюк как раз собирался в очередной вояж.

— Счастливая твоя матушка, — вздыхала хозяйка, наблюдая за студентом, — неделя прошла, как у нас живешь, и все ты дома и дома. Читаешь, занимаешься. А мой-то все бегают, все бегают!

Митюк и вправду дома не сживал. Чуть ли не каждый день возвращался за полночь, и Геннадий с ним почти не встречался. Утром, когда он собирался в школу, хозяйский сынок отсыпался. Мать ходила на цыпочках, разговаривала шепотом. Она и слово боялась сказать поперек, даже оправдания находила для его безалаберной жизни. Что с того, что Митюк все вечера проводит в клубе, толкаясь у бильярдного стола или возле доминошного? Что с того, что с девками гуляет до утра, а с парнями пьянствует? На то и молодость. Поступит в училище, будет что вспомнить...

Квартиранта, как и предупреждал, Митюк игнорировал, только иногда заглядывал в его комнатенку, чтобы выпро-

сить на папиросы. А на прошлой неделе занял десять рублей.

— Матери не говори,—предупредил.— Не все такие монахи, как ты. У нормальных мужиков свои дела,— и подмигнул, да так гаденько, что Геннадий тут же пожалел, что одолжил деньги.

...Сегодня утром между молодыми людьми произошел крупный разговор. Геннадий готовился к нему всю ночь. Раины слова не выходили из головы.

Проснувшись, как обычно, в седьмом часу, Гена принялся громко разговаривать с хозяйкой, шумно умывался и, казалось, не обращал внимания, как старушка мать вздрагивает от каждого его слова, как испуганно поглядывает на дверь спальни, за которой раздавался сыновний могучий храп. Ее умоляющие глаза говорили: «Разбудишь, не выспишься, потом весь день не даст покоя».

Однако на Геннадия это не произвело никакого впечатления. Мало того, он смело вошел к Матросу в комнату и сдернул с него одеяло.

Митюк, протирая глаза, ошалело уставился на квартиранта:

— Ты чего?

— Вставай, поговорить надо.

— Пошел ты... Спать не мешай, козел.

— В клубе вчера был?

— Чего прицепился? Говорю, вали отсюда.

— Ты мне ответь сначала...

— Чего отвечать? Ну был.

— С кем?

— С кем надо, не твое дело!

— Мое!

— Отбить хочешь, воспитатель? — вдруг развеселился Митюк. — Ха-ха-ха, съест волк твою Красную Шапочку. А теперь пошел вон, пока я добрый, пока морду не набил!

— Ты еще пожалеешь,—заявил Геннадий, холодея от гнева.

Он не знал, что станет делать, четкого плана не было — было только чувство возмущения и боли за Тамару. Конечно, по отношению к обидчику он поступал «не педагогично».

Хлопнув дверью, Геннадий выскочил из дома.

Мать Митюка, подслушивая разговор, так ничего и не поняла: про какую еще такую «красную шапку» говорил

сын? Вроде на деревне никто из девок таких шапок не носит...

«И-и-и-х,—махнула рукой,—кто их разберет ребят-то. Молодые. Однако почему квартирант так осерчал?»

Весь день Гена не находил себе места, а к вечеру решил: «Зайду-ка в клуб, посмотрю. Может, Тамару увижу. Не могу, ни за что не могу поверить, чтобы она могла увлечься эдаким балбесом... Но почему увлечься? Может, просто так, случайно? Все равно надо узнать, что к чему».

В клубе «крутили» кино, он опоздал к началу сеанса, но билетерша пустила, только предупредила:

— Давай тихо, не шуми.

Войдя в полутемный зал, освещенный лучом прожектора, он сел на первое попавшееся свободное место. Привыкнув к темноте, Геннадий тут же заметил знакомый профиль — она. Рядом с Тамарой сидела какая-то толстушка и... Митюк!

Шел фильм «Красное и черное». Геннадий больше смотрел на зрителей, чем на экран. Вот Тамара опустила голову — кадры с объяснением в любви привели ее в смущение...

«Да она совсем еще не испорченная, — пронеслось в голове, — наверно, все-таки Рая обозналась. Но почему Тамара все-таки с ним? Случайное совпадение? А Красная Шапочка?.. Митюк намекал, похоже, на девчачью доверчивость. Надо разобраться...»

Наконец фильм кончился.

Толстушка так и заливается беспричинным смехом, ей вторит сиплый гогот Матроса, а Тамара словно стесняется веселой компании. Низко склонив голову и глядя себе под ноги, девчонка как-то затравленно смотрит по сторонам...

«Не очень-то ей весело, — решает Геннадий, — не в своей тарелке... И не влюблена. Нет, не влюблена».

...Морозно. Сквозь серую дымку тумана тускло светит луна. Гена опускает уши на шапке-ушанке, завязывает под подбородком тесемки — чего форсится... Холодина.

Вдоль дороги гудят телеграфные провода, кажется — вот-вот оборвутся.

Митюк с девчатами не появляется, значит, остались в клубе на танцы.

«То, что они сидели вместе в кино, еще ни о чем не говорит. Надо вернуться и наблюдать, если уж взял на себя роль сыщика».

Геннадию скоро двадцать два. Юноша он тихий, скром-

ный, но ведь еще всего двадцать два. Иногда хочется быть таким, как все в его возрасте.

«Потанцую, что в этом плохого? — усмехается он. — Когда-то вроде неплохо получалось».

Музыка гремит, аж ушам больно. Судя по всему, радист или киномеханик включил на всю катушку магнитофон в радиокомнате.

Остановившись на пороге, студент с любопытством осматривается. Зал довольно просторный, и танцующих пар хватает.

Танцуют вальс. По-старинному кружатся пары.

Тамара — с Митюком. Чувствуется, на сегодняшний вечер он ее постоянный партнер. Когда Геннадий понимает это, ему становится обидно. Почему? Какое право имеет этот человек вести себя так откровенно, по-хозяйски... И не хочется ей танцевать. Вырывается, бежит к подруге, — толстушке с голубыми навывкате глазами. А та коварно подмигивает Митюку и кружится с Петькой-киномехаником. Тамара смотрит на нее гневно, но тут же покорно позволяет Митюку обнять себя за талию и опять танцует с ним.

«Не понимаю, — возмущается в глубине души Геннадий, — не понимаю... Может, ей нравится сила? Митюк, бесспорно, очень сильный, крепкий. Вера Федоровна советовала вспомнить себя в эти годы. Каким я был в шестнадцать?.. Нет, не физическая сила мне тогда казалась привлекательной. Скорее, наоборот. Хотелось встретить человека интересного, умного, знающего. А эта ее подружка... До чего же груба, вульгарна... Что общего у нее с Тамарой?»

Пучеглазой Гальке весело, она здесь как рыба в воде. А Тамара... Она в платье не по росту, слишком широком и длинном — не своем.

«Все не по ней, — досадует Гена, — какая она сейчас неловкая, некрасивая и... глупая».

Если бы он сумел прочесть все, что творится в Тамариной душе! Ничего ей не надо, ни этих дурацких танцев, ни этого ухажера, которого навязала ей Галька. Почему, почему она согласилась?..

С того самого злополучного вечера, когда они отправились в клуб, чтобы «отомстить», и встретились с Митюком и Петькой, началось «это» — непонятное и тягостное, как заразная, прилипчивая болезнь. И Валентину не отомстила, и сама запуталась... А Митюк... Да она его раньше

обежала за полверсты. Кто его не знает?.. Настоящий паразит, живет за материн счет, бездельничает. Все давно уже догадались про училище — никто его туда не возьмет, кому он нужен?.. Не то что тельняшку, а хоть генеральскую форму на себя напялит — не быть ему офицером. И в тот вечер он сразу вцепился в нее, как клещ...

...Когда они танцуют, она видит его лицо близко-близко. Чужое лицо, взрослое, недоброе, пугающее. Терпкий запах пота, тяжелое дыхание... Сильные, властные руки...

Как все странно! О человеке, оказывается, можно думать по-разному в один и тот же момент: он может одновременно казаться и отталкивающим, и привлекательным, и красивым, и противным, и смелым, и нахальным.

Порой Тамаре просто невыносимо чувствовать, как Митюк дотрагивается до нее — вырвалась бы и убежала. Но вдруг посмотрит, подмигнет — и она опять в его власти. Как они не похожи друг на друга: Валя и этот Матрос. Валентин еще настоящий ребенок, она все выдумала про него. Ему еще рано влюбляться. А ей? Ей тоже. Выходит, никому и мстить не надо... Тогда зачем она танцует с Митюком? Кому назло? Себе самой?

«Кончится вечер, — решает Тамара, — и до свиданья. Больше никогда. Так и скажу Гальке: не нужен мне твой дурак, ходи сама со своим Петькой».

Она хочет поступить, как решила. После танцев опрометью бежит на сцену, где на стульях брошены одежды танцующих, хватает свое пальтишко и за дверь.

— Ты чего, Томка, бросаешь меня одну? Так нечестно, — доносится до нее капризный, притворно-обидчивый Галькин голос.

На секунду Тамара останавливается.

— Ты же не одна. С Петькой...

Мимолетная задержка, однако, оказалась опасной — Митюк успевает догнать девушку.

— Обиделась?

— Нет, — как-то разом сникает Тамара, почувствовав на плече его тяжелую руку.

Воля опять оказалась парализованной.

«Да отстань же ты наконец, — хочется крикнуть, — отстань! Замучил ты меня, слышишь?»

Но он ничего не слышит. Опытный, уверенный в себе, Митюк все знает, все понимает: не таких уламывал.

— Ты в каком классе учишься?

— В девятом.

— А живешь где?

«Что он притворяется? Не знает, что ли?»

И опять отвращение и неприязнь придают ей решимость.

«Сейчас толкну и убегу,— думает Тамара,— только меня и видел». Но вместо этого она вдруг неожиданно просовывает руку под локоть Митюку — какой-то парнишка пересекает улицу, и у Тамары проносится в голове: «Он, Валька...»

Матрос вздрагивает — не ожидал: «Вот так школьница!»

— Завтра придешь? — спрашивает, крепко прижимая к себе девушку. — Придешь...

— Нет, никогда, ни за что, — вдруг отбрасывает она его руку и бежит.

— Ах, так! Ну, я тебе покажу! — грозитя Митюк.

Как она мчалась по снегу, отчаянно выдирая ноги из глубоких цепких сугробов! В голове билась догадка: «Не Валька это был, а сосед наш, Вовка. Ошиблась...»

«Серый волк» бежал по следу легко, скоро догнал.

— Ну, заяц, погоди... — и сгреб в охапку.

Пахнувшие табаком мокрые губы впились в ее рот... Грохнул незримый колокол, сотрясая все ее существо, прервалось дыхание. Казалось, кровь остановилась в жилах. Жалобный крик замер в груди. Тамаре показалось, что у нее с корнем вырывают душу.

Натешившись ее страхом и беспомощностью, Митюк отпустил девушку:

— Будешь теперь знать, как гулять с парнями. Ишь школьница на двух ногах. Побегай только, побегай от меня...

Тамара едва-едва добрела до самой калитки.

Дома, немного придя в себя, долго терла губы, полоסקала рот, будто хотела смыть отвратительную собачью слюну. Но внутри, в глубине сердца, оставался несмываемый позор. Невольно вспомнилась фраза из Галькиного альбома: «Умри, но не давай поцелуя без любви».

Значит, умереть? Или полюбить? Его?! Что делать? Опять вопрос, на который она не может ответить.

Девушку с недавних пор мучило неопределенное состояние: появились какие-то сложные настроения, не испытанные прежде чувства. Откуда они, зачем? Было ясно только одно — кончилось детство, бездумное, бестревожное. Раньше она всегда знала, чего ей надо, чего хочется. Если не получала желаемого, то требовала: криком, слезами. Попробуй теперь закричи, заплачь, потребуй...

В детстве душа напоминает зеленый гороховый стручок: лежат в нем еще неспелые чувства и переживания, пока еще слабенькие. Им уютно и спокойно в колыбели. Но вот проходит время, горошины растут, заполняя стручок. И вдруг лопнули створки, разлетелись горошины...

Такое случилось и с Тамарой, и ее «горошины» поспели, выкатились из стручка-души. Кто их соберет, посеет в добрую землю, чтобы не сгнили под ненастным дождем, не пропали в зобу у жадной птицы...

Этот негодный Митюк уже успел склевать самую заветную — сорвал первый поцелуй. Не ему, думала, достанется. Что ж, раз так случилось, значит, он и есть «тот», первый. Теперь все равно...

Ночью Тамаре снились кошмары: кто-то большой и грозный гонялся за ней с огромным ножом. И во сне было страшно, а, проснувшись, стало еще страшней.

«Бегать от Митюка не стану! — решила она. — Будь что будет».

Так и повелось: Митюк приглашал, она не отказывалась, уже третий раз танцует с ним в клубе...

Тамаре очень хочется рассмотреть в этом человеке хоть что-нибудь хорошее. Быстро взглянув на парня, она опускает глаза: «Нет, не могу — противный».

И вдруг... Кто это говорит? Геннадий Васильевич? Как он здесь оказался? И давно ли? Значит, он все видел...

— Можно вас пригласить? — раздается за спиной знакомый голос.

— Меня?

— Вас, Тамара, вас.

— Можно, — чуть слышно отвечает девушка.

Этот голос... Он как будто спасательный круг, ухватиться за него и выплыть из омута, где все ложь, все неправда. Голос из жизни, которую она вот-вот потеряет.

Как не похоже пожатие теплой ласковой ладони на грубые, властные тиски того страшного человека.

Геннадий танцует легко, и Тамара кружится как пушинка, не чувствуя под собой ног.

— Давно не танцевал, — признается студент.

— Не похоже, — отвечает девушка.

Как ей сейчас просто и свободно. Хочется, чтобы вальс никогда не кончался.

А Митюк стоит у стены и злобно улыбается.

«Постой, постой, — злорадно радуется Тамара, — Геннадий Васильевич тебя нисколько не боится».

Матрос пытается «перебить» студента, но Геннадий успевает первый пригласить девушку на следующий танец, и опять они в паре. Тамара доверчиво прильнула к его плечу, в эти минуты он для нее как старший брат.

— Я тебя провожу домой. Ладно?

— А вам можно?

— Что здесь особенного? — удивляется студент.

— Вы же учитель...

— Положим, еще нет, но все равно. Разве это плохое дело — позаботиться о девушке, чтобы ее никто не обидел по дороге? А ты часто здесь бываешь?

«Он знает или догадывается, — испуганно думает Тамара. — Может, рассказать про Митюка? Ну, нет... Расскажу, поделюсь, а он вдруг в учительской проболтается или в своем блокнотике черкнет: так, мол, и так, девятиклассница, а уже целуется».

И сразу же хорошее настроение пропадает. Митюк как «черный забор» — он отгораживает от нее прежнюю спокойную жизнь: школу, товарищей. Чтобы она ни делала: уроки, домашние дела или просто шутила с ребятами, хохотала иногда до слез, до колик, но стоило вспомнить про Митюка, как тут же белый свет начинал меркнуть...

Да что она, подневольная раба, что ли? Завтра, вспоминает Тамара, у Митюка день рождения. Галька заставила купить подарок — пришлось потратить деньги, которые собирала с таким трудом на капрон. Опять начнется... Будет хватать ее за руки, обнимать, смеяться глупым смехом, глупо шутить, говорить глупые слова.

Тамара даже вздрогнула при воспоминании о предстоящей вечеринке. Геннадий заметил:

— Ты так и не ответила...

— Проводите, если вам хочется.

— А тебе самой? Хочется?

— Мне все равно.

— Знаешь, собирайся, пошли. Я все-таки старший, мне и решать.

...Они не стали дожидаться конца танцев. Тамара шла торопливо и все оглядывалась.

«Хочет, чтобы Митюк нас догнал? — спрашивал себя Геннадий, наблюдая за девушкой. — И настроение у нее, кажется, испортилось. Хмурая, раздражительная».

Эх, взять бы это строптивое существо за плечи, потряхнуть хорошенько, сказать: «Да очнись, посмотри, что творишь? Я же тебе друг, я же тебе только хорошего желаю».

Тамара все убыстряла и убыстряла шаг. Геннадий начинал злиться на себя, на нее.

«Тут никакой Ушинский плюс Макаренко не справились бы. Твердый орешек, эта Голубева. А я — бездарность, хлюпик, размазня! Почему прямо не спрошу, почему кружу вокруг да около? Какой из меня психолог, если не могу расположить к себе человека?.. Такой случай представился...»

— Вот мой дом,— говорит Тамара,— пришли. Спасибо, что проводили.

— Не за что,— хмуро отвечает Геннадий.— Мне хотелось спросить...

— На уроке спросите, на ваши вопросы я только на уроке обязана отвечать, и все. Спокойной ночи.

«И все. Спокойной ночи». Птичка улетела, а он остался на улице один, огорченный, расстроенный. Что он такого сделал, чем обидел ее? Какая теперь может быть «спокойная ночь»? Первые шаги — и такие неудачные. Поссорился с хозяйским сыном, пустят ли еще после этого в дом? Представляю, как зол на него сейчас Матрос — студент-то показал, что не так легко Серому Волку скушать Красную Шапочку. Только пока все это выглядит несолидно. Победа не слишком явная. Тамара все-таки не открылась, значит, между ней и Митюком действительно что-то есть. А может, просто Митюк запугал девушку?

Как ни крепился Геннадий, гуляя до полуночи по поселку, но мороз все-таки загнал его в теплое жилище.

Хозяйка украдкой выглянула из-за печки: никак молодой квартирант сегодня пришел выпивши. Поди угадай, что вздумают эти парнишки? Давеча поспорили с Митюком, а о чем — не поймешь. Сын-то пришел раньше и вроде трезвый, а этот наоборот.

Но вином от Геннадия не пахло и на ногах держался твердо.

«Значит, на улице с девкой стоял, ишь как колотится! Знать, с той самой «шапочкой» и полуночничал. И ее заморозил, и себя. Она, сердечная, для фасону-то, поди, в шапчонке. В такой морозище и в пуховой шали темя мерзнет. В девках и я была на холод крепкой...» — вздохнула старушка, укладываясь на горячие печные кирпичи.

Узнав, что молодой практикант Васильев решил организовать культпоход в городской театр, никто из учителей не одобрил этой затеи. И директор согласился лишь пото-

му, что девятый класс высказал бурную радость по поводу предстоящей поездки.

— В случае чего, отвечаешь ты,— предупредил Петр Петрович.— Смотри не поморозь. Знаю, знаю, будешь возражать: мол, не маленькие, не кисейные, но, знаешь, школьный директор, как воинский начальник,— за все его могут взгреть. Так что смотри не подведи.

День был солнечный, морозный, но к вечеру началась метель. Снегу навалило вдруг столько, что не только машины — поезда останавливались из-за заносов.

В школе поднялась паника, звонили в студенческое общежитие, где должен был разместиться девятый, интересовались: добрались ли, не застряли? Узнав, что все обошлось и ребята уже в городе, Геннадия предупредили, чтобы в понедельник все были на месте, на уроках.

Похоже, практикант Васильев заварил кашу — на машине в поселок не возвратиться — дорогу замело. Надо было ехать на поезде, но где взять деньги на билет? Директор наотрез отказал:

— Ни копейки не дам, сам выкручивайся, я тебя предупреждал.

Геннадий сбился с ног, изыскивая средства, пришлось урезать «пищевой фонд», но все только веселились: «Подумаешь, посидим, поголодаем, поедем «зайцами», так еще веселей. А в школу чего торопиться, уроков, что ли, не видели?»

— И вы, Геннадий Васильевич, не переживайте,— уговаривали ребята,— поедем во вторник, какая разница... Пропустим один день.

— Да вы что?! Мне Петр Петрович голову оторвет.

— А кому он не «отрывал»? Чуть что — грозит: то «оторвать» голову, то руки-ноги, а то и уши надрать. Смотри-те, у нас все цело.

Геннадий не узнает свой «трудный» — все так оживлены, все так довольны.

Особенный энтузиазм вызвал спектакль «На дне». Вообще-то пьеса по программе десятого класса, но практикант был очень рад, что удалось вытащить свой девятый на просмотр, кто знает, представится ли еще такой случай...

В театре Геннадий наблюдал за школьниками: на кого пьеса производит впечатление и какое.

Вон Вале Савельеву, кажется, больше всего понравился Сатин, а Тамаре — Лука. Вера Федоровна права:

эти двое — самые эмоциональные. Пожалуй, и вправду они друг к другу равнодушны. Слишком уж независимо держится с пареньком Тамара — старается не смотреть в его сторону, избегает разговоров, а он, наоборот, что-то порывается ей сказать. Наверно, они в ссоре. Из-за чего? Вдруг именно эта ссора и толкнула девушку к Митюку?.. Обязательно надо побывать у Голубевой в семье, познакомиться с матерью, да и «пучеглазую» придется навестить. Не исключено, что она играет в этой истории не последнюю роль. Как он все-таки рад, что хоть на несколько дней оторвал Тамару от клубных танцев, от опасных общений и встреч! И вообще, ребята правы — нужна разрядка, впереди нелегкий учебный год. Думать о том, как встретят в школе, не хочется. Неужели он не сможет отстоять собственное мнение? Неужели не найдется среди преподавателей людей добрых и разумных?..

С железнодорожными билетами помогли в министерстве просвещения. Домой вернулись в понедельник, ближе к вечеру. На станции их встречали кое-кто из родителей и она, Сардоновна.

«А эта еще зачем тут? — с неприязнью подумал Геннадий. — Не нравится мне что-то. Наверно, по директорскому наказу: высматривает, вынюхивает, как лиса в курятнике. Ищет «пострадавших», может, кто заболел, обморозился... Но нет, напрасно стараешься, Елена Патрикеевна — все в полном порядке. А Тамара просто ожила, я ее такой и не видел ни разу».

На следующий день первым уроком был немецкий.

Елена Сардоновна, держа в руках учебник, читала текст. Тамара Голубева, переживая городские впечатления, все никак не могла настроиться на рабочий лад. Перед глазами вставали то жалкий Барон, то ласковый Лука, то отчаянный Васька Пепел...

— Голубева, — голос «немки» звучал грубо и требовательно, — оглохла, что ли?

«Кто дал ей право так обращаться с человеком? Откуда такая злость? Что я плохого сделала?»

Тамара нехотя поднимается из-за парты. Ей почему-то стыдно и неловко. Как может Елена Сардоновна не уважать людей?

— Культурные стали, — язвит учительница, — по театрам, понимаете ли, расхаживаем! На уроках теперь и делать нечего.

Тамара потупилась. Стоит, тербит фартук.

— Как будет «родина» по-немецки? Повтори, я только что прочитала. Махов, напослони Голубевой, что она не Голубева, а «Воронина». Ворон на уроках считает, а не учится.

— Фатерланд,— отчеканивает Махов.

— Получай пятерку, а тебе, «Воронова»,— два. Садись.

У Тамары по иностранному языку никогда не было ниже четверки, хотя и недолюбливала ее Сардоновна. И по родному языку она получала одни пятерки. «Подловила» ее на этот раз вредная «училка».

— А ведь раньше хорошо успевала,— притворно сожалеет «немка», выводя в журнале двойку.— Испортилась, на уроки опаздывает, невнимательна.

Как обидно. «Испортилась»... Кто ее испортил? Наоборот, может, исправляется. Горький помог. Разрушил «черный забор» своими словами: «Человек—это звучит гордо». А она—человек! И еще докажет это всем. Всем! И Митюку!

После перемены не хочется возвращаться в класс, тем более следующий урок—чувашский язык, его тоже ведет Елена Сардоновна.

— Покажи домашнее задание.

Тамара вздрагивает—опять этот тон! Нет, не будет она отвечать, ни словечка от нее не дождетесь.

— Не приготовила? Что молчишь, стыдно признаться? Скажи: «кар-кар-рр!» «Воронова». Язык отсох?

— Вы не имеете права так разговаривать с учениками,—не выдерживает Тамара.

— Это кто тебя такому научил? А? Геннадий Васильевич? Он вас тут всех пораспустил...

— Не он, а Максим Горький...

Что же такое происходит! Ученица объясняет учительнице, что она, ученица, поняла на горьковском спектакле: беречь, любить, уважать друг друга, помогать человеку, не дать ему упасть «на дно».

Класс замер. На «немку» было жалко смотреть: Елена Сардоновна только часто-часто мигает белесыми ресницами, ставшими особенно заметными на багрово-красном лице.

— Ты... Ты... Да как ты смеешь меня учить? Дрянь!

— Я пока еще не дрянь, а если стану такой, то виноваты в этом будете и вы!

Теперь девушка говорит спокойно. Если сейчас ее преврут, «собьют с ног», растопчут уважение к себе самой,

какое она только что обрела, значит — конец, ей больше не подняться... Так ведь получилось с героями пьесы.

То, что происходит потом, — похоже на безобразный сон.

— Я тебя вышвырну из класса, — обещает Елена Сардоновна, — и из школы тоже, как паршивую овцу, чтобы остальных не портила. Что стоишь, выйди вон!

— Никуда я не пойду, ничего плохого я не сделала. Сказала правду. Все говорят про вас такое, только за глаза, а я в глаза.

— Я тебя заставлю силой, — взбешенная «немка», совершенно потеряв над собой контроль, хватает девушку за плечи, и вдруг материя на рукаве лопається. Тамара инстинктивно подымает руку, чтобы прикрыть голое плечо.

Учительница пользуется ее замешательством и толкает к двери.

В классе воцаряется гробовая тишина. Через минуту за дверь летит и Тамарин портфель.

Елена Сардоновна сейчас не похожа на учительницу. Всем мучительно неловко, все прячут глаза.

— Она мне язык показала. Кто видел? Вот комсорг видела. Правда?

Рая не отзывается, она лихорадочно думает: «Надо обязательно предупредить Геннадия Васильевича. «Немка» может выкрутиться из любого положения. То, чего не простили бы любому учителю, ей обычно сходит с рук».

У Валентина растерянный вид — он опять не вступил за Тамару. Он чувствует на себе пристальный взгляд Раи и понимает: она тоже за Тамару.

«Какая там еще любовь? — проносится в голове. — Просто обе они славные девчонки, и я их люблю, но только совсем не так, по-другому, дружески, как брат, как товарищ».

Но девочки растут быстрее, их «горошины-чувства» поспевают раньше: и Рая, и Тамара взрослее Валентина, они глубже и серьезнее в своих молодых чувствах.

...Матери дома нет, уехала на свадьбу в соседнее село — старший брат женил сына. Уезжая, Варук попросила соседку проследить за домом. Тамара терпеть ее не может. Слезливая лицемерка и сплетница. И за Вовку не любит, за пасынка. Чуть что, соседка бежит жаловаться на него: то деньги крадет, то подобрал ключ к сундуку, «сожрал

всю сметану», «без обеда оставил всю семью — чугунок картошки слопал, весь, подчистую!»

А сегодня Вовкина мачеха прибежала, когда Тамара только собралась зашить рукав.

— На-ка,— сказала она тайнственно, вытаскивая из-под грязного, замусоленного фартука блокнотик,— почитай, обо мне тут ничего не написано?

— А чей это, тетушка? Кажется, дневник...

— Да его, его, Вовкин...

— Ну тогда я не буду читать. Чужие тайны некрасиво выznавать без разрешения.

— Может, и про тебя есть что-нибудь. Я оставлю.— И Семеновна положила дневник на полку.— Если куда хочешь сходить, иди, управлюсь без тебя.

Тамара торопливо схватила форму и сунула ее в шкаф, подумала, что починит вечером, когда Семеновна уйдет домой. Однако проницательная соседка заметила:

— Оставь платье-то, я зашью.

— Не надо.

— Чего там, сказала — зашью, значит, зашью. По-соседски надо друг дружке помогать, а то как же...

Остаться дома с неприятным человеком не хотелось, и Тамара отправилась гулять. Но куда она сейчас пойдет? Было бы лето, пошла на реку, выплакалась на берегу, а то и искупалась бы. Вода всегда успокаивает... До чего же не хочется топтать проторенную дорожку — бежать к «спасительнице». После поездки в город она еще не видела подругу и видеть не хочет. Это Галка виновата, это она надоумила «мстить», она свела ее с Митюком. Она старше, конечно, но глупая! Попробуй расскажи ей про театр — не поймет, отмахнется: «Ну тебя, больно ученая, надо быть попроще». А деваться-то некуда...

Дойдя до оврага, девушка остановилась. Кто-то пытался вскарабкаться по крутому склону. Да это же Геннадий Васильевич!

— Дайте руку,— несмело предложила Тамара,— в ботинках скользко, не заберетесь.

— А, это ты, Голубева! Помоги, если сможешь. А то буксую и буксую,— засмеялся Геннадий.— Смотри,— сказал он, поднявшись наверх,— какой клад добыл в вашей библиотеке: Олдингтон, Хемингуэй. Никто, видно, еще в руках не держал — новенькие.

— Интересные?

— Замечательные книги. А ты почему не в школе?

— Так,— уклончиво ответила Тамара и подумала, что Елена Сардоновна, наверно, не решилась рассказать в учительской о том, что произошло. Если «немка» промолчала, то и она промолчит, не станет ябедничать на учительницу за испорченное платье. Все, что Тамара хотела сказать, она сказала — остальное уже неважно.

— Я хочу поговорить с тобой, Голубева, и очень серьезно.

— Как-нибудь в другой раз. Хорошо? А то мне надо тут зайти в одно место.

— Митюк билеты купил в кино,— сообщил вдруг Геннадий и покраснел: — Прошу тебя, будь с ним осторожна. Дело, конечно, личное...

Геннадий приготовился к отпору: сколько раз эта девочка отстаивала перед ним свою свободу, не пускала, как говорится, в душу, но сейчас она отнеслась к его замечанию удивительно миролюбиво:

— Чего там осторожно — нужен он мне больно... Зря вы волнуетесь.

С того дня, как класс ездил в город, Тамара и думать забыла про «черный забор». И даже та фраза про поцелуй без любви не казалась теперь такой уж умной.

А Геннадий Васильевич? До чего же он ей нравится! Он как добрый отец: думаешь, поругает, накажет, а он, глядишь, пожалел, успокоил.

— Вы на меня не сердитесь? Мне, правда, что-то сегодня не хочется. Настроение плохое.

— Согласен подождать,— ласково улыбнулся Геннадий. — Настроение — уважительная причина. Без настроения никакое дело не пойдет. А мать твоя где? Дома?

— Уехала. На свадьбу к дяде.

— Значит, ты за главу семьи? Так бы и сказала. Отпросилась с уроков?

— Да,— промямлила Тамара, холодея от ужаса, что приходится говорить неправду.

— Тогда до встречи,— крикнул на прощанье Геннадий Васильевич и зашагал по улице.

Тамара свернула в противоположную сторону. Очнувшись она только в конце деревни. Невольный обман опять вывел ее из равновесия. Как ни крути, как ни верти, а если не везет, то все складывается нехорошо, хотел бы ты этого или не хотел. Сама судьба гнала ее к Галине.

Подруга сидела за столом и писала.

— Потише ты,— отмахнулась она от Тамары, когда та крикнула с порога «привет»,— не видишь, письмо сочиняю?

Тамара, обескураженная непривычным приемом, тихо-нько присела на лавку.

В доме тишина, слышен лишь мирный стук ходиков, да иногда с шумом обрывается гиря, опускаясь еще на одно звено цепочки. Громко царапая обои, выполз на свет черный сверчок.

— Уй! — всполошилась Галья, отрывая глаза от тетрадного листка, который старательно заполняла своим круглым, неустойчивым почерком.— Когда сверчок показывается — это не к добру!

Вскочив на ноги, она быстро подбежала к печке, схватила лежащую на загнетке сухую лучину.

Тамара услышала, как скрипнули крылья раздавленного насекомого. Ей стало жаль сверчка...

— Право слово, жестокая ты душа! Не обижайся только. Зачем убила? Может, и у него есть какое-то дело на земле, для чего-то и он нужен...

— Заучилась до дуриков,— грубо оборвала Галья подругу.— «Дело» какое-то выискала у сверчка. Букашка и есть букашка, чего его жалеть? Пожалела бы старых друзей. Не думай, что мы не знаем, как вы в город ездили, в театр ходили. Подумаешь... Со студентом все своим. И на танцы, и туда-сюда. Вот он уедет, с кем останешься? С нами. Еще прибежишь, да и прибежала... А Митюк, может, теперь на тебя и не посмотрит. Нужна ты ему — козявка. Сверчок сухой. А он парень видный, красивый. Да я бы за таким на край света...

— Вот и беги,— обидчиво возразила Тамара.

До чего сиротливым и несчастным выдался день... Крохотный паучок, оборвавшись с потолка, спускался вниз по тоненькой паутине. Она осторожно подставила ему свою ладонь. Паучок побежал, едва заметный, и опять сорвался вниз, уже на пол.

— Послушай,— вскинула Тамара глаза, пытаясь поймать Галькин, всегда скользящий мимо взгляд,— говорят, если кто тебя первый поцелует, тот и есть твой суженый. Это правда?

— Конечно. Если хороший парень поцелует, не станешь вертеться направо-налево.

— А если плохой?

— Кто плохой? Митюк? Дура ты, дура! И говорить-то с тобой неохота.

— Ну и не говори.— Тамара решительно поднялась с лавки, подошла к вешалке, сняла пальто.

Галина молчала. Все-таки она была незлой. Первая их крупная ссора за столько лет дружбы расстроила и ее... Но что-то толкало продолжать неприятный разговор:

— Твой отец кто был? Вор и пьяница! — Галька трянула завитыми на бигуди кудряшками.— Должна спасибо человеку сказать, что он дружить с тобой захотел, а не крутить носом... Кто ты такая?..

— Человек. А если ты еще раз про отца,—захлебнулась Тамара слезами,—если еще раз...

Галька не на шутку перепугалась:

— Не буду, не буду... Знала бы... Ни за что на свете! Да чего ты ревешь? Перестань. Никуда я тебя не пущу, оставайся.— Она стянула с подружки пальто, сняла с головы шаль и, обняв Тамару за плечи, усадила на прежнее место: — Посиди, остынь. Сейчас самовар поставим, чайку попьем.

Нет, все-таки подружки они были давние: ни та, ни другая не могли обходиться друг без друга.

Когда пили чай, Тамара уже не сердилась, только изредка глубоко вздыхала, как ребенок после долгого рева.

— Знаешь что,—предложила Галька неожиданно,—сходим вместе в парикмахерскую? Хочу сделать «химию», а то надоело каждую ночь на железках спать. И тебе бы пошли кудри. Чего косы жалеть — новые отрастут.

Галькина стихийность не раз увлекала Тамару — и не стоило бы вроде соглашаться, а поступала так, как та захочет... До этой минуты у нее и в мыслях не было обрезать волосы, но тут показалось: и правда, почему бы не завиться? Красиво, модно.

10

Входя в девятый, Геннадий Васильевич понял: произошло что-то из ряда вон выходящее. Несмотря на то что на уроке собирались присутствовать методист и группа студентов, в классе было беспокойно: хихикали, шушукались, вертелись за партами.

— В чем дело? — спросил он у Вали Савельева. Тот в ответ лишь с шумом перелистнул учебник.

— Начнем работать,— строго приказал Геннадий.

Класс мгновенно затих.

И как это только он не почувствовал?! Как сразу не

разгадал обстановку?! И почему, по какой такой несчастливой случайности вызвал первой Голубеву...

Когда Тамара поднялась из-за парты, он не узнал ее: пушистые косы исчезли, вместо них на голове какое-то воронье гнездо. Мелкие кудри топорщились во все стороны и так не вязались со всем ее привычным обликом... Чувствовалось, что девушка страдает от своего нелепого вида — глаза смотрят затравленно, словно молят о пощаде. Ему было ясно: лучше оставить ее в покое, ответа все равно не добьешься.

Как он жалел ее в эти минуты...

— Садись на место, — сказал Геннадий, покосившись на методиста и товарищей-практикантов. Те тут же раскрыли свои рабочие тетради и принялись торопливо записывать. Наверно, фиксируют его поступок. Конечно, есть чему удивляться: вызвал ученицу и вдруг ни с того ни с сего отказался от вопроса. Пусть! Главное — она, бедняга... Час от часу не легче.

Он с трудом закончил урок. В учительской разразился новый скандал: ворвалась пышущая «справедливым гневом» Елена Сардоновна, потрясая какой-то растрепанной брошюрой.

— Полюбуйтесь! Вот что изучают в девятом.

Кто-то из учителей, полюбопытствовав, прочитал название вслух: «Гигиена брака».

— Ну и что? — не понял Геннадий. — Разве это криминал?

— Криминал случится, когда кто-нибудь из них родит. Будем дожидаться? Педагогическая близорукость — так называется ваша реакция, Васильев. Считаю своим долгом дать сигнал.

«Вздор!» — пожал плечами Геннадий.

Но он плохо знал «немку». Раздражение против молодого человека, который за столь короткий срок сумел расположить к себе такой строптивый класс, не давало Елене Сардоновне покоя. Она все дожидалась, когда практикант сорвется, даст повод уличить себя в какой-нибудь погрешности. И вот наконец это случилось, как было не воспользоваться...

Через час директор вызвал к себе в кабинет Васильева.

Первое, что бросилось Геннадию в глаза, — злополучная брошюра. Петр Петрович брезгливо отодвинул ее от себя, вскидывая на студента сердитые глаза:

— Вы действительно так думаете?

— Как? — не понял Геннадий.

— Что ничего особенного не произошло? — продолжил фразу директор.

— А что, собственно, случилось?

— Разврат! — хлопнул по столу ладонью Петр Петрович.

— Ну, знаете ли... Слишком сильно сказано. А если бы такая книжка нашлась у студента медучилища?

— Там другое дело, там программа. Мне нужен журнал вашего класса, будьте добры, принесите.

Принести журнал — дело, конечно, пустяковое, но если за простой вежливостью стоит что-то другое — он не потерпит...

— Хорошо, хорошо, так, так, — бормотал Петр Петрович, листая с шумом страницы. — А теперь сбегайте-ка за тетрадами. Посмотрим, как они пишут у вас сочинения.

«Э, да дело пахнет обыкновенным куражом. Уважим... Не рассыплемся».

Конечно, начальство просто для вида, вскользь пробегает глазами строчки школьных сочинений — оттягивает главный разговор, собираясь с мыслями. Что ж, надо и самому приготовиться.

В кабинете воцарилась тягостная тишина.

Интересно, какую мишень выберет опытный стрелок, какое слабое место нащупает...

«Стрелок» бьет метко:

— Что там у вас с Голубевой?

Геннадий молча пожал плечами.

— Это не ответ, — взорвался директор, — ученица в критическом положении, а вы, выходит, в стороне, плечами пожимаете?.. Знаете, у кого Елена Сардоновна отобрала брошюрку? У Голубевой. Уроков не учит, учителей оскорбляет, на танцульки бегаёт, кудри завилла. Мало вам этого? Я спрашиваю, что случилось? Вы что-нибудь знаете?

— Знаю.

— Знаете?! И не принимаете мер, не информируете ни меня, ни других преподавателей? Вам все равно? Думаете: «Пробуду здесь два месяца, получу свой зачет — и с глаз долой, из сердца вон». Расхлебывай после такую «практику».

— Ошибаетесь. Я... — начал было Геннадий, но Петр Петрович, встав на привычную стезю разноса, уже знал, как вести себя дальше:

— Ваша «практика» у меня в печенках сидит. С культ-походом едва разобрались, а теперь... Посмотрите, какие оценки за последнее время получает Голубева: две двойки подряд! По немецкому и чувашскому! Вы не учитель и не будете им никогда! Собирайте классное собрание, пусть ребята сами ее осудят.

— Ни за что!

— Это почему же?

— Потому что коллективное осуждение только в том случае имеет силу, если провинившийся чувствует себя членом коллектива.

— Что-то мудрено... Значит, вы сознательно противопоставляете Тамару Голубеву всему классу? За какие, извините, достоинства? За красивые глаза, что ли?

— За характер. У девочки необыкновенная чувствительность, эмоциональность.

— В Большой бы театр такую-то. А? — попытался съязвить Петр Петрович.

— Не в Большой и не в театр, а в заботливые, умные и по-настоящему педагогические руки. Тамара требует к себе повышенной чуткости. Одна только Вера Федоровна...

— Оставьте в покое личные симпатии, кроме нее есть в школе учителя и не хуже.

— Так почему же так скучно на уроках? Почему так низок культурный уровень? Дети ничего не читают. Не знают, кто такой Олдингтон. И Тамара не знает.

— Ну и что? В сутках только двадцать четыре часа. А чтение, кстати,—внеклассная работа. Нам надо настроить ребят на практические задачи, а культурный уровень пусть сами повышают. Для этого есть кружки. Голубеву мы заставим быть такой, как все. Деревенская девчонка... Будет дояркой, обыкновенной колхозницей. И не тяните вы ее никуда, не забивайте мозги! Работайте по программе, учите детей, как положено. Все.

— Нет, не все, Петр Петрович, не все. Если Тамару сейчас сломают, то она погибнет.

— Ломаете вы, а не мы.

— Не собирайте собрания, прошу вас. Это педагогическая ошибка, она может дорого обойтись всем нам.

— Что такое? — надменно поднял брови директор. — Никак меня учить собрались? Да я с вами и говорить не хочу.

«А я с вами», — хотел было возразить Геннадий, но вовремя опомнился: дерзость не оружие. Жаль, не получи-

лось разговора, очень жаль! Главная его мысль оказалась невысказанной: «Авторитет не подчинение, а добровольное признание чужой правоты».

Почему он не стал дальше спорить? Нет, не испугался, не спасовал перед Петром Петровичем. Просто стало ясно: не поймет его этот человек. Ни злости, ни раздражения против него лично у Геннадия не было. Он отлично понимал — между ними стоит время: прошлое — за директором, будущее — за ним, за Верой Федоровной.

В учительской руководитель группы, методист Александр Семенович, стоя у окна, учит уму-разуму практикантку Коршунову:

— На кой ляд ты затеяла с ней эту возню?— говорит он в сердцах.— Девчонка и без того ершистая, а ты ее еще и заводишь. Весь урок испортила.

— Но она урок не выучила,— упорствует Коршунова, упрямо поджимая губы.

— Так на эту новость надо было тратить драгоценное время? Думаешь, после твоей нудной нотации что-нибудь изменится? Думаешь, она так сразу и бросится к учебнику? Дудки. Наоборот, побежит к подружкам да наядбедничает на тебя. Уж поверь, ты и прозвище получила.

— Скажете тоже...

— Обижаешься? Не нравится? А сама почему же обижаешься? Двойку надо тебе вклеить. За бестактность.

«Есть же на свете умные люди,— облегченно вздохнул Геннадий.— Этот меня поймет».

Но к великому огорчению, как ему показалось, никто — ни методист, ни друзья-студенты не поинтересовались, для чего его вызывал директор, о чем они беседовали... Он пробыл в учительской еще с четверть часа, но, не дождавшись, пока с ним заговорит Александр Семенович, ушел домой.

11

На следующий день учительская напоминала развороченный улей: все возмущались практикантом Васильевым, вздумавшим критиковать школьные порядки.

— Обманчивая внешность. Такой с виду тихий, смирный.

— Мне он, кстати, сразу же не очень-то понравился.

— И мне.

— А, да вы известные добчинский — бобчинский.

— От плюшкина слышим.
— Тише, товарищи, еще поссоритесь из-за мальчишки.
— Говорят, Голубевой голову вскружил. Так за нее заступается, так заступается...

— Дело молодое!

— Вечно вы оправдываете безобразия!

— Молчу, молчу. Если кого захотите съесть, знаю, и без масла слопаете. Пожалели бы парня, не портили бы ему диплом!

— Пусть не сует свой нос, куда не следует. Я бы на месте Петра Петровича...

Геннадий явился в школу после большой перемены. Первый человек, которого он встретил, была староста их группы, Феня.

— Генка, привет! Чего ты вчера натворил? Учителя так тебя поливали!

— Э,— махнул рукой Геннадий,— с директором не согласился в одном вопросе. Не знаешь, где Александр Семенович?

— Уехал. Еще вчера, обещал сегодня к вечеру вернуться. Попало мне за тебя. Говорят, распустила людей, неизвестно где кто пропадает. Вчера тебя искали-искали, а ты пропал.

Стайка галдящей ребятни отделила их друг от друга, прервала разговор. Впрочем, ни тот ни другой не стали его возобновлять: староста куда-то спешила по своим делам, а Геннадий сказал все, что хотел. Зато Зинка Коршунова так и вцепилась в него с расспросами: «Говорят, ты...», «Говорят, он...», «Все учителя возмущаются...», «Правда, что ли, про Голубеву?»

— Да отстань, без тебя тошно!

— Ну и ну...— пропела Зинка,— ну и удивил...

— Можешь без междометий? Можешь по-человечески?

— «Междометий»... то да се. Ты со своей культурной речью допрыгался, всех оскорбил, всех обидел.

Геннадий в глубине души пожалел, что кончились школьные годочки, когда можно было без лишних разговоров дать по шее этой дуре и дело с концом.

...В девятом — ни души, один дежурный.

— Где все? — спросил у него Геннадий.

— Прогнал, не дают уборку сделать.

— Голубева сегодня была?

— Была, да ушла уже.

— Как ушла, почему?

— «Немка» опять выгнала с урока.

— За что, не знаешь?

— Да несправедливо, Геннадий Васильевич. Придирается и придирается к Тамаре. Платье даже порвала. А сегодня из-за вас. Тамара говорит ей: вы, мол, Геннадию Васильевичу учебу портите, потому что завидуете. Его любят, а вас нет.

Геннадий схватился за голову — этого еще не хватало! Заступница нашлась... Надо немедленно ее разыскать. Скандал!

Она, наверно, уже дома. Кстати, с матерью познакомлюсь. Может, удастся вдвоем справиться, может, родительский авторитет здесь, в деревне, имеет еще силу. Пусть мать поговорит с дочерью и насчет подружки. Сегодня хозяйка гладила Митькину рубашку и хвасталась: «Мой на вечеринку собрался, день рождения отмечать у Гальки Зиновьевой. Поди, краше всех парней будет!» Значит, и Тамару пригласят. Как бы помешать! Нельзя сейчас ей встречаться с Митюком.

Дома у Голубевых никого не оказалось — мать еще не вернулась, а Тамара...

— Приходила, — рассказывала Геннадию словоохотливая соседка, домовничающая у Варук-инге¹, — расстроенная такая, плакала, говорила, что больше в школу не пойдет, говорила, что только мучают ее в школе, только издеваются, отцом попрекают. Мать-то вернется, не знай что и будет. Она и на язык острая, и на руку тяжелая. Особенно, боюсь, за завивку Варук дочку прибьет, право слово, прибьет. У нас в деревне строго. Если девку осудят, никто замуж не возьмет. А вы кто будете? Учитель?

— Я студент, на практике. Вы ей скажите, что приходил Геннадий Васильевич, просил, чтобы без его совета ничего не делала.

— Не беспокойтесь, все скажу, вы, видать, человек серьезный, ученый. Я ее настрою, чтобы слушалась вас.

— Не знаете, куда она могла деваться?

— Да на собрание пошла. Райка прибежала, утащила. «Упрямый старик, — подумал про себя Гена, — все-таки на своем настоял. А зря. В таком случае он сам пойдет на собрание. Защищать так защищать».

Но он опоздал. Еще не доходя класса, Геннадий вдруг

¹ Инге — тетя.

увидел, как дверь широко распахнулась и из нее пулей вылетела Тамара.

— Что с тобой? — ахнул он.

— Не надо, ничего больше не надо, мне теперь все равно. За что только они меня так мучают? — Лицо у девчонки было красное, опухшее, губы тряслись, в глазах стояли слезы.

— Я провожу тебя домой, а по дороге ты все расскажешь. Договорились? Успокойся, вытри глаза, высморкай нос. Вот тебе платок.

По лестнице она не могла идти — подкашивались ноги. Судорожно цепляясь за перила, Тамара осторожно переступала со ступеньки на ступеньку.

И вдруг за спиной раздалось:

— Голубева!

Тамара, не оглядываясь, продолжала спускаться вниз.

— Кому я говорю! Пока ты в школе, я — учительница, а ты — ученица. Веди себя как следует. Может, ты пьяна?!

— Прекратите! Прекратите издевательства... Это же настоящий садизм, — не выдержал Геннадий.

На этот раз Елена Сардоновна не удостоила его ни одним словом. Теперь, когда обе строптивые птички были у нее в руках, можно было позволить даже известное великодушие.

— Молодой человек, — вздохнула она, — мне вас жаль. Она — пропащая девчонка... Зачем вы из-за нее так рискуете? Даю вам добрый совет: не появляйтесь с Голубевой нигде вдвоем. Могут быть неприятности, тем более что она еще несовершеннолетняя...

— Не обращай внимания, — проговорил Геннадий, заметив, как побледнела Тамара, — чудовище, а не человек. Пошли.

Дорогой они молчали, обоих бил сильный озноб. Утешать, строить планы на благополучный исход не хватало духа ни у того, ни у другого — слишком велико оказалось напряжение двух последних недель. Геннадий чувствовал себя стариком, равнодушным и угасшим.

— Уезжайте вы отсюда, — прошептала Тамара, когда они подошли к дому, — все равно ничего никому не докажешь.

— Не знаю, ничего я не знаю... Так гадко, так глупо, — признался Геннадий. — Никогда ничего подобного со мной не случалось.

Возвращаясь, он с горечью признался себе: «Нет, я

все же не учитель, видно, не мое это дело. Вот уже почти полтора месяца я здесь. Живу вдалеке от дома, у чужих людей. Одни неприятности. Практику мне завалят, как пить дать, завалят. Тамаре я не помог, а если дальше буду продолжать в том же духе, то, боюсь, наврежу ей еще хуже. Может, она и права — надо сматываться».

Решение уехать как-то сразу успокоило — все-таки это был хоть какой-то выход.

12

Тем временем Александр Семенович, вернувшись из города, уже спешил в школу выручать практиканта Васильева.

Студенты, помогавшие старшеклассникам выпускать стенгазету, с любопытством прислушивались к разговору, который доносился из директорского кабинета. Судя по всему, там шел горячий спор, потому что Александр Семенович вышел, вытирая лицо носовым платком.

— Геннадий был сегодня?

— Вчера утром я его видела, — ответила Феня.

— Когда у него следующий зачетный урок?

— Кажется, послезавтра.

— Вы про Васильева спрашиваете, — вмешалась в разговор Нина Данилова, — минут пятнадцать назад я видела, как он с чемоданом шел на автобус.

— С чемоданом, говоришь? Ах, голова садовая, сама в петлю лезет. Товарищи называется, — упрекнул он Нину. Почему же не остановила?

— Да он такой злой был...

— Испугалась?.. А как полетит из института? Что тогда? Придется принимать меры, — и методист вновь постучался в директорскую дверь.

— Что будет, девочки, что будет?! — заохала Коршунова.

— В случае чего, — заявила Феня, — пойдем все к Петру Петровичу. Нельзя Генку оставлять в беде. Разве плохо, что он такой принципиальный?..

— В чем дело? Что еще стряслось? — директор с удивлением уставился на вошедшего.

— Да ничего особенного, просто выяснилось, что у меня есть время потолковать с вами, коллега, — ответил Александр Семенович, усаживаясь на стул перед столом, за которым, нахмуясь, сидел Петр Петрович. В критических ситуа-

циях методист мог быть настоящим дипломатом. Сейчас, зная, что здешнее начальство падко до всяких научных разговоров на специальные «педагогические темы», он собрался ввести Петра Петровича в курс недавно начавшейся полемики по общешкольной реформе.

— Я вам сегодня забыл вот что сообщить: у нас на конференции обсуждались два вопроса, которые, очевидно, могут и вас заинтересовать: на что должна ориентировать ребят сельская школа и как будет проводиться подготовка кадров учителей.

— Слава богу,— клюнул на приманку Петр Петрович,— додумались... Да я об этом давно говорю! Наша молодежь летит в город, как бабочки на свет. Добро бы, если в него стремились одаренные, талантливые дети, так нет— чуть ли не каждый троечник, лентяй, лоботряс. Занимаются там чем попало, готовы улицы подметать! В селе трудовых рук не хватает, а они... Я недавно проводил в девятом классе беседу как раз на эту тему. Так один умник заявил: мол, сейчас не крепостное право, чтоб людей насильно к земле привязывать. До сих пор не могу успокоиться, как так можно?!

— Вот вы, Петр Петрович, обронули фразу: «В селе не хватает трудовых рук». А трудовые ли это руки?

— Понимаю. Не очень-то они сейчас умеют трудиться...

— Кто в этом виноват? Школа.

— Школа? У нас трудовое воспитание.

— Как предмет, как обыкновенная школьная дисциплина, скажем, математика или литература. Но ведь ни «литература», ни «математика» не делают из ученика ни писателя, ни ученого. Совершенно так же, как и «трудовое воспитание» не воспитывает труженика.

— Понял. Если бы производительный труд...

— Вот именно. Скажем, у вас своя земля, своя ферма, своя ремонтная мастерская, ребята работают по два-три часа и получают зарплату, а не оценку. Доходом распоряжается сама школа. Покупает новое оборудование, ремонтирует, строит по собственному усмотрению, даже зарплату учителям повышает.

— Ну, это только мечты!

— Понимаю, вас хозяйственные проблемы заедают, но давайте обратим внимание на главное— что происходит в сознании сельского ребенка. Испокон веков деревенские дети принимали участие в крестьянском деле, с самого раннего детства. В народе всегда презирали белоручек,

захребетников и уважали трудовую копейку. Зарабатывали ее все — от малыша, нянчившего младенца и пасшего скот, до престарелых бабок и дедов — всем находилась работа по силам. А сейчас посмотрите, здоровенный детина целыми днями сидит за партой. В семье к нему никаких требований — учись только! Мало того, родители из кожи вон лезут, чтобы дать своему дитяти образование, поскорей выпроводить его из деревни в город. Та самая «балованная» городская жизнь ныне — предел мечтаний.

— Ой, — усмехнулся Петр Петрович, — куда-то вы клоните, не пойму.

— Да я о Тамаре Голубевой.

— О ней уже все сказано, — нахмурился директор, — исключили из комсомола.

— Напрасно поспешили. О таких, как она, и шла речь на конференции. Голубева — типичный случай.

— И что решили? — приподнялся из-за стола Петр Петрович. — Что?

— Решили в ее пользу, то есть в пользу таких, как она.

— В пользу разгильдяев, не уважающих старших? Анархистов?

— Не горячитесь. Девчонка чуткая, тонкая, думающая... Она легко могла сделать вывод: раз труд крестьянский обесценен, значит, и человек деревенский — ноль.

— Да я же им говорил: трудитесь, изменяйте жизнь, а они — «крепостное право»...

— Представляете, если бы та же Тамара смогла зарабатывать в школе, подчеркиваю — в школе, двадцать — тридцать рублей, то есть принести в дом не только моральную оценку в виде учебного балла по успеваемости, но и материальную, как результат ее способностей и усилий, насколько бы тогда выросла она в своих глазах и в глазах домашних! Поверьте, никакого бы тогда не было в ней ни анархизма, ни нигилизма.

— Хорошо, Голубеву вы оправдали, а Васильева?

— С Геннадием еще проще. Он-то уж, конечно, не анархист: способный студент, гордость кафедры. Горяч, принципиален — не спору. Но приходило ли вам в голову, что Васильев человек сугубо городской? Он ведь ни разу в глаза не видел деревни! К сожалению, не готовят у нас в вузах учителей для сельских школ. Никого он не хотел ни обидеть, ни оскорбить — просто другие оценки: нравственные, культурные, бытовые. Шестнадцатилетняя девичка интересуется физиологией? Ну и что? Что преступ-

ного в подобной любознательности? Сделала завивку? Это ее личное дело. За это выгонять из комсомола? Чушь и произвол. Ничего удивительного нет в том, что, рассуждая подобным образом, Геннадий сделал вывод: Голубева — нечестная жертва, а учителя и директор — бездушные изверги.

— Безобразие!.. Да я жизнь свою положил...

— Не сомневаюсь, но ведь мы с вами — педагоги, воспитатели, мы не имеем права обижаться. Обижаться — это невоспитанно. Согласны?

— Ух, я даже вспотел, — признался Петр Петрович. — Вы, Александр Семенович, настоящий методист. Доконали меня методически. Но все-таки, что нам делать с нашими «городом» и «деревней»?

— Васильева вернуть к своим обязанностям.

— Как вернуть?

— Да он, говорят, уехал.

— Уехал? А зачет? А практика?

— Не волнуйтесь, вернем, обязательно вернем. Что касается Тамары, давайте рискнем — пусть Геннадий доведет дело до конца согласно своей, а не чужой «педагогической практике». В случае чего, подскажем.

13

...Девочка вышла в поле, на ней черное пальто, серая пуховая шаль, валенки. Держится прямо, гордо, словно бросает кому-то вызов.

Горизонт размыт. Небо туманно, солнце похоже на мутный зрачок.

Ветер подымает сухую поземку и гонит по стылой земле, свистит по-зимнему.

Девочка пристально вглядывается во все окружающее.

Когда это было? Трепет стебелька сухого гороха, мышь-полевка, первая метель, мелкие волны еще не успевшей застыть реки, голубь на перильцах моста, ныряющая утка?

Какими пустыми, ребяческими кажутся прошлые тревоги и страхи... Пугалась мыши, страдала из-за Вальки... Какая все ерунда по сравнению с тем, что происходит сейчас! Каркнула черная ворона в ее непутевой жизни, каркнула — и все превратилось в ненужный хлам. Мечтала о далекой, прекрасной жизни... Теперь ей нет места в школе, теперь никуда она не уедет. Все искала, кому подарить свое огромное, как небо, «люблю» — подарила Митюку.

Любовалась на себя в зеркало — так теперь полюбуйся: вместо пушистых кос — жженные лохмы. Изуродовала себя, ограбила, исказила... Родная мать знать не хочет.

Все хорошие люди отказались от нее — Геннадий Васильевич, говорят, уехал... Значит, одна дорожка — к Гальке и Митюку...

И опять, как тогда, она — на мосту. Под мостом нет сейчас смешной утки, нет голубя, но посредине реки, несмотря на мороз, течет дерзкая дорожка живой воды.

И опять она вздрагивает, заметив с противоположного берега позднего прохожего, и опять боится, что это Валентин. Но нет, это Вовка, сосед. Сколько раз она принимает его за другого...

Тамара знает Вовку уже пять лет. Приехал он первый раз, чтобы повидаться с отцом, да так и остался. Видно, не нужен он был новой семье — мать давно вышла замуж за другого.

— Со мной или с матерью? — спросил отец.

— С тобой, — ответил сын.

— Тогда живи...

Володя много пропустил, пришлось догонять. Тамара ему помогала, хотя училась тогда в четвертом классе. Сейчас он уже в десятом, говорят, тянет на медаль. Раньше они с Тамарой очень дружили, но помешала мачеха. Она сразу же возненавидела пасынка, осуждала, срамила, жаловалась соседям: «С дурцой он, патроном грозился убить, и запах от него такой, что в избе не продохнешь». Володя, конечно, все слышал и стал сторониться соседей — вдруг да поверили они наговорам?

Вот и сейчас прошел мимо, как чужой, как посторонний, а Тамаре хотелось крикнуть ему вслед: «Остановись, меня тоже обидели, осудили, помоги!»

Но она молчит, и он уходит все дальше и дальше... Вот уже его не видно — скрыли сумерки.

«Если бы мать не уехала, — думает Тамара, — может, ничего бы и не случилось: ни ссоры с «немкой», ни парикмахерской».

...Варук приехала вечером и, не успев снять шубы, принялась рассказывать, какой хорошей получилась свадьба, сколько было гостей, какие дорогие подарки получили молодые. Тамара, опасаясь, что мать может заметить ее «хищную», сидела в платке. Оживленная, веселая, помолодевшая, Варук незлобно отчитывала детей за беспорядок: пол не метен, чугунки не мыты...

— Мам,— дернула ее за руку Лизка,— а Тамарка кудри завила.

— Что мелешь?!

— Правда, сама посмотри.

— А ну-ка... покажи.

Тамара опустила голову, развязала платок.

— Господи,— всплеснула мать руками, увидев кудрявые, барашком, волосы.— Заживо похоронить хочешь, бесстыдница! Испортила себя, негодница, на всю деревню опозорила. Иди сбрей совсем! Лучше лысой ходи, не пущу домой с такой позорной головой! Вон, тебе говорю, вон с моих глаз!

Тамара выскочила за дверь в чем была. Через минуту вслед полетели с крыльца пальто и шаль.

С тех пор прошло два дня. Два дня она отсиживается у Гальки и, только когда стемнеет, выходит побродить подальше от дома, чтобы никто не видел.

14

После обеда Варук забежала к соседям, смущенно, словно виноватая, потопталась у порога.

— Варук-инге, зачем пришли?

— Да ведь она сюда всегда ходила. Куда еще могла подеваться, окаянная? Не знаешь?

— Не знаю,— равнодушно повела плечами Галька.— У нас нет, сами видите.

— Может, ты ее спрятала? Скажи. У меня все нервы испортились.

— Ищите, где хотите,— развела руками Тамаркина подружка.— Я не пастух. Какое мне-то дело? Сами ругались, сами теперь и миритесь, а чужих людей не впутывайте.

— Вот горе-то, вот грех-то... Маленько оттрепала за волосы, маленько пристыдила... Я же мать! Если встретишь, скажи: пусть по деревне не болтается, домой идет.

— Если встречу,— пообещала Галька,— скажу.

Лишь после того, как во дворе звякнула калитка, Тамара решила выйти из спальни.

— Слышала? Долго еще прятаться будешь? Боюсь, моя узнает, попадет обеим! Возвращайся-ка ты лучше.

— Не гони,— прошептала Тамара,— хоть ты-то не гони.

— Ладно, оставайся, все равно Варук-инге сегодня больше не придет, а я тебе письмо прочитаю. «Пишу рукой оторопелой, марая лист бумаги белой». Здорово?

Тамаре давно надоели Галькины письма—все на один манер, их можно было посылать кому угодно, стоило лишь поменять адрес. На этот раз «шедевр» предназначался бывшему однокласснику, служившему в армии.

— Чего ты киснешь? — накинулась на Тамару Галина, перебирая в шкафу наряды.— Смотри, когда парни придут, чтоб веселой была! Не порти в такой день всем настроения: в жизни раз бывает девятнадцать лет!.. Сядешь за стол, выпьешь маленько—и все пройдет... Пирогов наедемся, потанцуем... А мать?.. Раз бегают, ищет, значит простила.

...Гости — киномеханик Петька и Митюк—ввалились шумно, словно не два человека вошли, а целый десяток.

Киномеханик, постоянный Галькин ухажер, обнял ее по-хозяйски и тут же увлек на кухню. За перегородкой тотчас раздались шумная возня, приглушенный смех и увесистые шлепки.

Митюк терпеливо дожидался, когда и ему можно будет поздравить именинницу—девятнадцать раз дернуть за уши, расхаживал по избе, похихикивал, потирая руки в предвкушении обильной еды и выпивки.

Сияющая Галька стала выносить из кухни и ставить на стол угощение. Вся троица, судя по всему, единодушно желала одного: танцевать, веселиться, есть и пить.

Митюк пытался рассказать анекдот про то, как цыган продавал лошадь, но все никак не мог приступить к нему, перебивая сам себя смехом...

После первого тоста за здоровье хозяйки Петька запел «двадцать пять куплетов, всем известных» и про то, как «в субботу мы не ходим на работу».

Галька подмигнула подруге:

— Ты, Тамарочка, ведь тоже по субботам не ходишь на работу? Поди, бросишь школу?

— Чего? — не понял Митюк и, заметив, что Тамара покраснела, растолковал ее смущение по-своему.

Мы сидели на вечерке,
Пили красное вино,
Покраснело у Тамарки
Ее белое лицо,—

заорал он частушку.

Петька тут же пропел свою:

Я по улице иду,
Не волнуйся, тетушка,
Что я с Галею гуляю,
Не твоя заботушка.

Не отстала от парней и именинница:

Ты, подружка дорогая,
Позавидуй, как живу:
Ухажер киномеханик —
Без билета в клуб хожу.

Дурацкие шутки, дурацкие разговоры, дурацкий смех — как все опостылело!

Звенели на столе мутные, захватанные жирными пальцами рюмки, валялись на клеенке объедки, падали то и дело на пол окурки, вилки...

Зачем она здесь, среди этих людей? Как холодно, как неуютно...

— Чего не пьешь? — это Митюк, он наклонился к Тамаре, смотрит обиженно. — За мое здоровье не пила, смылась тогда в город, теперь и за ее не хочешь? Непорядок! Кто твои друзья? Галина, ответь, кто ее друзья?

— Да мы, я уже ей говорила. А что, правда, ваш квартирант уехал?

— Точно. Смотался как миленький, в два счета. Теперь уж, заяц, не отвертишься, пей!

Не подымая головы, Тамара протягивает навстречу полную рюмку и слышит, словно сквозь сон, ответное звяканье стекла.

— До дна, — приказывает Галина, — за мое счастье.

Три пары издевательских глаз следят за каждым движением. Приходится с отвращением проглотить пахнущую сургучом, обжигающую горло жидкость.

Теперь они довольны, тянут закуски — хозяйка соленый груздь, наколотый на зубья старой, щербатой вилки.

— Наливай вторую, за меня, — требует Митюк.

— Не могу, — чуть не плача, отвечает Тамара.

— Через «не могу», — настаивают все и почти насильно вливают в рот вино — половина все-таки остается на столе неопрятной, липкой лужицей...

Как кружится голова... Все плывет перед глазами. Вокруг лампочки, на никелированных шишечках кровати, на лезвии ножа — словно паутинки пляшут радужные лучики.

Чья-то расплывчатая тень заслоняет свет, кто-то больно давит на плечи. Тамара поднимает голову. Что ему надо? Смеются над ней, над Геннадием Васильевичем... Зачем она тогда сама попросила уехать своего единственного защитника? Теперь они ее затравят, заставят делать все, что хотят. А она сейчас такая слабая — не чувствует ни рук, ни ног. Кажется, Галка зовет Митюка танцевать, хохот,

неуклюжая возня... Надо бежать отсюда, пока на нее не обращают внимания. Даже одеться не хватило сил — так и вышла на волю в одном легком платице.

Темно, выюжно. Голову вдруг сжимает обруч нестерпимой боли. За всю свою жизнь лишь однажды испытала такую, когда угорела в бане. Нет силы терпеть — так давит виски... Упасть бы сейчас в снег, забыться, умереть.

Кто-то встал за плечами:

— Ты чего убежала?

— Отстань,— просит она слабым голосом.— Не трогай, уйди...

Сильные руки отрывают ее от ступенек крыльца. В вышине одни лишь звезды. Они кружатся, свиваются в искрящуюся спираль, пронзают, разверзают небо. В небе образуется черная дыра, и все летит вверх тормашками...

Снег обжигает спину, страх — сердце. Сейчас может произойти что-то ужасное... Тамара кричит не своим голосом: «Мама, мамочка!»

Оглушенный ее криком, Митюк на секунду замирает. Тамара вскакивает на ноги — весь хмель вдруг разом слетает...

Вон она, калитка, толкни ее — и на улице, на свободе.

Какой-то поздний прохожий появляется в начале улицы, и преследователь трусливо отступает.

...Автобус мчит по дороге. Стрелка часов в кабине шофера медленно подвигается к цифре «шесть». Мерный рокот мотора, мелькание фар встречных машин. Клонит ко сну. Он очень и очень устал, даже думать нет больше сил. Впрочем, о чем думать-то? Все и так ясно. Бежал, бежал как дезертир, малодушно, позорно. А с чем бороться? С рутиной, о которой предупреждала Вера Федоровна? Ей хорошо так рассуждать, она опытная, сильная, а он всего-навсего студент. Что можно противопоставить устоявшимся порядкам и авторитетам? Свою личную тревогу за судьбу славной девчонки, попавшей в беду? «Славная» она — для него, а для всех — «пропашая». Попробуй докажи обратное! Вот если бы Вера Федоровна... А может быть, сам виноват? Нет ли в его отступлении собственной обиды, амбиции? Ударили по самолюбию — разобиделся на всех. Вот и стали: кто «хамкой», кто «бурбоном».

Постой, постой... Какая же разница — ругаться вслух или про себя? Никакой, все та же гадость. Душе от этого не легче. Личность... Что такое «личность»? Разве она охватывается одним определением: «Я — студент четвертого

курса, проходящий практику в такой-то школе». Тому Геннадию Васильевичу, который еще не состоялся, который только будет, хочется многого, но сейчас ему не хватает жизненного опыта, и оттого действия нынешнего Геннадия напоминают блуждания в тумане.

Почему он пошел в педагогический вуз? Потому что в детстве мечтал стать учителем; выпускником хотел учить детей, первокурсником гордился, что поступил в институт, на третьем курсе увлекся психологией, а сейчас... Сейчас, как бы это высказать поточней? Столкнулись теория и практика. Столкнулись и...

Нет, от размышлений не уйти. Как же он все-таки понимает свою задачу? Бороться за человека. Не просто давать ученику сумму определенных знаний, предполагая, что тот примет на веру, а сделать знания помощниками, отправной точкой нравственных исканий. Кто ему мешал на этом пути? Конфликт, который вышел у него с коллегами, всего лишь недоразумение. Не хватило духу учиться быть учителем. Вот где его ошибка! Оказывается, с «педагогической практикой» сталкиваешься чуть ли не каждый день и едва ли не везде. А всегда ли он имел право учить? Особенно людей одного с ним призвания? Напрасно отмахивался от упреков товарищей: «Ты, Генка, чуть что не по-твоему, сразу в бутылку лезешь», «С Васильевым лучше не спорь — чужого мнения не признает». Подумаешь, «герой» — не побоялся, видишь ли, пойти против всех!.. А принципиальность ли это? Может, просто самолюбие? То самое, которое, по мнению Веры Федоровны, и есть основа всякой рутины? Но ведь он не рутинер! Не ссориться с людьми, не навязывать свою правду, а идти им навстречу, помогать, советоваться, считаться с чужим мнением — вот его задача. Надо возвращаться. И ради Тамары, и ради самого себя, того Геннадия Васильевича, которому еще предстоит стать учителем — «лучшим из людей».

Геннадий нажимает кнопку «по требованию»...

Если бы знал недовольный водитель, какие требования предъявил к себе молодой пассажир, выходя из теплого, уютного салона в темноту и холод пустынного зимнего поля.

Чемодан оттянул руки, пришлось взвалить его на плечи.

Ущербный месяц катится по небу, плывут облака. Геннадий торопится — не ночевать же среди снегов! До деревни как-никак километров пять-шесть...

Издали замечает: окна плотно занавешаны, лишь в одном — светлая щель. Веселье, судя по всему, в полном разгаре. Ни стены, ни расстояние не могут заглушить пьяные, разухабистые голоса.

Неужели и Тамара среди них? Геннадий снимает с плеч чемодан, ставит его на снег у забора, никто, поди, не стащит: время позднее. Надо сходить и выяснить, не прогониат же его!

Не успев еще сделать по направлению к дому и десяти шагов, молодой человек замечает, как из дверей прямо на мороз выбегает тоненькая светлая фигурка, а вслед за ней другая — большая и темная. Раздается пронзительный крик. Навстречу ему выбегает Тамара. Топоча сапожищами, ее преследует Митюк.

— Тамара! — кричит Геннадий.

Матрос, услышав знакомый голос, выругался и повернул назад.

Девушка вздрагивает и останавливается. Неужели это он?

— Вы не уехали, Геннадий Васильевич?

— Я вернулся и все теперь исправлю. Успокойся, — Геннадий стаскивает шарф, укутывает им Тамарины плечи, на голову надевает свою шапку-ушанку. — Иди домой, замерзнешь.

Чего угодно можно было ожидать от этого ублюдка, но чтобы до такой степени он мог распоясаться... Это же просто уголовник какой-то. Подонки, честное слово, подонки.

— Что он тебе сделал? Ударил, оскорбил?

— Да нет, — и она начинает плакать так безутешно, так горько, что у Гены все внутри переворачивается.

— Меня... меня мать из дома выгнала...

— Пустяки, простит, я попрошу... Беги быстрее, ты в одном платье! Воспаление легких схватишь.

— Пусть, — упрямится девушка.

Пока Геннадий уговаривал Тамару, пока утешал, он и думать забыл о Митюке. А тот уже успел подняться на крыльцо.

— Эй, наставник, — крикнул он, берясь за дверную ручку, — ты меня еще помнишь, я тебе покажу, как чужих девок приманивать.

— Покажи, покажи, а мы посмотрим, — отвечал студент, становясь опять прежним Генкой Васильевым, хоть

и хрупким с виду, а задиристым, готовым к отпору любого насилия... — Ступай, я догоню, чемодан возьму только, — сказал он девушке.

...Наклонившись к забору, чтобы забрать вещи, Геннадий не сразу сообразил, что случилось. Тяжелый удар по затылку свалил его в снег. Подымаясь с земли, он получил второй — в подбородок и третий — в скулу. Его избивали двое: Петька и Митюк. Били без жалости и без скидок на то, что он беспомощно лежит на земле, не в силах сопротивляться. И все-таки ему удалось подняться. Говорят, справедливая злость удваивает силы. Сейчас в его кулаках сосредоточилась вся ненависть к Матросу, вся обида за себя, за Тамару. Литая атлетическая фигура Митюка летит в снег как подкошенная. Но тут опять подскакивает Петька...

Пьяные парни, вдоволь натешившись над беззащитным человеком, оставили Геннадия лежать на улице. Утихла грязная ругань, тело перестало вздрагивать от пинков. Над головой мерцали далекие звезды.

...Как болит грудь! Надо попытаться встать, а то околеченет. Руки замерзли — не разогнуть, и щеки, похоже, отморозил.

Через полчаса Геннадий, прихрамывая, спускается с горки. До чего тяжел чемодан... Куда податься? Ясно, что на квартиру он не пойдет. Значит, надо проситься к девчатам, к Фене и Нине Даниловой — они снимают комнату на двоих.

Девчата не на шутку перепугались, увидев его, избитого, полураздетого, без шарфа и шапки.

— Генка! — воскликнула Феня. — Кто это тебя?

— Завтра, завтра поговорим...

Сердобольные подружки не стали расспрашивать и больше не проронили ни звука: пусть выспится, утром узнают.

Но Тамара так и не послушалась Геннадия. Дойдя до своего дома и несколько минут постояв в нерешительности на крыльце, она вдруг испугалась, что скажет мать, увидев ее в мужской шапке. Когда она вернулась назад, улица была уже пуста.

Ни слова не говоря, Галька демонстративно ушла в спальню, крепко прикрыв за собой дверь.

— Галь, а Галь,— позвала Тамара. У подруги, видно, так накипело на душе, что она не выдержала:

— Моченьки мне с тобой нет, дура,— прошипела из спальни.— Смотри-ка, натравила парней друг на дружку, тихоня. Теперь по деревне сплетня пойдет. Не хочу больше слышать твоего нытья. Ложись на лавку, а завтра чтоб и духу твоего не было.

Когда Тамара проснулась, подруга уже ушла на работу... В домотканом одеяле оказалась небольшая прореха — одна нить была пропущена. Она долго смотрела в нее. Постепенно светлая щель теплела, расширяясь, становилась огромным светящимся куполом, который отъединял, обособливал от всего мира. Школа, мать, Валентин, Галина, события последних месяцев показались такими далекими, ненужными. Хотелось одного: потеряться для себя, для людей. Кто знает, может, там, за светлой полосой, и есть она — настоящая, счастливая, умная, добрая... любимая.

Тамара не заметила, как опять задремала. Во сне ей привиделась светящаяся точка. Точка манила, звала за собой, и, когда девушка протянула ей навстречу сначала правую, потом левую руку, точка пододвинулась как живая. Вдруг над головой склонилось чье-то лицо с темной прядью волос, спадавшей на глаза, горевшие холодным огнем.

Тамара вскрикнула и проснулась — никого. Нет ни щели, ни точки — одеяло, как ни странно, оказалось целехоньким. «Так и с ума можно сойти», — испугалась девушка, озираясь по сторонам. И тут в глаза бросилось: на потолке, как раз над ее головой, находилась доска с большим темным сучком, удивительно похожим на глаз, рядом еще один. Чего они уставились? Что хотят сказать эти нечеловеческие очи? Кажется, можно различить и голоса, деревянные, неживые: «Ты дурная девушка, ты отбилась от дома, ночуешь у чужих людей, не уважаешь старших, до чего довела себя... до того, что чуть не лишилась девичьей чести».

— Не надо, перестаньте,— взмолилась Тамара,— ведь этого не случилось. Геннадий Васильевич вернулся.

«Ты муха, попавшая в паутину,— продолжали «они», — чем больше бьешься, тем больше запутываешься».

Пустое ведро, оставленное в сених, замерзая, издавало нежные, мелодичные звуки. В трубе нудно стонал ветер. «Потолочные глаза» превратились в обыкновенные сучки.

Пришла Галина.

— Ты еще спишь?

— Сейчас встану.

— Да ничего, это я вчера просто так, со зла. Чай пила?

— Не хочу. Не знаешь, баня работает?

— Баня... Так мы только позавчера ходили. Забыла?

— Голова что-то болит, может, после парной пройдет.

— Сходи,— Гальке порядком надоела эта канитель. Сколько ей, бестолковой, ни помогай, как ни выручай — все равно блин комом выходит, хоть второй, хоть третий, хоть десятый. Заговоренная какая-то. Через нее и другим выходит плохо. Вот драка получилась, а скоро мать вернется — сколько продуктов израсходовала! Для кого вечеринки собирала?

— У вас яблоки есть?

Теперь про яблоки спрашивает... Дались ей они.

— Ну, есть,— ответила раздраженно.— Возьми, в сенцах лежат, на полке, только они мороженые. Смотри не протудись!

Мать рассказывала Тамаре, как скончался ее дядя. Однажды после бани наелся мороженных яблок и умер от воспаления легких. При этом воспоминании болезненное, нездоровое возбуждение охватывает девушку. Почему это она вспомнила про яблоки, кто подсказал такой простой выход? Баня, яблоки... Конечно, конечно, только так! И все кончится.

16

За всю свою пятнадцатилетнюю педагогическую практику Вера Федоровна, пожалуй, не припомнит подобного случая. Надо же, как скверно получилось с Тамарой и Геннадием.

Нет, нет, она не поверила ни на минуту в эти грязные, глупые сплетни. Просто у парнишки по всей вероятности, не хватило опыта — наступил на «любимую» учительскую мозоль.

Вера Федоровна помнит каждое слово, которое сказала ему тогда в учительской. Ни одного, кажется, опрометчивого, а между тем... Не секрет, что учителя привыкли думать только об успеваемости, о дисциплине в классе. А как они сами общаются между собой, в учительской?.. Сколько раз приходилось наблюдать: вернется учитель с урока, швырнет на стол журнал и, не стесняясь, «разряжается» — на повышенных тонах выясняет отношения. В любом кол-

лективе это некрасиво, тем более в учительском. Авторитет, непререкаемость — сила педагога, а если она в руках человека вздорного, некритичного к самому себе?.. Разве мало в их среде «ядовитых букашечек-таракашечек»? Их боятся даже самые опытные, такие, как Петр Петрович. Почему он трепещет перед Еленой Сардоновной? Это она, чует сердце, заварила кашу, всех настроила против практиканта. А ведь он, хоть и неопытный, а добился главного — доверия. Голубева доверяет ему одному. Вот и не надо им мешать.

В общем-то Вера Федоровна надеялась легко унять борьбу самолюбий. Ей казалось, что именно в этих амбициях и кроется причина конфликта между всем учительским коллективом, с одной стороны, и этими «горячими головами» — с другой.

Но все оказалось гораздо хуже, чем она предполагала: Тамара пропустила целую неделю, а Геннадия директор вообще решил не допускать к занятиям. Говорят, методист вроде бы все уладил с незадачливым питомцем, но тот вдруг на беду заявился в школу с фингалом под глазом. Приходила квартирная хозяйка, жаловалась: мол, практикант избил ее сына...

Защитить Голубеву тоже не удалось. Все без исключения обвиняют девушку в случившемся: из-за нее подрались парни. Что тут предпринять? Из школы Вера Федоровна вернулась очень расстроенной.

...Смеркалось, вечерний жидкий свет просачивался сквозь занавески. Стук в дверь был такой тихий и робкий, что она не сразу и расслышала.

— Войдите,—пригласила, включая настольную лампу. На пороге стоял Геннадий.

Она не узнала его в первые минуты. Как изменился! Лицо осунулось, постарело, а под глазом, действительно, огромный синяк...

Вера Федоровна сделала вид, что не заметила ни синяка, ни понурого, виноватого вида незадачливого коллеги.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Геннадий Васильевич,—проговорила как можно теплее и непринужденнее.— Раздевайтесь, а я вас поджидала.

— Правда?

В небольшой комнате так спокойно, так уютно, так мирно. Геннадию становится больно и грустно— живут же люди спокойно, достойно... Почему у него самого все летит кувырком, что бы он ни сделал?

— Я пропал, Вера Федоровна! Я его ударил!

— Кого? Митюка, что ли? Так ему и надо!

В серых глазах, кроме теплой усмешки,— сила. «Этой кулаков не пришлось бы в дело пускать»,— подумал молодой человек.

— Давайте по порядку,— деловито предлагает она,— не спешите, успеете выговориться. Только ничего не упускайте. Я буду слушать внимательно.

Вера Федоровна с большой заинтересованностью выслушала Геннадия, ни разу его не прервав.

— Горяч,— подвела итог, когда Геннадий кончил,— как я и думала.

— Я хотел вернуться, чтобы объяснить... Но они... Почему они не понимают простого — я бы вступился за любую девушку, не только за Тамару.

— Вы пытались с кем-нибудь объясниться?

— С кем? С Еленой Сардоновной?

— А почему бы и нет? Настало время дать ей отпор. Думаю, если я сама все расскажу, меня поддержит большинство.

Вера Федоровна достала из ящика письменного стола какой-то конверт, вынула из него листок и протянула Геннадию.

«Девочка очень гордая,— прочел он строчки, подчеркнутые красным карандашом,— незаслуженная обида, грубые слова могут ее ожесточить».

— Догадались—про кого? Про Тамару. А писал это ее прежний классный руководитель. Значит, мы с вами не одиноки. А теперь идите-ка домой да выпитесь хорошенько.

После ухода гостя учительница подошла к телефону и сняла трубку.

...Тамара поспешно одевалась, странное это было одевание: теплую шерстяную кофту она незаметно спрятала в шкаф, пальто надела поверх ситцевого платья, а валенки натянула прямо на босу ногу. Казалось, что и пуховую шаль она повязывает лишь для того, чтобы подружка ничего не заподозрила.

— Все-таки идешь?— поинтересовалась Галья. — Ненормальная... Яблоки нашла?

— Нашла.

— Они же как ледышки.

— Ничего, в бане тепло, отогреются.

Ох и мороз! Зуб на зуб не попадает. У парикмахерской

Тамара останавливается. Минутное замешательство, и она решительно входит в зал. Сейчас здесь пусто, клиентов нет. Мастер — пожилая грузная женщина в несвежем халате подметала пол, собирая в кучу рассыпанные красно-бурые, как телячья шерсть, волосы.

— Укладываться? — спросила грубым, низким голосом и указала на стул перед большим зеркалом. — Садись сюда.

— Стригите наголо, — попросила Тамара.

— Под нулевку?

— Да! Да!

— Чего кричать? — невозмутимо заметила парикмахерша. — Нечего кричать. Наголо так наголо. Мы и так умеем. Кому что нравится. Стричь, что ли? Может, передумаешь?

— Стригите, я же деньги плачу.

— Как знаешь...

Тамара сидела, закрыв глаза. Холодок ножниц прополз по затылку, коснулся ушей и висков.

На пол все текли и текли теплые, живые пряди — последние остатки тех самых кос, которые так нравились Валентину...

На потолке парилки — крупные капли. Срываясь вниз, они обжигают кожу, будто горячие угольки.

Тамара парится с ожесточением, а спустившись с полка, обдаёт себя из таза самой холодной водой. На стриженной голове кожа особенно чувствительна, кажется, натягивают железную каску.

Не вытираясь, прямо на мокрое тело она натягивает одежду: распаренные ступни с трудом влезают в валенки.

На улице она достает из кармана яблоки и ест, с трудом откусывая твердую, пронизанную ледяными иголочками мякоть. Когда съедает второе — десны и небо уже ничего не чувствуют — одеревенели.

Сначала она не особенно замерзла — тепло парилки еще оставалось в теле, но зато потом, когда остыла... Нет, никогда в жизни ей не было еще так холодно, никогда мороз не казался таким жестоким!

Рядом прогрохотал трактор, Тамара посторонилась.

«Надо бы идти другим путем, не по дороге, вдруг мать встретится? Но все равно, теперь уже все равно». После всего, что она над собой проделала, трудно не заболеть.

Но повстречались соседи: хромая Семеновна и ее пасынок. Видно, идут на речку белье полоскать. Сани тащит Володя, а мачеха идет позади.

Молодые люди сделали вид, что не заметили друг друга—как всегда, парень первым опустил глаза. Зато соседка приостановилась и с любопытством уставилась на Тамару:

— Мать позоришь, бесстыдница! От моего небось научилась старших не уважать. Ведь он, сопляк, уже курит! Выхожу вчера в огород...

Не обращая внимания на злобную болтовню, Тамара демонстративно отвернулась и зашагала прочь.

Ветер дует прямо в лицо, гонит из глаз слезы. Валенки, обмерзнув, стали чугунными, не поднять. Еле-еле добрела до поворота.

Галька, выбежавшая из дома в ларек, наткнулась на подругу, испугалась ее болезненного вида и с трудом затащила ее домой.

В избу к Зиновьевым набилось множество народа. Больная смутно различала сквозь гул голосов причитание матери и тоненький, жалобный плач сестренки Лизки. Потом ее подняли, понесли куда-то. И больше ничего она не помнила.

17

Вечерело. Поднялся буран, и на улице стало темно, как глубокой ночью. Кто же отважится выйти в такую ненастную погоду из дома?

Между тем какой-то человек бредет сквозь выюжные сумерки, пытаясь отыскать в снежном тумане заметенную ветром дорогу. Меховой воротник и шапка покрылись наледью, он вспотел, взмок, преодолевая глубокий снег и порывы жестокого ветра, готовые сбить с ног.

Наконец впереди мелькают огоньки. Среди домов идти стало намного легче, и прохожий ускоряет шаг.

А вот и дом, куда он так спешил; с усилием рванул утонувшую в сугробе калитку, взбежал на крыльцо и отряхнул пальто от снега.

В теплой, жарко натопленной избе молча сидят на лавке женщины. На постели не то мальчик, не то девочка: зеленое ватное одеяло обрисовывает худенькое тело. Наголо стриженная голова бессильно лежит на подушке.

Появление этого человека вносит ожесточение в уже и без того напряженную обстановку. Та, что сидит у изголовья и тихонько всхлипывает, перестает плакать. Она

смотрит на вошедшего, не спеша снимающего шапку, сухими ненавидящими глазами.

В ответ на приветствие никто не проронил ни звука. Тогда он решительно шагнул вперед, и все разом загалдели:

— Ишь ты, заявился..

— Да кто тебя звал?

— Бессовестный...

Женщина, сидевшая рядом с постелью, метнулась к печи, схватила в руки кочергу.

— Уходи,— прошипела она, злобно сверкнув глазами.

— Напрасно вы это,— спокойно возразил молодой человек.

В это время больная слабо простонала:

— Мама, не надо...

— Подожди, доченька. А ты... ты убирайся! — Кочерга взмывается над головой, но он ловко перехватывает чужинный прокопченный конец.

— Я никуда не пойду, тетушка Варук, никуда.

Всем становится ясно, что незванный гость ничего не боится и готов терпеть любые упреки и оскорбления.

Хозяйка плачет, гости грустно качают головами.

Проходит полчаса. Геннадий уселся на табуретку и ждет.

Кто-то из женщин не выдерживает:

— Послушай-ка, соседка, он, может, от души...

— От души! Девчонку мою до смерти довели... От души. Разве это школа? Разве это учителя?

— Не стоит обвинять других, когда сами...

— Ты меня еще и ругаешь? В моем собственном доме? Совести у тебя нет! Сам попробуй вырастить троих детей. Тебе-то, конечно, все равно. Чему ее в школе научили? Волосы завивать? По вечеринкам бегать?

— Ни тому, ни другому. Вы сами хорошо знаете! Если бы мне было все равно, разве бы пришел к вам? Кому охота голову под кочергу подставлять?

Последние слова Геннадия заставляют женщин переглянуться: да, Варук, конечно, погорячилась — кидаться на людей с кочергой!

— Я уж давно хотел зайти поговорить, да вы, на беду, уехали. Не нравилось мне, что Тамара дружит с Галиной Зиновьевой...

— Да они с детства — водой не разольешь.

— Детство кончилось, и, надо думать, дороги их разо-

шлись. Разве не заметно? А что вы,—махнул рукой Геннадий,—вообще замечали? Ничего. Хоть бы раз в школу на собрание пришли.

— Некогда мне ходить,—хмуро проговорила Варук, отывая.— Откуда время возьму?

— А теперь откуда берете? Ведь сидите целыми днями с дочкой.

— Теперь другое дело. Сами, что ли, не видите? Болеет сильно. Вдруг не выживет?

— Выживет. Только впредь нам надо держаться вместе. А то один с добром, а другой — с кочергой...

— Паренек-то хороший, Варук. А Галья — девка непутевая! Вся деревня знает. Зачем Тамарку к ней пускала? Не знаешь, Зиновьях дома не живет, по командировкам все. Семья без присмотра. Девкам испортиться — в два счета!

— Чуяло мое сердце, она, Галина, Тамарку с пути сбивает...

— Вот и надо было, первым делом, с учителями посоветоваться, раз с отцом так получилось...

— Да уж так получилось, так получилось,—загоревала Варук,—несчастливая моя судьба. Нету покоя! С мужем маялась — теперь вот дети все нервы поистрепали...

Если бы Геннадию были знакомы эти причитания, то он, может, отнесся к ним так, как отнеслись соседки: заулыбались, зашептались: «Уж эта Варук! Чуть что, она про нервы, дались ей эти нервы!» Но Гена принял все всерьез:

— Понимаю, очень хорошо понимаю — вам тяжело и трудно, но поверьте, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь Тамаре. И давайте дружить. В следующий раз, как зайду, не прогоните? Кочергой...

— Не опасайся,—улыбнулась Варук. Разве можно плохо относиться к человеку, который сразу же понял про ее нервы и при этом не улыбнулся, как все — насмешливо, с издевкой. «Тамара, говорила, уважает его».

В учительской обычная утренняя суэта: кто-то ищет классный журнал, кто-то собирает со стола и прячет в портфель стопку ученических тетрадей, кто-то изучает расписание, кто-то поправляет перед зеркалом прическу. Методист придирчиво проверяет конспекты студентов-практикантов.

Можно подумать, что только одному Геннадию Васильеву нет ни до чего дела: потерянно сидит на стуле, уронив руки. Вид у Геннадия довольно мрачный, но кровоподтек под глазом и ссадины на лице уже начинают желтеть.

Всем, кто сейчас находится в учительской, немного стыдно и неловко, даже сокурсники стараются не глядеть в его сторону. Даже преподаватель методики литературы доцент Эмма Давыдовна, специально приехавшая из города, чтобы ознакомиться с тем, как проходит практика, не спрашивает у Васильева ни плана предстоящего урока, ни предыдущих конспектов, хотя и знает, что первый урок в девятом — литература.

Вера Федоровна еще не пришла. «Как странно,— думает Геннадий,— она его понимает, тетушка Варук, деревенская простая женщина понимает, а эти — нет. Неужели учитель не может активно вмешаться в жизнь? А вот если бы их дочек посмел кто-нибудь обидеть? Я обещал Тамариной матери поддержку, но если они не верят, не хотят даже разговаривать? Выходит, обещал напрасно?»

— Эмма Давыдовна,— решается Геннадий напомнить о себе,— посмотрите мой план урока.

Эмма Давыдовна неохотно поворачивается к нему, словно только что замечает, на лице неудовольствие и растерянность:

— Васильев?.. Боже, что за вид?..

— Подрался,— пожимает Гена плечами.

— Подрался?.. — брови лезут на безоблачный учительский лоб.

— Пустяки, скоро пройдет.

— И вы спокойно об этом говорите!.. И вам не стыдно появляться перед учениками?

— Мои ученики — взрослые люди, поймут.

— Выходит, что мы, учителя, не понимаем? Не подпишу,— энергично заявляет доцент.— Ни за что!

Без ее подписи Гена не может вести урок, значит, его отстраняют... Но все равно он не уйдет отсюда.

Подсаживается рядом староста, Феня: у нее второй урок, а сейчас — «окно».

— Чем сильнее горит скирда, тем глубже лезу в огонь,— говорит она по-чувашски. Это фраза из народной сказки про незадачливого волка.

— Не погорю,— усмехается Геннадий,— потушу пожар, вот увидишь.

— Дай-то бог... А то сильно надымили — не продохнешь...

На большой перемене в учительскую входит директор.

— Что решили, Эмма Давыдовна? Я его и минуты не намерен держать в школе.

— Надо подождать Александра Семеновича, — вдруг робко и виновато отвечает преподаватель. Тон теперь совершенно другой, заискивающий.

— Александр Семенович здесь ни при чем, — рубит сплеча Петр Петрович, — за школу отвечаю я.

— Что же все-таки произошло, почему они подрались?

— Ревность. Ваш Васильев увлек девушку и получил за это сполна. На танцульки, понимаете ли, приглашал, на уроках глазки строил. Одним словом, вел себя как последний ловелас. Сам весь в грязи, а туда же — учить! И директора, и учителей упрекал в бескультурьи, проповедовал свободу чувств и так далее. Обозвал Елену Сардоновну «чудовищем», «садисткой» в присутствии ученицы. Последний факт, конечно, самый вопиющий... Затеял драку с соперником. Вся деревня знает. Нет, увольте от такого «практиканта». Опозорить светлое имя «учитель»!

Слушая гневную речь, Геннадий удивлялся: сплошная ложь, но как убедительно, с каким чувством директор произносит ее! Неужели он сам в нее верит? Не может быть такого, неглупый ведь человек, опытный педагог...

После последнего выкрика: «Пора одуматься!» — студент Васильев, всем на удивление, спокойно подымается и неторопливой походкой выходит из учительской. Почему-то его поступок, в котором нет никакого вызова, рождает настоящую бурю: все кричат, возмущаются:

— Ну это уж слишком...

— Каков гусь!

— Чего с ним церемониться, Петр Петрович? Без разговоров гнать в шею!

— Тихо, товарищи, — успокаивает разбушевавшихся учителей директор, — занимайтесь своими делами, а к Васильеву будут приняты меры. Смею надеяться, решим единодушно. Завтра педсовет.

...Гена не может объяснить толком, почему упреки, оскорбления, клевета, которую он только что слышал в свой адрес, прошли как бы мимо сознания. Очевидно, потому, что в них не было ни единого слова правды — все факты и поступки были вывернуты наизнанку, чудовищно искажены. Значит, есть надежда все поставить на свои места, и

тогда он будет оправдан. Вот почему Геннадий так хладнокровно, не объясняя ничего, дал уговорить себя встретившемуся на школьной лестнице Александру Семеновичу вернуться в учительскую. Там оставались лишь студенты, директор и учителя уже разошлись по классам.

...Прежде чем дошла очередь до Васильева, методист долго распекал Зину Коршунову:

— Если некоторые из вас на уроках слишком волнуются, то у Коршуновой, наоборот, наблюдается олимпийское спокойствие. И жесты, и голос — словно уже тридцать лет учительствует. Упивается собой. И дела нет, что ребятам скучно, неинтересно, что они посмеиваются над ее напускной важностью. Ну, выяснила, Зина, как тебя прозвали? Обижается. Учти, если хочешь быть настоящим учителем, приготовься выслушать на свой счет много неприятного. Вон сидит Гена Васильев, наш уважаемый собрат: синяк под глазом, цвет лица — краше в гроб кладут, рубашка измята, не первой свежести. Похож он на преподавателя? Правильно, не похож. Кому не случалось попадать в скверную историю? Любой из парней, как говорится, не застрахован от драки. У обывателей есть на этот счет оправдание: «Дело молодое». По-человечески Гену можно понять — вступился за девушку, это даже благородно. Но с другой стороны, факт выглядит так: будущий учитель решает конфликт с местным Дон-Жуаном при помощи кулаков. Скандал, безобразие. Скажете, стечение обстоятельств? Что ему было делать? А надо было не забывать, что он учитель, а раз так, то и средства должны быть иными.

Александр Семенович говорит просто, без патетики.

— Того Митюка ты зачем дразнил? Зачем дергал за хвост, как рассерженного гусака? Такие вопросы на танцах не решаются. А теперь он позорит твое имя, имя славной девчушки. Дурные слухи и с камня лыко сдирают. Ей в своем краю, кто знает, может, всю жизнь жить! А молва, слава худая, как деготь — не отмыть. Подумал ли ты, защитник, об этом? Теперь выкладывай, с кем совет держал насчет Голубевой?

— Вера Федоровна знает.

— Одна? Выходит, остальные — глупцы, тупицы, недоумки?

— Зачем вы так, Александр Семенович?

— И он критики, как и Коршунова, не выдерживает. Эх, вы...

— Генка меня «междометием» обозвал, — обиженно поджала губы Зина, — и вообще, много на себя берет...

— Сколько взял, столько и поднимет, — вдруг заступился за Геннадия Александр Семенович. — Девочка-то как? Выздоровливает?

— С трудом. Вчера навещал.

Как он благодарен этому мудрому, доброму человеку: из ничего не делает трагедии, на все-то он знает ответ... Вот кому надо было рассказать о своих затруднениях и заблуждениях! Только после незлобной отповеди Геннадий наконец понял, в чем виноват.

— Отчаянная головушка, эта Тамара Голубева. Первый раз слышу о таком курьезном способе самоубийства при помощи мороженных яблок. Не оставляйте ее, друзья, навещайте почаще. Ты, Васильев, в первую очередь. Это же твоя подопечная, ты на нее, кажется, и характеристику собирался писать? Ну как? Получается?

— А меня... из школы не попросят?

— Это зависит оттого, как будешь вести себя на педсовете. Попробуй доказать свою правоту.

— Да мне и слова небось сказать не дадут...

— А ты скажи, скажи. Попробуй. Не думай, что все «по углам, по щелям разбежались...». Просто у каждого дел по горло, текучка заела, некогда чужими проблемами заниматься, но ведь все мы, в конце концов, заняты одним общим делом.

Вера Федоровна подготовила защиту по всем правилам: поговорила с Варук-инге, с Тамариными одноклассниками, зашла к Галине, в клуб к Петьке-киномеханику, побывала и у «пострадавшего». Выходило, что не Васильев затеял драку. Кроме того, Голубева, попав под дурное влияние легкомысленной подружки и не найдя дома поддержки и понимания, наделала массу глупостей, от которых в первую очередь пострадала сама. Выяснилось, что Елена Сардоновна грубо обращалась с девочкой и даже порвала на ней школьную форму.

Все это Вера Федоровна и высказала учителям на педсовете.

Теперь картина происшествия приобрела истинные, правдивые черты. В каком же невыгодном свете предстала перед всеми Елена Сардоновна!

Петр Петрович был смущен и сердито поглядывал на нее: подвела-таки! А клялась, божилась, что ее сведения «самые, самые, достоверные, чистая правда».

— Стыд-то какой. Броситься на ученицу,— возмущались педагоги.

— Мне тоже дочка жаловалась, что, мол, «немка» кого невзлюбит, тот берегись...

— Она и в учительской всем грубит...

Сардоновне пришлось несладко, но раскаивалась она вполне искренне. Учителям оставалось только прятать глаза от смущения при виде взрослой женщины, расплакавшейся, как школьница.

Преподавателю немецкого и чувашского языков было «поставлено на вид». Она была предупреждена, что если подобное повторится, то ей придется уйти из школы. Наказали, безусловно, нестрого, приняв во внимание многолетний стаж работы.

Геннадий теперь выглядел чуть ли не героем дня. Директору же пришлось выслушать немало справедливых упреков, и он, как опытный администратор, многое «принял к сведению», со многим был «согласен полностью и отчасти».

19

Посредине комнаты, возле Тамариной кровати, топится железная печка. Ее бока раскалены докрасна, словно огненная собачонка бьется и рычит яркое пламя.

Тамара лежит неподвижно. В зеркале, обрамленном нарядным полотенцем, мелькает то голова, то плечо: мать раскатывает на кухонном столе тесто для курника.

Вот уже полторы недели Тамара не встает. Болезнь стала отступать. Уже несколько дней, как ей полегчало — прекратились головные боли, вернулось сознание. На ночь Варук укладывала больную на печь, согревала грудь горячей буханкой свежее испеченного хлеба, поила настоями из трав. Но все равно дочка еще очень слаба: нет-нет и зазнобит, да и кашель не прекращается.

Когда Тамара закрывает глаза, в забытьи она часто видит странный реденький голубой свет: в нем покой и тишина. Однажды эта тишина «заговорила»:

— Ты добила́сь успеха, девочка.

— Я же болею, не видишь? — ответила неслышно, одними губами.

— Поправишься. Дело только во времени. Главное — ты родилась заново.

— Теперь я другая?

— Да.

— Какая же?

— Богатая. Ты многое приобрела: честность, смелость, мужество, опыт. За все расплатилась и даже за поцелуй, отданный без любви, чуть не умерла. Но нужно еще...

— Что же?

— Научиться терпению. Оглянись, посмотри вокруг. Все терпит. Земля, скованная морозом, цветок, который треплет ветер и сечет ливень, животные, когда их загоняют в хлев, отрывая от благодати зеленой травы. Много приходится перетерпеть и человеку. Пришла твоя пора столкнуться с этим. Ты получила хороший урок, на всю жизнь. Он поможет тебе в будущем.

«Приснилось,— догадалась больная, очнувшись.— Но почему вдруг стало легко — нигде ничего не болит и есть хочется?»

Тамара провела ладонью по голове, ощутив низенькую щетинку отрастающих волос.

Мать, заметив этот жест, обрадовалась:

— Уже маленько отросли? Поди, до весны опять станешь кудрявой, как в детстве. Кушать хочешь?

— Хочу.

— Сейчас, сейчас,— засуетилась Варук, ставя перед кроватью на табуретку миску с куском горячего пирога.— Ешь. Коли живая осталась, надо быть здоровой и сильной. Зачем больному жить. Я вот тоже хочу про нервы свои забыть, ну их... Чем больше про болезни думаешь, тем они сильнее одолевают. Мишка,— позвала мать сына,— и тебе на-кось! Ишь пузо неласковое, все мало! Да и то правда — растет парнишка...

Тамара, прислушиваясь к добродушной материнской воркотне, блаженно щурится — как хорошо, что все плохое осталось позади! Нет больше вражды ни в семье, ни в школе. То и дело забегают девчонки. Рая приходит чуть ли не каждый день, рассказывает новости: «Сардоньна — шелковая, не пикнет. Говорят, здорово ее на педсовете пропесочили. Валентин спрашивал, можно ли ему зайти».

Тамара разрешила. Сейчас ее сердце похоже на новый дом — в нем ни соринки, ни пылинки из прошлого. Чисто, светло, просторно. Добро пожаловать всем! Только одному человеку нет здесь места — Митюку.

Убрав посуду, Варук присаживается на кровать.

— Ты, дочка, не серчай на меня. Не буду больше ругать. Веришь?

В ответ больная только ласково погладила увядшую кожу на материнской руке, прижалась к ней щекой. Конечно, мать может опять сорваться, накричать, обидеть, но Тамара знает: обижаться она не станет—все стало иным.

Во дворе скрипнула калитка—это, видно, Рая. Так и есть. При виде юной гостьи тетушка Варук заспешила:

— Пойду медку принесу. Угостишься, Раечка, да и Тамаре полезно.

Сегодня подружка какая-то странная—не веселая, не подвижная, как обычно, и голова, укутанная в платок, круглая, словно шар.

— Ты не заболела ли? — спрашивает Тамара.— Что скучная?

— Так...

— Постой-ка... Волос не видно. Неужто и ты?

— А что? Теперь мы обе стриженные.

— А не боишься? Некрасивых ведь не любят!

— Дураков на свете много! Вот Иван-царевич даже свою лягушонку любил и не скрывал этого. Мы сейчас с тобой «лягушки», пусть нас «царевичи» ищут. Не найдут—плакать не станем. Погодим, пока умные на свет народятся. Или глупые поумнеют.

— Ну зачем ты так, зачем? — Чуть не плача, обнимает Тамара верного друга—Раюшу, недавно обретенного, но готового для нее даже на такое. Ведь чует сердце: Рая остриглась, чтобы Тамаре не так стыдно было в школе показаться.

— Теперь вместе сидеть будем, за одной партой. Если смеяться начнут, что стриженные, вдвоем легче отбиться.

— Я-то отбиваться не стану — пусть смеются, не обидно. Только ты, по-моему, зря это затеяла. Геннадий Васильевич знает?

— Он все знает. Он такой.

— Ну, и что он сказал?

Но продолжить разговор помешала Варук, вернувшаяся с медом.

— Чай не остыл? —спросила она.

— Только что вскипел,—откликнулась Рая.

Тетушка Варук сняла с железной печки чайник, опус-

тила в кипяток большую деревянную ложку, зачерпнула ею густой, ароматный мед. В избе сразу запахло летом, солнцем, цветочной пылью...

Первый раз за время болезни Тамара сидела за столом, пила чай из блюдца!

После Раиного ухода почтальон принес письмо от дяди из Куйбышева, майора в отставке. Теперь он работал в военкомате. В семье его любили и уважали. Дядя частенько навещался к вдове брата, помогал чем мог. Письмо было адресовано Тамаре.

«Дорогая племянница,— писал дядя,— нам с женой без детей скучновато, а твоей матери с вами тремя — тужовато, вот мы и решили — приезжай жить к нам! Будешь учиться или работать — как пожелаешь, твое дело. Но по-моему, лучше сразу получить высшее образование. Если надумаешь, приезжай. Будешь нам любимой дочкой».

Прочитав письмо, Тамара расплакалась — на этот раз от радости: весь мир вдруг стал поворачиваться к ней своей доброй, счастливой стороной.

— Ты чего? — встревожилась мать.

— Да не волнуйся, это я так... Зовет к ним жить... В Куйбышев...

— Раз зовет, поезжай. — Тетушка Варук была несколько задета той бурной радостью, которую вызвало предложение шурина. — Поезжай, если дома не живетя.

— Не обижайся, мамочка, дома мне тоже хорошо, очень хорошо, но пойми...

— Понимаю, как не понять. И из гнезда птенцы разлетаются...

Все утро Тамара в хлопотах: стирает, утюжит свои незатейливые наряды. Мать засушила мяса, собрала в дорогу немного денег. Оставалось одно маленькое дельце — пришить к пальто пуговицу. Роясь в поисках подходящей крепкой нитки, девушка нечаянно натолкнулась на старенький, истрепанный блокнотик, оставленный соседкой, Вовкиной мачехой. За последними суматошными месяцами Тамара так и не удосужилась вернуть дневник владельцу. Сейчас, рассматривая его, она вдруг заметила на обороте какие-то стихи. Стала читать. Какие хорошие, душевные. Интересно, сам ли он их сочинил? Да никак про нее?..

Точно. Про мост, про непогоду, про то, как она стояла, чего-то ждала, а он прошел мимо.

В задумчивости Тамара смотрит в окно. Какая-то девушка спешит по улице, затем сворачивает к их дому — да это же Райка! Чего она так торопится, как на пожар?..

— Одевайся,— запыхавшись, говорит подруга,— пойдем.

— Куда?

— В школу.

— Зачем? Я ведь уже и документы забрала. Не знаешь? В Куйбышев уезжаю, к дяде.

— В Куйбышев? Что ты там забыла?

— Буду у них жить.

— А учеба?

— И учиться там буду.

— В техникуме?

— Да нет, наверно, в десятом, а там... Сама возьми почитай.

— Некогда, айда, дорогой доскажешь. Сегодня... Эх, так и быть... Хотели ничего тебе не говорить, но не могу стерпеть. Вере Федоровне присвоили звание заслуженной учительницы! Будем поздравлять.

— Но,— мнется Тамара,— мне как-то... я ведь...

— Не стыдно?—возмущается Рая.—Разве ты ее не любила? Сколько она для тебя сделала.

— Любила и люблю, успокойся.

— Тогда живо!

Дорогой разговаривать не пришлось — девчонки торопились успеть к началу торжества.

Вот и школа. Взявшись за руки, они бегут на второй этаж. В коридоре — густая толпа: школьники, преподаватели, студенты и много незнакомых гостей, приехавших из Куйбышева.

Собрание вот-вот начнется. В зале тоже много народа. Рая тянет подругу в первые ряды.

Тамара видит сидящего в президиуме директора, методиста Александра Семеновича, их прежнего классного руководителя старенького Мирона Мироновича. И Веру Федоровну, такую красивую, нарядную, счастливую.

На трибуну выходит один из гостей, представитель облоно. Он говорит о замечательном педагоге, Вере Федоровне Можевой, много теплых и добрых слов, а потом вручает ей грамоту и значок. Зал дружно аплодирует.

Вера Федоровна держится просто, как всегда,—ничего в ее поведении не изменил этот торжественный час.

Когда награжденная начинает ответную речь, то все, кого она учила, думают, будто учительница объясняет новый урок. Для многих это, действительно, ново. Тамара вздрагивает: Вера Федоровна тоже говорит о терпении.

— Не ставьте знак равенства между терпением и пассивностью. «Терпеливый» вовсе не означает жалкого, смиренного, приниженного человека, готового подчиниться каждому, кто посильней. Терпение—это мужество, сила, твердость и честность. Вспомните, сколько терпения приходится приложить к решению трудной задачи, а какую радость вы испытываете, если при этом добиваетесь правильного ответа?.. Почему? Да потому, что награда высока: вы начинаете уважать себя.

И мне с вами бывает, порой трудно, очень трудно. Вы все такие разные! Руки, признаюсь, иной раз опускаются. Но не отступаешь, призываешь терпение, и только оно одно помогает. «Заслуженная учительница» — это моя «пятерка». Я сегодня счастлива.

Ей так хлопают, что, кажется, разобьют ладошки до крови. Но Вера Федоровна не собирается уходить с трибуны, она еще что-то хочет сказать.

— В зале среди вас сидит один человек,—учительница смотрит на Тамару,—ему тоже много пришлось вытерпеть. Время покажет, пошло ли впрок то трудное жизненное испытание, которое он получил.

Тамара чувствует, что все смотрят на нее, она опускает голову, но все-таки замечает два особенно пристальных взгляда: Валентина и Вовки! В Валькиных глазах — уважение и признание, а Володя... Он смущенно и робко глядит на девушку и краснеет. Тамара теперь до конца уверена, что стихи написаны про нее.

После торжественной части начинается концерт школьной самодеятельности.

...Рая убежала за кулисы, и место освободилось. На него неожиданно села Вера Федоровна.

— Ты, говорят, уезжаешь? — спросила она шепотом.

— Да. В Куйбышев. Дядя письмо прислал, зовет.

— Так. Значит, ты ничего не поняла из того, что я только что говорила?

— Поняла. Спасибо вам. Только...

— «Только» еще начинается, а ты — в кусты. Испугалась?

— Я не боюсь, честное слово, не боюсь!

— Школа опротивела?

— Не знаю...

Разговор прервался — хор грянул так громко, что у Тамары, сидящей слишком близко от сцены, уши заложило. Но девочки пели на этот раз особенно слаженно и стройно, она даже позавидовала им.

Учительница искоса наблюдала за девочкой: нет, Тамара любит школу, привыкла, и, кто знает, не изменит ли она еще своего решения.

А Тамара, аплодируя подругам, жалела, что не стоит сейчас с ними в одном ряду.

«Вера Федоровна, как всегда, права: не стоило бы, конечно, уезжать, но ведь уже и телеграмму послала, и вещи собрала. Ладно, подожду до завтра, а там видно будет».

21

Больше недели стояли трескучие морозы — около сорока, а потом вдруг потеплело.

На школьной спортплощадке впервые за зиму проводился урок физкультуры. Девятый в полном составе, даже Тамара Голубева здесь. Физрук еще не допускает ее к занятиям, но она пришла в школу к началу уроков, а первый — физкультура.

Хорошо бы побегать, попрыгать вместе со всеми, но Тамара не может, еще не окрепла как следует: при малейшем напряжении — одышка, слабость.

После урока девочки столпились возле первой парты. Раньше за ней сидели Рая и Валентин, теперь вместо него — Голубева. Савельев же перебрался на «камчатку».

К великому удивлению, никто из класса не смеется над подружками, и им не приходится «отбиваться». Поняли, что ли? Рая чувствует себя вполне уверенно и по-прежнему в центре внимания, ее опять слушают.

— Ребята, тише, — говорит она, — есть новость: завтра у студентов кончается практика, устроим им проводы.

— Устроим! — кричат все хором. — Классного качнем так, что на всю жизнь запомнит!

— Качать не стоит, — решает комсорг, — надо что-нибудь придумать поинтереснее.

Улыбающийся классный отворяет дверь.

— Здра-вст-вуй-те! — скандирует класс, нарушая школьное правило приветствовать учителя молча, вставая из-за парт.

— Не знаете порядка? — мягко журит Геннадий.

В ответ — дружный смех.

— Вы завтра уезжаете? — спрашивает кто-то из ребят.

— Представьте себе, — разводит руками Геннадий Васильевич, — время быстро пролетело.

— А после института вернетесь?

— От вас зависит. Если успешно закончите год, буду проситься обратно, а если нет... Сами посудите, к чему мучиться с бездельниками?

— Мы постараемся!

— Настроение, вижу, хорошее. А хотите, чтобы стало отличным?

— Хотим, хотим!

— Теперь ваш классный руководитель Вера Федоровна.

...Вера Федоровна появляется в девятом вместе с директором. Петр Петрович придирчиво осматривает классную доску, парты и потолок. Он любит чистоту и не дай бог заметит где-нибудь паутину или мусор!

— Голубева? — восклицает удивленно при виде Тамары. — Ты ведь уже, кажется, забрала документы?

— Вот они, — Тамара протягивает конверт. В нем вложены бумаги. — Никуда я не поеду, раздумала.

— Правильно, — одобряет директор, — мы тебя с первого класса ведем. В новом-то коллективе еще неизвестно, как приживешься. Перед аттестатом не стоит рисковать. Ну, а в общем как дела? Не обижают?

Тамара отрицательно качает головой и заливается краской. Ей стыдно. Еще недавно она чувствовала себя чужой, отверженной. И Петр Петрович был самым страшным человеком — вредным, придирчивым, несправедливым. А нынче... И совсем не злое у него лицо, скорее, наоборот, доброе, немного усталое. Какая она дура — хотела бросить школу! Ребята-то здесь при чем? Они — свои, близкие, родные. Даже Валька Савельев... Они помирились с ним без слов, без объяснений. Да и не виноват он перед ней. Как хорошо — не надо дуться, не нужно злиться. Да что вспоминать? Прошло.

...Студенты собрались на автобусной остановке. Некоторые уже успели замерзнуть: топают ногами, толкают то-

варищей в бок, чтобы разогреться. Один Гена Васильев что-то загрустил.

«Вот и кончились два месяца,—думал он с сожалением.—Пролетели как один день. Удастся ли распределиться сюда? Если ему разрешат, вернется—не посмотрит, что деревня. Какая разница? Вон Александр Семенович даже рекомендует: «Хоть юнгой, но в плаванье». В этой школе, чувствуется, целый океан самостоятельной работы. Здесь остаются люди, которых я успел узнать и полюбить. Никогда не забыть ни Тамары Голубевой, ни Веры Федоровны».

Стали садиться в машину.

— Васильев! — окликнула Геннадия Феня. — Ты чего? Давай, давай не задерживай!

В это время перед автобусом появляются ребята.

— Геннадий Васильевич,— слышится со всех сторон,— счастливой дороги! Приезжайте на следующий год! Ни пуха ни пера, желаем защитить диплом на «отлично»...

В толпе смущенная Тамара что-то прячет за спину, ее подталкивает комсорг Рая Романова.

— Это вам от нас,— Тамара держит в руках букетик красной герани.

— Спасибо, девочки.— Он очень растроган и тем, что они всем классом пришли проститься с ним. Ни Зинку Коршунову, ни даже спокойную, доброжелательную Феню никто из учеников не провожал с цветами! — Я вас всех очень люблю!

— Не обманывайте, Тamarку больше нас! — смеется Рая.

— Ничего-то от вас не скроешь,— краснеет уличенный бывший классный.— Ну, люблю. Как младшую сестренку. Смотри, больше не ешь мороженных яблок! Обещаешь?

— Она не будет, зима-то скоро кончается,— говорит за Тамару подружка и крепко обнимает за плечи.— Теперь она под надзором, никуда от нас не денется. Не волнуйтесь, до вашего приезда будет в целости и сохранности!

Дорогой Геннадий все думал и думал о трудных, забываемых днях преддипломной практики и, в конце концов решил, что они круто изменили его планы, да и сам он за это время стал совершенно другим.

ЭПИЛОГ

Косить сено на дальних лугах в шестнадцати километрах от деревни решили послать старшеклассников. С ними отправились и трое взрослых: Вовкин отец, Мирон Титович Вирцов, колхозный экономист, известный всем как человек спокойный, выдержанный и ответственный, учитель Семен Павлович и... Геннадий Васильевич. Геннадий — за старшего.

Володя, похожий на отца не только внешними чертами, но и выражением кротких, мечтательных глаз, разделяет настроение старшего Вирцова, добровольно вызвавшегося на сенокос, — отцу и сыну хочется пообщаться без обычных придирок сварливой Семеновны.

Свесив ноги с подводы, юноша сидит, касаясь лопатками теплого отцовского плеча...

Солнце еще только-только выглядывает из-за горизонта. Небо чистое, ясное, день, видать, будет жарким. На траве — красно-фиолетовые искорки росы, дорожная пыль слегка примята. Росистый верхний слой пыли пристает к колесам, и на дороге появляются светлые сухие следы.

Все кругом еще в тихой дреме. По левую сторону — туманная пойма, пруд, река, водяная мельница. Пастухи только что пригнали стадо. Сонно мычат коровы, блеют овцы.

Тамара и Рая едут вместе с Геннадием Васильевичем и стариком учителем.

Геннадий окончил институт с отличием и получил вольное распределение. Мать уговаривала съездить на юг, отдохнуть, но он не послушался. До нового учебного года оставалось почти все лето, и Геннадий решил провести его в деревне, там, где он собирался жить и работать.

Вот уже неделя, как молодой учитель пребывает в постоянном радостном возбуждении — девятый (правда, он уже не девятый, а почти десятый) буквально ходит по пятам за обожаемым Геннадием Васильевичем. Все закончили школу вполне прилично, как и обещали.

Тамара до сих пор не может поверить, что Геннадий вернулся, то и дело поглядывает на него.

От самой деревни, расположенной в долине, дорога плавно поднимается вверх. Лошади, два последних дня не знавшие хомутов, вдоволь нагулявшие на выпасе, никак не могли войти в привычный рабочий ритм: то и дело останавливались или вдруг срывались в галоп...

Конюх Настя, сложив вдвое вожжи, хлестала коней по лоснящимся сытым бокам.

Ребята на задней подводе затянули песню.

Володя, оборачиваясь, видел Тамарины ноги в коротких зеленых носочках.

При подъеме все спрыгнули с подвод и двинулись пешком. Идти по лесной дороге было не менее приятно, чем ехать на телеге. Разлапистые верхушки сосен, смыкаясь в высоту, образовывали тенистый шатер.

Колеса тарахтели по корням лесных исполинов, под конскими копытами разлетались брызги от луж, не успевших просохнуть после вчерашнего дождя.

Утреннее тепло разбудило комаров и слепней. Тучами они кружились над подводами, густо облепляя потные бока коней. Тамара и Рая, вооружившись длинными прямыми орешинами, отгоняли их от животных.

Лес кончился, начался подлесок — молодая поросль ясени, березы, ольхи, а за ним — луга, сенокос.

Место для косьбы было выбрано удачно. Распрягли лошадей, отпустили пастись. Настя с девочками сложили сбрую на одну подводу, аккуратно связали вожжи.

Геннадий Васильевич помогал парням сгружать вещи. Потом принялись сооружать шалаш.

Вирцов, Семен Павлович и Володя обошли весь участок, решая, кому где косить.

— Сегодня уж и косы в руки не стоит брать, поздно приехали. Давайте лучше лагерь оборудуем, — предложил экономист.

— Шалаш — для девочек, мы можем и на воле. Зачем деревья губить? — сказал Семен Павлович.

К вечеру, откуда ни возмись, опять налетела мошкара — не успевали отгонять ее дымом костерка из сырых сосновых веток, травы и зеленой свежей листвы.

— Прежде, — заметил старый учитель, — до петрова дня сено не косили.

— Да, — согласился Вирцов, — народ нынешний тороплив и в приметы не верит — умен стал.

— Не всяк и нынче умен. Вот ты, к примеру, Титович, почему вместо головы шеей стал?

— Вы о чем, Семен Павлович?

— Да о твоей жене. Не нравится мне, как она к Володе относится. Почему ты ей разрешаешь командовать?

— Характер у нее такой, не переделаешь — зародилась сварливой.

— А ты попробуй.

— Стар я для педагогики. К тому же жаль бабу: не дал ей бог детей, вот и злится.

— Пускай бы злилась, да на парне злость не срывала.

— Люди часто винят посторонних в своих неудачах. Знал я одного певца — не вышло у него чего-то с пением, так он, сердечный, так возненавидел артистов, что даже радио перестал слушать...

— «Не знай правда, не знай нет... На его свадьбе не бывал, его песен не слышал», — откликнулся Семен Павлович старинной чувашской присказкой. — А что думает об этом наша молодая смена?

— Думаю, — ответил на вопрос старого учителя Геннадий, — вы правы. Володя очень и очень способен. Его сочинения по литературе я видел. Выйдет из мальчика толк, да еще им гордиться будете, Мирон Титович!

— Спасибо вам на добром слове, а сына, поверьте, больше в обиду не дам.

— О чем и речь вели, — удовлетворенно заметил Семен Павлович. — Дерзай, чадо...

Утром, еще до восхода солнца, отец разбудил сына и потащил умываться к студеному роднику. Там и столкнулись Вирцовы с Тамарой. Завидев девушку еще издалека, Володя опрометью бросился в кусты.

— Ты чего? — удивился Мирон Титович.

— Да я же в одних трусах! — прошипел из укрытия Володя.

Тамара, поздоровавшись с Вирцовым, присела на корточки у ручья. Нельзя было не залюбоваться ею. Юная, гибкая, с порозовевшими от студеной воды щеками, она подняла голову, взглянув на небо широко открытыми глазами, поправила короткие завитки волос, на которые попали родниковые брызги, и они сами собой улеглись в красивую прическу.

Спрятавшись в густых зарослях, младший Вирцов не спускал с Тамары восхищенного взгляда. Он не мог и не хотел унять острое волнение, освободиться от сладкой и щемящей боли в сердце при виде этой девушки...

...Хаш-тык, хаш-тык, — поет коса, пробивая себе дорогу в густой тесноте высоких трав. Падают стебли овсяницы, водяного омежника, кукушкиного цвета, срезанные под корень. Потревоженные кузнечики ошалело подскакивают чуть ли не на полметра.

Там, где участок врезаются в островок молодого леса, много земляники.

Володя, не удержавшись, наклоняется, чтобы собрать хоть горсточку лакомой ягоды.

— Ай да работничек,— догоняя парня, смеется Геннадий.— Давай наперегонки?

Володя улыбается: если бы не земляника, учитель ни за что бы его не обошел. Геннадий Васильевич и косы-то не умеет держать толком — лезвие то и дело втыкается в землю. Но зато как приятно смотреть на это приветливое лицо! Он ведь тогда здорово помог Тамаре. Добрый, умный, отзывчивый. Сейчас все кажутся Володе такими, а сегодняшний день, пожалуй, самый счастливый — пусть бы длился и длился он целую жизнь...

К полудню становится жарко. Косари спешат к ручью освежиться. По пути Володя прихватывает пустой котелок — для отца. Возвратившись, он сталкивается с Тамарой.

— Ой, дай напиться, умираю,— просит она и пьет прямо из котелка, прикинув губами к закопченным краям.

— Послушай, ты случайно не знаешь, как стихи пишут?

Вопрос ставит его в тупик.

— Не знаю, у поэта спроси.

— Вот я и спрашиваю,— лукаво улыбается девушка.

— Адресом ошиблась.

— Правду говоришь? А это чьи стихи?

Зима началась. Снегопад и пороша.
И ветреным был тот коротенький день.
Я мимо прошел, как случайный прохожий:
Не сразу узнал твою грустную тень.

Со снегом играла студеная вьюга.
В сугробы сметала, несла в темноту.
Наверно, ждала ты любимого друга,
А он не пришел — ты одна на мосту.

Я струсил тогда, я себя приневолил,
Хоть сердце рванулось навстречу судьбе.
Окликнуть тебя я себе не позволил —
Тогда и не знал я, в какой ты беде.

Тебя защищу от любой непогоды
И руки согрею дыханьем своим.
Пусть канут в прошедшее трудные годы,
Все стало иным, слышишь, стало иным.

— Не знаю...

— Отказываешься? Хорошо, но учти, что они мне нравятся.

...После полудня, когда солнце стало клониться к западу, неожиданно поднялся ветер. Небо обложили тучи, тревожно зашумел лес, и начался ливень.

Косари бросились врассыпную.

Под разлапистую ель, куда спрятался от дождя Володя, прибежала и Тамара.

— Гляди-ка, льет. Ой, град пошел!

С неба сыпались белые горошины, ударялись о землю и подпрыгивали, разлетались в разные стороны.

— Как живые, — засмеялась девушка. — А хочешь, заговорю их? Мама говорит, что тот, кто родился в мае, может остановить град, если съест хоть одну градину.

Тамара выбежала из укрытия, присела на корточки и стала собирать ледяные крупинки в ладошку.

— Тогда и меня угости, я ведь тоже майский! — крикнул Володя.

Они стояли под деревом и ели град. Дождь скоро перестал. Небо очистилось, вновь засветило жаркое солнце, но они не спешили покидать уютное, сухое местечко.

— Ты слышал, — спросила девушка, — из-за чего я заболела?

— Ты не виновата. Не виновата ни в чем.

— Мне надо тебе одну вещь сказать. Вернее спросить: почему я встречала тебя, когда мне было особенно трудно? И только ты почему-то всегда проходил мимо...

— Дурак я был! Думал, мачеха тебе про меня с три короба наврала.

— Кто верит ее пустым словам?

— Значит, ты меня не...

— Значит, «не»...

Больше в тот день они не сказали друг другу ни слова.

...Тихий утренний воздух напоен запахами трав и цветов. Как в том далеком сне, когда она видела себя, летящей рядом с бабочками.

— Я все еще некрасивая? — спрашивает девушка у своей подружки.

Рая сидит в траве и старательно вьет венок: синие колокольчики, малиновая смолка, белая ромашка — целая охапка цветов лежит на ее коленях.

— Ты? — поднимает она голову. — На-ка, примерь, для тебя старалась. — И Рая надевает свой нарядный венок на

Тамарину кудрявую голову.— Красота! Настоящая царевна.

— Лягушка?

Обе подружки заливаются смехом, вспоминая свой давний разговор.

— Царевич, что ли, нашелся? Признавайся!

— Признаюсь,— Тамара ложится на спину, закидывает за голову голые загоревшие локти и смотрит в небо.

Мир прекрасен!

ДЕВУШКА С БЕРЕГОВ СОРМЫ

1

Речка Сорма маленькая, и питают ее мелкие воды бесчисленных ручейков, родников, ключей, спрятанных в тенистых, потаенных зарослях зеленых лощин.

Населены здешние места густо. Пробегая по долинам мимо невысоких холмов, нить Сормы, словно бусинки, нанизывает на свои берега деревеньку за деревенькой.

Издавна полюбились людям эти веселые места. Сколько тут чистой воды! Как свеж воздух, настоящий на медвяном запахе густой травы прибрежных лугов, земляничных и клубничных полян...

«Сорминское» — обязательная приставка, своего рода почетный титул, который добавляет к своему названию каждая деревня или село, словно гордясь принадлежностью к такой славной речке, отсюда: Юськасы-Сорминское, Вурманкасы-Сорминское.

Деревня Сурмбуть, по-русски означает Сорминская, пожалуй, красивее всех — не скупясь, одарила ее река всеми своими красотами.

Некогда в центре деревни по обеим сторонам оврага были раскинуты фруктовые сады, а на лугах зеленели кусты густого ольшаника. Сейчас, правда, садов поубавилось, но Сурмбуть не утратила своей привлекательности. Хотя и маленькая она деревенька, всего двадцать шесть дворов, но девушки соседних округ охотно выходили замуж за сурмбутьских парней, и был здесь свой интересный резон: оказывается, невесты, кроме доброго и красивого мужа, мечтали получить в приданое здешнюю природу.

Неудивительно, что рождались здесь тонкие и поэтические натуры. Они, наверное, и дали начало сурмбутьскому типу, отличающемуся добрым нравом и приятной внешностью.

Так, во всяком случае, гласит народная молва.

Но как бы там ни было, почти каждый год эта маленькая деревушка играет столько свадеб, что за ней не угнаться ни одному самому большому в округе селу.

Женихи и невесты, как заведено, выбирают себе пару обычно среди своих, но молодежь охотно посещает и ярмарки в Юськассах и Чувашском-Сормово.

Ярмарки собираются не столько для торговли, сколько для «высматривания» невест. Особенной популярностью пользуется Чувашская-Сорминская, которая бывает во время сенокоса. Это ярмарка «похищений»: избранница обычно уже «высмотрена» на предыдущей. Конечно, в наше время не может быть и речи о насильственном увозе невесты — это, скорее, просто веселая игра, забава. В народе потом еще долго, в течение года, обсуждаются подробности каждого случая, давшего повод для новых песен, частушек, шуток на праздниках и вечеринках.

Не было бы у чувашей такого обычая, кто знает, насколько бы обмелели реки их полноводного фольклора... Свадьба — событие радостное, счастливое — добрый повод от души повеселиться.

На прошлогодней ярмарке из Сурмбусь «похитили» двух девчат, поговаривают, что и в нынешнем году есть кого «высмотреть» и «украсть».

Всего неделя осталась до сенокоса. Вся деревня в хлопотах: хозяйки бегают из дома в дом, делятся кто хмелем, кто дрожжами, кто укропом, кто тмином. Мужчины выбирают из домашнего стада барана, покрупнее да пожирнее.

Если кто из чужих поинтересуется: «Кого украдут?», то кивают на большой дом с шатровой крышей, стоящий в центре деревни. В этом доме живет Празук-инге, тетушка Празук со своим уже женатым сыном и с дочерью на выданье — Сухви.

Сухви очень хорошенькая, у нее светлые волосы, густые брови, темно-карие глаза, хрупкая фигурка с тонкой талией и стройными ногами.

Мать ее в прошлом была настоящей красавицей. Поговаривали, что согласилась Празук на брак не столько из любви к будущему мужу — хмурому и малоразговорчивому старому бобылю, сколько к Сурмбусь, прельстившись здешними природными красотами.

Сухви — в мать, так же чувствительна и поэтична. Ча-

сами может стоять на берегу, любоваться полетом береговых ласточек, наблюдать за порханием стрекоз с синебархатными крылышками. В такие минуты ее смуглое лицо заливают румянец, губы плотно сжимаются и делаются похожими на две сросшиеся вишенки.

Так кто же все-таки нынче возьмет ее в жены? Кто «похитит» на ярмарке?

Сухви — недотрога, держат ее в строгости. Никто еще не видел девушку наедине с парнем, и не было замечено, что она осталась на улице после хоровода. А на хороводах юная красавица покорила не одно сердце, не один парень вздыхал украдкой и гадал: «Кому выпадет такое счастье, кого выберет эта девчонка с потупленными глазами, которой и слово-то сказать страшно?» А обиженные холодностью и неприступностью Сухви открыто говорили: «Да она вовсе замуж не пойдет, больно разборчива!» Иные возражали: «Пойти, может, и пошла бы, да что-то сынок Хветли-инге давненько на родину не заглядывает. Сильно грамотный парень, музыкант. Зря она по нем сохнет, не пара ученому простая пастушка».

Если, случалось, при таких разговорах присутствовала сама тетушка Хветли, то она обычно возражала: «Ученый — неученый, какая разница!»

Хветли-инге не прочь породниться с Празук-инге. Ей очень нравится и сама девушка.

«Ничего бы не пожалела, все отдала, чтобы назвать Сухви своей невесткой» — так прямо и говорила в глаза старой матери.

Празук-инге хмурила свои все еще красивые темные брови, выражая неудовольствие:

— А понравится ли твоему сыну моя Сухви? У него в городе разве еще не нашлось невесты?

— Об этом я ничего не ведаю и ведать не хочу. А твоя дочка на глазах выросла, знаю — нет в ней никакого изъяна. Вот уж красива так красива, что босая, что обутая, что в простом платье, что в нарядном. Аккуратная, вежливая, всегда готова помочь, скромная, душевная. Родня хорошая, ни о ком слова плохого не слыхать. Скажи откровенно, Празук-инге, чем тебе мой сынок не нравится?

— Я его не хаю, соседка. Только каков он, не знаю. Вот уже два года не приезжал твой ученый в Сурмбусь.

Обычно в таких разговорах последнее слово остается за матерью Сухви — она женщина умная, сдержанная, не

то что простушка Хветли, да и к тому же чем отвести упрек? Судьба младшего еще не устроена. А ну, как сложится так же неудачно, как у старших? Забыли, совсем забыли сыны родину. Мать не навещают — некогда. Спохи городские, им в деревню ездить неинтересно. Город детей поедает, как мельница зерно. Ох, горюшко, забыла, как всей семьей за одним столом собирались. Если бы Санька в жены Сухви взял, она бы уж не гнушалась своей свекрови. Писал сынок, в последнем письме, что собирается приехать, хорошо бы, если к ярмарке поспел.

2

Дни перед ярмаркой стояли душные, дождей не было больше двух недель. Жара сморила листья липы, вяза, орешника, иссушила траву по обочинам дороги и на высоких местах.

В один из июльских дней, в полдень, на пыльной проезжей дороге, ведущей в Сурмбусь, показался паренек со спортивной сумкой через плечо. Дойдя до того места, где дорога сворачивает на деревенскую улицу, он остановился, словно чего-то припоминая, а потом решительно двинулся по тропинке, ведущей через широкую луговину на деревенские зады. Судя по всему, паренек давно здесь не был. Он то и дело останавливался, обводя счастливыми глазами весь этот простор, с наслаждением вдыхал воздух, густой и сладкий, как июльский мед.

За синей далью лесов терялись извилистые берега Сормы, золотое поле спелой ржи, раскинутое возле опушки ближнего леса, слепило глаза. Паренек блаженно шурился, подставляя солнцу и легонькому ветерку, тянувшему из сырой ложбины, потное, разгоряченное лицо.

Несмотря на свой явно городской вид — модные джинсы и майку с эмблемой какого-то международного фестиваля, «ученый» сынок тетушки Хветли, Санька, а это был он, не утратил наследственных черт сурмбусьской породы, отличающейся крепким телосложением и простодушным, открытым выражением лица.

Паренек двинулся низом, где на распаханной целине топорщила листья высокая, в рост человека, конопля. Терпкий запах щекотал ноздри.

Белые гуси паслись на зеленой траве.

Не в силах больше сдерживать своих чувств, Санька

присел на склоне крутого оврага, уже почти поднявшись к своему огороду. Шелест стеблей ячменя, ритмичное потрескивание сухих остей начинающего твердеть колоса, томные вздохи горячей земли, успокаивающая прохлада далеких снежных облаков — все проникало в сердце, все требовало выражения.

Сын Хветли-инге был музыкантом. Еще мальчиком, когда он впервые обнаружил внутри себя потоки необыкновенных ощущений, каким-то таинственным образом связанных с ритмом его сердца и ритмами окружающего мира, Санька догадался, что музыка — это не только песни и игра на гармошке. Музыка живет всюду, сама по себе; как камень или глина скрывают в себе непроявленные образы, так и все вокруг таит в своих глубинах тонкую и хрупкую мелодию.

Он окончил в Чебоксарах музыкальное училище и стал солистом эстрадного ансамбля.

Саньке нравилось выступать в концертах перед множеством народа, нравился успех, аплодисменты, нравился особый строй жизни, легкий, подвижный, не обремененный заботами — «гастрольный вариант», как его именовали в их среде, но все-таки хотелось большего — самому создавать музыку. Он пробовал писать песни, некоторые из них даже исполнял на эстраде, но в глубине души молодой музыкант страдал от неутоленной жажды истинного творчества. Тайной мечтой начинающего композитора была крупная музыкальная форма: рок-опера или сюита на тему чувашских народных песен в современной оркестровке.

Тетушка Хветли и предположить не могла, почему ее сынок так охотно согласился приехать на праздник.

Небрежно пробегая глазами материнское письмо, полное жалоб и слезливых причитаний, Санька внезапно остановился — по глазам, как вспышка яркого света, полоснуло: «ярмарка». Вот где он может найти тему! Как это раньше не пришло в голову? Едет, непременно. До следующих гастролей оставался целый месяц, значит, целый месяц он может жить в деревне, работать в поле, вечером водить на улице хороводы, петь вместе со всеми и слушать, слушать, слушать. Сколько интересного предстоит увидеть и пережить!

Родная земля... Она словно соткана из сотен мелодий, прикоснись к ней, как к струнам, и зазвучит, запоеет...

В такие минуты Санька чувствует себя не столько человеком, сколько каким-то инструментом. Невидимый вну-

тренинги исполнитель настраивает его: вот подтянул один лад — прислушался. Внешние образы должны совпадать с тем, что внутри.

Первые такты прозвучали так отчетливо, словно он услышал их со стороны. Нельзя было терять ни секунды, время жадно поглощало драгоценные мгновения. Санька стал лихорадочно записывать в нотную тетрадь. Набросав несколько фраз, он остановился — можно было теперь не спешить, тема «поймана за хвост», не уйдет. Но что же послужило источником? Ведь он просто физически чувствовал его здесь, буквально под ногами. Ах да, вспомнил! Еще в детстве ему казалось, что именно на этом месте давным-давно происходили события важные и героические. Грезилось, будто древний богатырь отдыхал на этом склоне после битвы, и родина, с ее небом и землей, с травой и облаками, склонялась над его телом, остужая усталое лицо, нежными касаниями исцеляя раны.

Именно об этом говорила только что рожденная мелодия, она пела о необыкновенной любви, нежной, преданной и неутоленной.

И вдруг Санька вздрогнул: чей-то голос — чистое, звонкое сопрано — выводил ту же тему.

Он узнал народную чувашскую песню. Редкой удачей, просто чудом было и то, что ему удалось уловить характер национального строя, не думая об этом заранее. Значит то, что услышала его душа, было правдой.

Санька вскочил на ноги, ему хотелось увидеть певунью, хотелось узнать, кто же сумел пережить с ним одно общее мгновение, чье сердце билось с ним в эти минуты в одном ритме.

Вдали, у берега Сормы, паслось стадо овец, какая-то девушка медленно шла за отарой.

«Уж не Сухви ли это?» — промелькнуло в голове.

Издали вся группа выглядела игрушечной — маленькая девичья фигурка, окруженная кудрявыми овцами. Стоя на возвышенности, Санька ощущал себя чуть ли не зрителем, попавшим на какой-то спектакль. Прибавление «нового действующего лица», смешной толстой косолапой тетки, еще больше усугубило это ощущение. Переваливаясь на неуклюжих кривых ногах, тетка спешила к отаре и кричала во все горло.

До него отчетливо донеслось: «Сухви, перегоняй на Касликавар!»

Значит, все-таки он не ошибся, девочка-пастушка — это Сухви, милая девчушка, которую он видел два года назад, поди, ей тогда было лет пятнадцать—шестнадцать, значит, сейчас... Э, да она невеста! Кажется, мать в последнем письме писала, что, мол, дочку Празук-инге, поговаривают в народе, в этом году на ярмарке будут «воровать». «Смотри, сынок, не проворонь свое счастье». «Господи,—подумал тогда Санька,—при чем здесь я, у меня своя жизнь, что мне делать с такой женой?» Деревенская она, разве привыкнет к такой жизни, которую он ведет: гастролы, репетиции, концерты. Да он и дома-то совсем не бывает. Заскучает с таким мужем любая, не то что Сухви, выросшая на природе, среди полей и лесов. Ребята в ансамбле засмеют: мол, «кантри», деревенщина.

Теперь же, переживая счастливую встречу с родиной, подарившей с первых же шагов высокий момент вдохновения, молодой музыкант понял, что напрасно надеялся создать что-нибудь путное, живя так, как жил до сих пор: от гастролей к гастролям, от самолета к самолету, с поезда на поезд. Было, конечно, интересно — менялись города, люди, он многое увидел, со многим познакомился: юг, север, Кавказ, Крым, Прибалтика, Сахалин, Камчатка; горы, море, вулканы, сопки, степи и пустыни... Сколько музыкальных образов величественных и простых, скромных и грандиозных, умиротворенных и бунтующих! Ритмы менялись, но все они были Саньке чужими — весь музыкальный лад его души был чувашским. Правда, он легко мог имитировать любую форму, но это было ремесло, а душа рвалась к самобытности. Санька и человека воспринимал как музыкальный образ. А сколько разочарований приносила ему эта его особенность, когда он знакомился с девушками. Красивая внешность воспринималась им совершенной формой, он любовался чертами лица, пытался прочесть по ним неслышную музыку и нередко в страхе отступал, когда красавица начинала «звучать»: отпугивали то резкость, то грубость, то непривычное, как говорят музыканты, «звукоизвлечение». Вот поэтому-то он и не влюблялся по-настоящему, все ждал, все надеялся на заветный, родной отзвук.

Чувашские девушки казались ему самыми красивыми, самыми «музыкальными», а среди землячек он не встречал лучше Сухви, впрочем, о ней он думал редко, замотанный и заверченный каждодневной суетой.

Ему захотелось представить ее лицо, вспомнить, что в нем привлекает.

«Немного грустное, — отметила память, — но грусть особенная, тихая, нежная. Она, наверно, страдает — ее здесь, конечно, не могут понять. Кто расслышит ее особое «звучание»? Вон как орет эта толстая тетка: «Сухви, гони овец на Касликавер!» Да такая «заглушит» кого хочешь. А девушка очень чувствительная. Ее выразительные глаза меняются, помнится, от каждого сказанного ей слова: то вспыхнут обидой, то загорятся сочувствием, то кротко замерцают, то заискрятся веселым смехом, но чаще всего все-таки печальные».

В прошлый свой приезд Санька не пропустил ни одного деревенского хоровода. Сухви тоже выходила на улицу, случалось, и пела вместе со всеми, но так, чтобы голос не выделялся: начинала последней, а кончала первой. Кого-кого, но музыканта она не могла обмануть — он все равно слышал. Если девушка молчала, песня не ладилась — будто что-то неуловимое пропадало в согласном звучании хора. Стоило Сухви вступить, как ее чистое сопрано, словно драгоценный бисер, «вышивало» на мелодии свой неповторимый узор.

А как она смеется!.. Это же просто журчание ручейка. Вот бы попробовать записать ее смех...

Мать тогда еще заметила, что сыну нравится певунья Сухви.

«Хочешь, оженим тебя на дочке Празук-инге? Хорошенькая», — предложила как-то ненароком Хветли-инге.

Вот и в последнем письме опять ввернула: «Выросла совсем певунья Сухви, еще красивей стала».

Да, интересно все-таки посмотреть на нее.

А отара все удалялась и удалялась, скоро уже ничего нельзя было различить — только пыль, поднятая овцами, указывала направление стада.

Щелканье пастушьего кнута заставило его оглянуться: какой-то паренек, очевидно пастух из соседнего села, стоя на противоположном берегу Сормы, внимательно смотрел в ту сторону, куда погнала овец Сухви.

И когда Санька увидел, как девушка в ответ взмахнула кнутом, сердце его почему-то сжалось, и он, перекинув сумку через плечо, заспешил домой.

Тетушка Хветли уже не работала в колхозе; выйдя на пенсию, она с особым старанием занималась домашними делами. Судьба холостого сына не выходила у нее из головы, похоже, настырная мать решила женить Саньку и, не откладывая дела в долгий ящик, принялась спешно готовить приданое: перину да подушки.

Стоя посреди двора, Хветли-инге склонилась над корытом, полным гусяного пуха. Увлеченная работой, она очнулась лишь тогда, когда услышала скрип калитки, оглянулась и всплеснула руками: от сарая, лукаво улыбаясь, шел навстречу долгожданный Санька.

— Уй, сыночек, — ахнула старушка, — приехал...

— Приехал, мать, приехал, — ласково прошептал Санька, склоняясь к добрым материнским плечам.

«Постарела моя матушка, постарела, а ведь еще два года назад была ничего».

Чувствительная Хветли всплакнула, обнимая сына, но тут же встрепенулась: «Какая глупая! Чего плакать? Радоваться надо, умыться подать с дороги пареньку, ишь как взмок да запылится, устал, поди, по такой жаре топтать».

Ох и быстрая на ногу эта Хветли-хлопотунья: в одну минуту наполнила рукомойник чистой водой, принесла свежее полотенце и новую нераспечатанную пачку туалетного мыла (специально для ученого сына припасла).

До чего же здорово умыться после тяжелой дороги холодной колодезной водой. Санька сразу сбросил усталость, будто заново родился: и в помине не осталось тех семи километров, которые он оттопал по изнурительной июльской жаре.

А уж мать — ну просто не знала, как поудобней усадить сына, чем его попотчевать, все ей казалось слишком простой пищей для «ученого» и «городского».

— Свалился как снег на голову, — жаловалась она, цедя в кружку пиво, — думала, приедешь к самой ярмарке. Пиво еще не поспело, дня три, как поставила. Не обижайся уж.

— Да успокойся, присядь к столу, дай хоть поглядеть на тебя.

— Чего глядеть-то на старую, ты лучше на молодых гляди.

— Небось опять про Сухви разговор заведешь? — лукаво поинтересовался Санька. — Так я ее только что видел.

— Ну! — не поверила мать. — Где же это?

— Да на лугу, она отару перегоняла к Касликавару.

— Чего ты мог видеть с такого расстояния, — успокоилась старушка, — ты бы ее сейчас вблизи рассмотрел. Лучше матери своей будет. А Празук-инге в молодости слыла первой красавицей.

— После тебя, конечно, — пошутил Санька.

— Ладно тебе смеяться над старой матерью...

— Какой тут смех, для сына родная мать лучше всех на свете.

— Ты не отшучивайся, — продолжала гнуть свою линию настырная тетушка Хветли, — а для свадьбы я уже все необходимое приготовила.

— Ну да, — усмехнулся Санька, — видел, видел, как ты пух перебирала. Приданое, что ли? Представляю, как я заявлюсь к себе с таким «необходимым»! Да ребята меня засмеют!

— Как же, — испугалась мать, — на чем вы, бедные, спите, на голых досках, что ли?

— Всяко бывает.

— Не страшай меня, Саня, — взмолилась старушка. — Если у городских такая собачья жизнь, то почему обратно в деревню не возвращаются? Может, ты, сынок, останешься? Женишься на хорошей девушке, дом весь будет ваш, хозяйство заведете, на первый случай дам вам и овец, и телочку, и гусей штук десять.

— Размечталась!..

Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если бы не вернулась с работы сестренка. Поздоровавшись с братом, Енюк со смехом спросила:

— Что, и тебя уже, братец, начали обрабатывать? Она мне все уши прожужжала про свадьбу.

Так в шутках и незлобных подтруниваниях друг над другом прошел вечер.

...Хорошо, тепло и уютно лежать на перине, смотреть в темноту, различая за окном тень старого вяза, что растет в палисаднике.

Мать смутила его разговором о женитьбе, и хотя он притворялся равнодушным, но мысли о Сухви не выходили из головы. Санька прижал к груди подушку, зажмурил

глаза и тотчас увидел перед собой ее милое лицо, светлые волосы, густые темные брови...

Ночью ему приснилось, будто он идет берегом, потом спускается на луг. На лугу пасутся лошади, где-то в густой траве печально кричат журавли. Санька не знает, что он здесь делает, зачем пришел. Да, вспомнил, надо поймать лошадь, вон ту, рыжую кобылку. Бойкая лошадка с гривой до самой земли. Но почему она не подпускает близко? Почему убегает? Почему останавливается, манит глазами, а стоит только протянуть руку, как пускается наутек. Дразнит, играет? Вон и в реку зашла, смотрит, пойдет ли он за ней. Что поделаешь, приходится лезть, вода холдная, хорошо, что дно не илистое, твердое песчаное и неглубоко — только по пояс. Санька накидывает аркан: «Пах-пах!» Попалась, теперь не уйдешь, дай только взнуздать. Кобылка стоит спокойно, вот он уже в двух шагах, и вдруг лошадь делает рывок, Санька летит в воду. Удрала-таки. В чем дело? Кто ее испугал? Пастух? Точно, ведь это он щелкнул кнутом. Смотри-ка, уже взнуздал недотрогу и смотрит, как Санька вылезает из воды. Нет, не смеется, не издевается, просто смотрит, словно жалеет, и она смотрит. Какие печальные глаза. Что это? Плачет? Где он видел эти глаза? Да ведь это же глаза Сухви...

Санька проснулся, не в силах отогнать ночного сновидения, долго сидел в постели, обхватив голову руками. Что мог означать этот странный сон? И опять где-то щелкнул кнут... Какое-то наваждение: и во сне и наяву одно и то же! Подошел к окну, выглянул на улицу: «Ох, отлегло от души, да это же Енюк пошла по воду к колодезю. Не кнут щелкнул, а звякнула дужка ведра».

— Вот ведь неловкая, — раздалось вдогонку сестре, — гляди, разбудишь!

— Да я уже проснулся, мама.

— Как спалось, сынок, что приснилось на старом месте? Жениху невеста?

— Кнут приснился.

— Господи, — всплеснула руками Хветли-инге.

— Не волнуйся, всех победим и живыми-здоровыми останемся, проживя сто лет.

— Дай-то бог, сынок.

До чего хороший да пригожий удался паренек.

Мать украдкой наблюдала, как Санька надевает рубашку, причесывает перед зеркалом длинные, слегка волнистые волосы. Весь в отца, крепкий, ладный, да, пожа-

луй, еще краше: повыше ростом будет и лицом понежней. Все ж таки работа не крестьянская — артист. И как только Санька не боится выступать, куда свою стеснительность деваает при таком большом народе? Сотни глаз на него глядят, повалить могут. А он ничего, будто огурчик с грядки. Белая рубашечка (Енюк, молодец, постаралась, хорошо отгладила) очень ему идет, на лице высветляет каждую черточку.

— Сходи-ка, — советует Хветли, — навести Празук-инге.

— А дома ли она в эту пору?

— Сухви дома, я только что к ним за дрожжами бегала. Ты не стесняйся, городские должны быть смелей.

— Да что скажу, мама?

— Спросишь, как живут, чем занимаются. Мы недавно с Празук-инге о тебе разговор вели.

— Тогда я никуда не пойду, небось косточки наши с Сухви перемывали? Что за манера за спиной людей сватать... Может, ей самой до меня и дела-то никакого нет, может, ей кто-то другой нравится?

— Матерям лучше знать про своих детей. Ребенок только подумает о чем-нибудь, а материнское сердце уже знает, наперед знает, полезно это или вредно.

— Скажешь, «ребенок»... Вон какой детина здоровый вымахал, — Санька ласково обнял мать. — Ну хорошо, хорошо, не обижайся.

— А не послать ли с тобой Меркурия?

— Зачем?

— Вдвоем легче.

Сын усмехнулся:

— Как-нибудь сам управлюсь.

4

Выйдя на улицу и пройдя несколько шагов, Санька сразу заметил перемены и удивился: надо же, всего каких-нибудь два года прошло, а уже многого не узнать. Сурмбуть разрослась, подтянулась к соседней Панклеи, между деревнями появился новый пруд, а заветное местечко, где он мальчишкой рвал щавель, распахали.

Уже полдень, на улицах — никого, горячее марево стоит над скошенными лугами, старый пруд совсем обмелел, один берег почти сплошь зарос осокой, на другом, низко прижимаясь к земле, стелется желтая мыльнянка.

Не отдавая себе отчета, сынок Хветли-инге медлит приблизиться к дому с шатровой крышей — опасается строгой хозяйки.

Празук-инге крепко держится старых обычаев. Говорят, если зайдет во двор чужой человек просто так, безо всякого дела, дальше калитки не пустит да еще плеснет из ковшика водой, мол, с чем пришел, с тем и уйди. В среду, тяжелый день, нового каравай не почнет — лучше у соседей хлеба одолжит. Строго соблюдает все приметы: если тесто ставит или капусту солит, на луну глядит: одно хорошо удается при полнолунии, другое, когда месяц нарождается.

Не плеснет ли она ему из ковшика: «С чем пришел — с тем и уходи». Со стыда сгорит. А в общем-то, действительно, с чем он идет к соседям? Увидеть девушку? Да какое ему дело до нее? Не жених, не приятель — односельчанин, только и всего. Тетка Празук вправе задать вопрос: «Почему к нам первым заявляешься, другие, что ли, хуже?» «Может, не ходить?» — малодушно решает Санька, но ноги сами несут его к дому Сухви.

...Сухви сидела на крыльце и расчесывала косы, русые густые волосы закрывали собой почти всю ее до согнутых блестящих колен. Длинные волосы для Саньки не в диковинку — современная мода, многие девушки носят сейчас такие прически, но разве можно сравнить «патлатых» горожанок с Сухви, их жалкие, реденькие прядки с этим плотным, шелковым водопадом...

На какие-то минуты молодой человек замирает на месте, не в силах сделать ни шага.

Откинув со лба волосы, девушка замечает стоящего у калитки Саньку, вскакивает, стремглав летит с крыльца, спотыкается о грабли и, слегка прихрамывая, бежит в огород. Нежданный гость не успевает даже поздороваться.

От смущения Санька не знает, что делать — повернуться и уйти? Но это будет уж совсем глупо. Что подумают о нем хозяева? Пересилив себя, он подымается по крутым ступенькам крыльца, перешагивает через маленькую скамейку, специально поставленную у входа, чтобы в сени не забредал скот.

Он не сразу решился открыть дверь, долго прислушивался, есть кто в избе, и только когда слух различил детский плач, решительно переступил порог.

— Можно? — спросил, уже совершенно овладев собой.

— Ой! — воскликнула какая-то молодая женщина, держащая на руках орущего краснощекого младенца. — Да кто к нам пришел?! Никак сын Хветли-инге? Здравствуй, Саня, ты что, не узнаешь меня?

— Аня? — в свою очередь удивился Санька.

— Она самая, вместе за одной партой сидела.

— И уже мама!

— Пора, это ты только все холостой ходишь. Смотри-ка, к ярмарке приехал, кого успел высмотреть? «Красть» кого надумал? Секрет?

— Образование не позволяет ни «красть», ни «высматривать». Мать вот приехал навестить, совсем она у меня старушкой стала.

— Это тетушка-то Хветли старушка? Да она еще и молодых за пояс заткнет, такая бойкая! Да что я болтаю, — спохватилась Анна, — гость на пороге стоит. Проходи, проходи, не стесняйся, давно тебя в Сурмбусь не видали.

— С кем разговариваешь, невестка? — слышалось из передней.

Это голос Празук-инге — спокойный, властный. Мать Сухви входит в кухню, степенно здоровается с гостем, подходя к печке, запускает руку в дымоход, потом, выставив указательный палец, на котором отчетливо видно черное пятно сажи, дожидается, пока невестка поднесет к ней ребенка.

Весь обряд проходит в серьезном молчании, видно, молодая мать привыкла к нему, да и Санька знает обычай: так оберегают детей от «сглаза» — между бровями ставится точка, чтобы посторонний человек не смотрел малышу в глаза, чтобы не брал своим взглядом «личную силу», необходимую для роста младенца, не то ребенок будет болеть и капризничать.

Сладко потягиваясь и потирая заспанные глаза, выходит из спальни невысокий, краснощекий, еще совсем молодой мужчина. Это старший сын Празук-инге.

— Э, да у нас гость. Аннушка! — зовет он жену. — Там ничего не осталось? Что-то в горле пересохло.

Мать строго сдвигает брови: не одобряет Празук-инге нынешнее вольное обращение между людьми — все теперь без правил, без разбору, каждому встречному душа нараспашку. Хорошо, если встретится порядочный человек, а то есть и такие, что в душу залезут да напакостят, потом ни водой, ни ворожкой порчи не смоешь.

Ей самой интересно посмотреть на ученого сына Хветли: правда ли он такой хороший, каким кажется своей матери? У женщин взгляд особый. Думают, бабы, готовя угощение, ничего не видят и не слышат. Нет, ошибаются, как раз наоборот: исподтишка взгляд точней — он не пугает, не настораживает, не сковывает.

Не спеша Празук-инге разжигает очаг. Аннушка уже летит из сеней с полным кувшином пива, на столе появляется бутылка водки.

В летнюю горячую пору, когда сено еще не убрано, когда солнце в зените, сидеть за столом и выпивать, конечно, не дело, но гость здесь ни при чем, крестьянские заботы его не касаются. У сына тоже есть оправдание: работает в ремонтной мастерской, а вчера как ушел с утра, так сегодня только и явился, спешно нужно было что-то починить. Вот и «отсыпается». Известное дело, нынче чуть что — бутылка, с ней, проклятой, и в радости, и в горе, и в усталости, и в отдыхе. Чувашского сладкого пива мало молодежи, давай что покрепче. Городской, поди, тоже выпивает... Можно, конечно, не обращать внимания на болтовню Хветли-инге про сватовство, но обычай есть обычай. Надо бы велеть дочке принарядиться — в доме невеста, а гость неженатый.

Сухви уже успела заплести косы, платье на ней хоть и старенькое, домашнее, но чистенькое. Она не смотрит на Саньку, несмело стоит на пороге, ловит материнский взгляд: «Что делать?»

Празук-инге подзывает дочку, что-то шепчет ей на ухо, девушка поспешно скрывается в соседней комнате. Через несколько минут Сухви выходит нарядная — не узнать. Белый шелк, прозрачный, как мокрые лепестки яблоневого цвета, облегает стройную девичью фигурку, фартук зеленеет изумрудом первой весенней травы, по подолу радугой переливаются яркие цветные атласные полосы, розовый батистовый платочек на голове цвета утренней зари. Нежный полевой цветок чувашской земли — эта ясноглазая красавица.

Санька уже опорожнил кружку хмельного пива, скванность первых минут постепенно проходила, его уже больше не пугал строгий вид хозяйки дома. Степан оказался симпатичным малым, шутки, деревенские новости незаметно втягивали приезжего в старый, знакомый мир детства. Тема о погоде была здесь непраздной. Брат Сухви не напрасно упомянул, что «летний Никола» был без дож-

дя. Потеплело рано, и ласточки рано прилетели, значит, будет сухо до ярмарки, потом жара спадет. Сено уже высохло, до дождей успеют заскирдовать.

Сухви не принимает участия в общей беседе: девушке, по обычаю, не полагается сидеть за столом с мужчинами. Примостившись на лавке у окошка, она держит в руках какое-то рукоделие, то ли вышивает, то ли подрубливает платок.

Саньке виден только девичий профиль — длинные черные ресницы дрожат, как крылья пойманной бабочки...

И молодому гостю, и юной хозяйке боязно смотреть друг на друга, — когда Санька ненароком оборачивается, Сухви вспыхивает и опускает голову.

Празук-инге не к чему придаться: все пока идет ладом, по-хорошему. Сынок Хветли не выскочка, не зазнайка, слушает внимательно, не перебивает, со своим не лезет. И дочка правильно себя ведет, по-старинному. Сын не торопится поскорее выплеснуть водку из бутылки: поди, с час прошло, как гость в доме, а выпито всего две рюмки.

...Да тут Меркурий, про которого говорят в деревне: «Как ворона за двадцать верст чует падаль, так Меркурий издалека чует выпивку», учуял-таки — бесцеремонно ввалился в избу и уже с порога заявил:

— Что-то поясница ноет с самого утра, не иначе к дождю.

— Дождя дождешься, — засмеялся Степан, — она у тебя и вовсе отвалится! Почитай, деньков десять придется терпеть до мокрой погоды. На-ка, полечись!

Подавая на стол чистый стакан, тетушка Празук заметила:

— «Поясница» твоя, Меркурий, известно какая. Не грех ли жаловаться на здоровье в тридцать лет? Иное дело я, старая женщина.

— Правду говоришь, кинем¹. Совсем ты остарела, — брякнул Меркурий, — никуда не годишься. Чего дочку до сих пор в невестах держишь, а ну, как ноги протянешь ненароком? Кто ее замуж будет отдавать? А вот и жених сидит. Чем плохой? Давай свадьбу играть!

Шутка шуткой, но после таких слов в избе воцарилось неловкое молчание: Сухви, вспыхнув, выбежала из дома, хлопнув дверью, Санька просто онемел от такого нахаль-

¹ Кинем — обращение к женщине преклонных лет.

ства, строгая хозяйка не мигая уставилась на нахального краснбая, но Меркурий был «железным». Как ни в чем не бывало, опорожнив полстакана водки и основательно закусив, он обнял Саньку за плечи и сказал ему на ухо, но так, что все слышали:

— Дело выйдет!

Такого конфуза «жених» не ожидал.

— Пойду покурю, — мрачно заявил Санька, подымаясь из-за стола.

— Кури в избе, — разрешила Празук-инге.

— Сходи, милоч, проветришь, — одобрительно закивал головой Меркурий, — без тебя ловчей сговориться.

...Сухви стояла, опершись о перила, лицо ее горело. Санька молча курил, не зная, с чего начать разговор: с утешения, извинения, оправдания?

Первой нарушила молчание девушка.

— Уходишь? — спросила несмело.

— Пора.

— Надолго приехал?

— Завтра отчалию, — зло буркнул в ответ и растерялся: зачем он так? — Да нет, — поправился просто и откровенно, — хочу пожить недельки три, соскучился по дому да и поработать надо.

— Поработать? — удивилась Сухви. — Ты разве не в отпуске?

— Музыку мечтаю написать.

— Разве музыку пишут?

— Кто умеет, тот пишет.

— А ты?

— Хочу попробовать.

— А как? Как ее пишут? Расскажи.

«Нет, — пронеслось в голове, — она все-таки замечательная. Она хочет меня понять. Она может меня понять. Да и как же иначе? Сухви — ее смех, ее голос, ее движения — сама музыка!»

Высокие шесты, увитые хмелем, возвышались над кустами низкого вишенника, их прозрачная тень почти не заслоняла солнечного света. Жаркие лучи пронизывали красные ягоды, оттягивающие гибкие ветки.

— Смотри, горят, как глаза белого кролика. — Сухви осторожно вошла в кусты.

— Скажи, какую песню ты пела вчера, когда перего-няла стадо?

Девушка обернулась, от удивления она разжала паль-цы, и целая пригоршня вишень рассыпалась у Саньки под ногами.

— Откуда ты знаешь?

— Повезло. Воробьи начирикали.

— Нет, правда?

— Хорошо, так и быть, расскажу. Хотел мать врасплох застать. Взял да и свернул с тракта, пошел луговиной, огородами, потом присел отдохнуть, а тут и тема появи-лась, стал записывать. Только набросал несколько тактов, слышу: поет кто-то. Я так и обомлел! Представляешь, точь-в-точь, та же гармония. Не понимаешь? Потом все объясню. Поймешь, ты же способная! Теперь, прошу тебя, напой ту мелодию, да не стесняйся. Тихонько, никто не услышит, мне надо кое-что проверить. Давай присядем. Хорошо?

Сухви несмело опустилась на траву рядом с Санькой. Он смотрел на нее так просто, так дружески, и девушке захотелось исполнить его просьбу.

— Это народная песня, разве ты ее не знаешь?

— В том-то и дело, что нет. Ну, ты пой, пой.

Неожиданно для самого себя Санька увлекся и совсем позабыл, что сидит с девушкой, в чужом саду — музыка, музыка, тонкая, прозрачная мелодия, должна была вот-вот проявиться, обрести форму, и он торопил эти мгнове-ния.

Сухви тихонько начала:

На закате дня молодой богатырь плачет, лежа на голой земле.

Знаю, о чем горюешь, победивший врагов.

Есть у тебя на груди рана, ее ничем не исцелить:

Ни волшебной травой, ни живою водой —

Одной лишь песней простой девушки-пастушки.

— Здорово! А теперь послушай меня. — Санька пропел первые такты своего нового сочинения. — Похоже?

— Да...

Теперь они шли по саду рука об руку, связанные вза-имным пониманием, общим высоким чувством. Не ди-чась, не стесняясь, с полным доверием Сухви придвину-лась к нему совсем близко, впиваясь глазами в Санькино лицо.

— А я думала, что песня не так сочиняется, — призна-лась она.

— Как же?

— Ну просто кто-то шел себе лугом, или в лесу бродил, или сильно переживал и вдруг начинал петь, а потом на хороводе вспоминал песню, передавал другим, а те — другим. Если хорошо получалось, если песня душевная, красивая, то ее не забывали.

— Правильно. Но еще заметь: лес «поет» не так, как вода; вода не так, как ветер. Согласна? Люди, хотя и похоже чувствуют, а поют по-разному. Те, кто живут в горах, подражают грохоту водопадов, гулкому эху; степные народы, наоборот, создали протяжные песни, как длинный бесконечный путь по широкому простору степей. Человек, природа, музыка — все едино, все взаимосвязано, выражает друг друга.

— А как поет наша местность?

— Наша местность поет, как ты, — пошутил Санька.

— Не смейся, — надулась Сухви, — а то не буду с тобой разговаривать.

— Ой, — сделал «большие глаза» Санька, — не казни так жестоко, пойдем лучше крыжовник собирать. Еще наговоримся с тобой, времени у нас впереди много. Так ведь?

В ответ девушка несмело кивнула головой. Сухви не хотелось никакого крыжовника, не хотелось прерывать того, что возникло в эти минуты: яркого, лучезарного про света в ее тихой, бедной событиями жизни. Этот парень так не похож на всех остальных! Как он говорит, как смотрит — доверчиво, по-детски чисто и светло. Затуманенными мечтой глазами она видит перед собой иной мир, сотканный из необыкновенных переживаний, слов и поступков. *Его* мир, *его* дело, *его* музыка.

Санька уже на ногах — хорошо! Он непременно напишет сюиту, все пока складывается замечательно, а Сухви... Она поможет, она вдохновит.

— Ну, пошли? Что ты такая квелия? Устала? Заговорил я тебя? Привыкай.

— Я уже привыкла, — призналась Сухви и покраснела.

Ему и в голову сначала не пришло, что означает эта простенькая фраза.

Как ни в чем не бывало Санька протянул девушке руку, рывком поднял ее с земли:

— Ну, не хочешь крыжовником угощать, так угости яблоком, вон какое красное висит.

Сухви вздрогнула:

— Нет, нет, этого не трогай, нельзя...

— Почему? Жалко? Понимаю, видно, первый урожай на молодой яблоне, хотите сами попробовать? Успокойся, не буду.

«Что это она так разволновалась? Неужели пожалела какого-то несчастного яблока? Может, матери боится? Что поделаешь, деревенская деваха, трудно будет воспитывать... Ну, ничего. Школу Сухви уже закончила, вокальные данные исключительные, слух дай бог каждому! Обрабатываем со временем, отшлифуем. Как звездочка будет гореть моя Сухви». Почему «моя» — вдруг прозвучал в душе трезвый вопрос. «Разве я собираюсь жениться на ней? Да, красавица, да, способная, да, нравится, очень нравится, но для чего я приехал сюда? Свадьбу играть или музыку писать?»

— Не даешь яблока — не надо, — вздохнул Санька, — а черемухи можно?

— За черемухой в лес надо идти, наша несладкая...

Просто даже удивительно — до чего же быстро меняется у этой девушки настроение: то сидела с ним рядышком, доверчиво и смело смотрела в глаза, ловя каждое его слово, то теперь вдруг нахмурилась, нервно теревит свой зеленый праздничный передник.

— Я скажу, где нынче уродилась.

— А сама? Не сходишь ли со мной?

— Нельзя, люди увидят.

— Ну и что?

— Ты, поди, забыл... Если парень с девушкой...

— В лес пойдут, — закончил Санька, — то что же в этом плохого?

— На девушку в окошко месяц глянет, а уже по селу слух пройдет.

— Глупости все это. Пошли.

То ли вид у «городского» был очень решительный, то ли у самой Сухви сердце горело — так хотелось ей побольше побыть с ним наедине, только Саньке без труда удалось уговорить девушку.

Они пролезли через плетень и оказались рядом с овсяным полем.

Сухви шла впереди, быстро переступая стройными загорелыми ногами. Санька, наоборот, не спешил: то и дело оглядывался по сторонам, задира л голову, приседал на корточки, пытаясь поймать юркого кузнечика.

Как хорошо кругом — земля в обнимку с солнцем!
Возле самого леса, на телеграфном столбе, сидел коршун и, как хозяин, зорко озирался.

Тени от облаков бежали по траве, менялись ее оттенки: от густо-зеленого — до изумрудного.

На опушке девушка остановилась:

— Дальше не пойду.

— Почему? — весело расхохотался Санька. — Волков боишься?

— Опять смеешься надо мной? Вот тебе за это, — упругий войлочный мячик, слепленный из головок репейника, запущенный ловкой привычной рукой, запутывается в шелюре.

Санька, дурачась, притворно вопит, освобождая волосы от колючек.

— За это, коварная, я накормлю тебя волчьими ягодами, и ты умрешь. На моих руках...

Парень бежит по опушке, ищет куст крушины. Вот он! Ягоды местами поспели — стали чернильно-черными, местами остались нежно-розовыми, с зелеными щечками, а кое-где еще мерцали и белыми полупрозрачными бусинками.

— Выбирай: съешь черные — помрешь от любви, розовые — от семейной скуки, белые — от тоски по мне.

«От белых, от белых!» — кричит Сухви и прячется за черемуху.

— Ах вот где, оказывается, наши сладкие ягодки! — Парень с налету обнимает девушку. — Это правда, что тебя на этой ярмарке «украдут»?

Сухви делается очень серьезной, сбрасывает Санькины руки:

— Кто сказал?

— Ну вот, ты опять обиделась. Разве можно так часто обижаться? Смотри, разонравилась.

— Пусть, я же белые выбрала.

— Зачем так мрачно? Нам же с тобой весело, хорошо. Или я ошибаюсь?

Сухви молчит и задумчиво смотрит на поляну, просвечивающую сквозь стволы двух берез, перевивших в крепком объятии белые, чистые стволы.

— Там клубники много, пойду соберу.

Откуда-то вдруг налетел целый рой мелкой мошки. С монотонным гудом мошкара кружилась над головой, сади-

лась на открытые руки, лицо, шею. Девушка сняла с головы розовый платок и принялась отгонять назойливых насекомых. Но через минуту резкий порыв ветра отбил атаку и понес гудящее облако за собой, в сторону деревни.

Что за походка у этой девчонки? Не идет, а плывет: стан прямой — не сутулится, не гнется. Узкая стопа, кажется, не касается ни земли, ни трав — парит по воздуху, как птица, тоненькая фигурка.

Санька стоит и смотрит. Любит ли он? Кто знает? А вот любит, восхищается — это точно... Разве любить — и любить — не одно и то же? Он не знает. О женитьбе Санька не задумывался серьезно. Для чего ему жена? Он сам все может делать: и стирать, и готовить. От одиночества тоже страдать некогда. Но почему его тянет к Сухви, как мотылька на свет?

Девушка проходит мимо двух сросшихся стволами берез, выходит на полянку, наклоняется, ищет ягоды. Светлые косы золотистыми змейками соскользнули с плеч и погасли, утонули в траве...

«Нишкурак» — пришло на память забытое родное слово — «ландыш».

— Сухви, — кричит он, — ты нишкурак, душистый цветок.

— Нишкурак, — отвечает она, — это лекарство от сердца, — и подымает голову. — Разве забыл?

— Забыл, спасибо, что напомнила. Иди сюда.

В руках у него полная пригоршня спелой луговой клубники.

— Угощайся.

— Не представляешь, какая это ягода, и не можешь представить. А ведь многие и не знают, что клубника бывает луговая, не верят, возражают: «Это, наверно, земляника, клубника ягода садовая, культурная и не растет в диком виде». И про черемуху не знают, удивляются, как ее можно есть — она же горькая! Кстати, ты обещала показать сладкую.

...Лет восемь назад здесь был большой участок «спелого» леса, его вырубили. Теперь вырубка заселялась торопливыми новоселами: дубками, орешником, дикими яблонями. Больше всего оказалось черемухи. Привольно росли здесь молодые деревца — им не мешала ни чужая тень, ни теснота, а ягоды, которым вдоволь доставалось жаркого солнца, действительно, оказались очень сладкими.

Они рвали черемуху, перемазали ею ладони, щеки, зубы и язык.

— Тебя, — вдруг вспомнила Сухви, — мать не хватится? Пропал ведь на весь день!

— А тебя? Не боишься жениха? Вдруг приревнует?

Санька не ожидал, что его незатейливая шутка произведет такое впечатление на девушку: Сухви вдруг исчезла. Сначала он и не заметил, о чем-то еще говорил, но вдруг понял, что ее нет рядом.

— Сухви, ты где?

Ответом была глубокая тишина. Тогда, бросив собирать ягоды, которые вдруг показались горькими, встревоженный и озабоченный, он ринулся на поиски, проламываясь сквозь густые заросли. Иногда он останавливался, приседал, стараясь уловить малейший шорох, расслышать ее легкие шаги, но ничего не слышал, кроме звука коровьего бубенчика да криков коршуна, парящего в небе.

Первые минуты огорчения оттого, что она убежала, скрылась в лесу, проходили. Санька знал, что никуда Сухви не скрыться — завтра он все равно ее встретит.

Тихо колышутся вялые листья орешника. Изнурительный зной и лесная прохлада, чередуясь, наполняли сердце хмельным ощущением полного ясного счастья.

— ...А-а-ня!

Это ее голос. Санька понесся во весь дух, спустился по крутому склону оврага и нашел девушку на траве в тени дикой яблони.

— Устала?

Сухви отрицательно покачала головой.

— Я сяду? Можно? А то еще обидишься, ты же такая недотрога.

Где-то заворковала горлица, пролетела сорока. Ветер качнул пышные зонтики медвежьей дудки, пригнул к земле синие колокольчики.

Справа в орешнике, то ли перекликаясь, то ли передавая сигнал об опасности, беспокойно пропищали два птичьих голоса: «Фюнь, фюнь!» Слева, из дубняка, ответило грубо и зловеще: «Трр, трр-о».

Сухви и Санька молчали.

Солнце уже клонилось к закату. В небе играли, смешиваясь, два цвета: светло-голубой и бирюзовый.

— Сухви, — позвал Санька, — повернись ко мне и скажи правду. Если бы я захотел «украсть» тебя на ярмарке, что бы ты ответила?

Девушка вздрогнула и отшатнулась:

— Зачем так шутить?

— Да я не шучу, я мечтаю. Знаешь, что я придумал? Сделаю из тебя знаменитую эстрадную певицу, будем вместе исполнять наши чувашские песни, разумеется, в новейшей обработке. Почему бы нет? Вон «Песняры» поют белорусские, а чем мы хуже?

— Не надо, — попросила Сухви, закрывая лицо платком, — не надо, Саня.

— Почему? Разве лучше сидеть всю жизнь в деревне, пасти овец и стариться, терять молодость, красоту, да, наконец, и талант? Ты что, не веришь мне?

— Не знаю...

— Вот те раз. Мы ведь уже друзья? А другу не верить... Понятно, какой же я дурак! Ты, наверно, уже с кем-то встречаешься? Скажи, прошу тебя, скажи правду! Есть у тебя кто-нибудь? Тогда, конечно, глупо я размышлялся...

Сухви отняла платок от смущенного, залитого ярким румянцем лица и посмотрела на парня долгим взглядом:

— Нет у меня никого и никогда не будет.

— Это хорошо, это просто замечательно, что никого нет, а вот «не будет» ли — мы еще посмотрим.

Нет, Санька решительно не замечал ничего вокруг, кроме самого себя. Да и стоит ли обращать внимание на ее слова? Девчонки всегда говорят не то, что чувствуют, ради приличия.

— Пора, — сказала вдруг Сухви, — солнце садится.

— Пора так пора, — с готовностью откликнулся Санька.

Когда они поднимались в гору, парень осторожно взял девушку за руку, но Сухви и не думала вырываться. Вышли на старую тропинку. Солнце уже скрылось за горизонтом, становилось прохладно. Где-то на лугах прокричал чибис. Над Сормой подымался густой туман.

Огородная ботва была в густой вечерней росе.

— Постой здесь, — неожиданно попросила Сухви.

Санька смотрел, как, не боясь холодной росы, девушка легко пробежала те несколько метров, которые отделяли плетень от сада, где росла молоденькая яблоня. Подбежав к деревцу, Сухви на минуту остановилась, словно раздумывала, стоит ли делать то, на что решилась?

Он не видел, как дрожали ее руки, срывавшие красные, словно зардевшиеся от смущения, плоды.

— Ага, — улыбнулся Санька, — стыдно стало, что давеча пожадничала.

— Посидим еще, — предложила Сухви.

Они сели на деревянное корыто, перевернутое вверх дном.

— Вкусное! — протянул Санька, сочно хрустя яблоком. — Вот что значит сорвать прямо с дерева. А ты чего не ешь свое?

— Так, — Сухви тихонько, как детскую щеку, поглаживала глянцевую кожуру.

О чем она думала сейчас, почему молчала? Может, прислушивалась к музыке, доносящейся с улицы: репродуктор, прибитый к телеграфному столбу возле колхозного правления, распевал на всю деревню.

— Кто написал? Знаешь?

— Перестань, — нахмурилась девушка.

— Что я такого особенного сказал?

Санька удивленно взглянул на Сухви и озорства ради, зажав в пальцах скользкое яблочное зернышко, прицелился и пульнул им прямо ей в лицо.

— Попал, попал! Значит, пойдешь за меня!

Сухви вскочила на ноги, размахнулась. Яблоко, прощуршав в зарослях глухой крапивы, с шумом ударилось о землю.

— Вот и все, — не то со злостью, не то с сожалением произнесла она и опрометью бросилась к калитке.

— Постой! — крикнул Санька и хотел было бежать следом, но раздумал — к чему? Весь день девушка вела себя странно: то доверчиво, как со старым, добрым другом, то вот так, как сейчас, — обиделась, разозлилась неизвестно за что. Может, она и вовсе не такая, какой кажется? Отвык, видно, он за все эти годы от деревенских нравов, деревенских обычаев.

Санька постоял еще немного, потом вышел через двор на улицу. Окна в доме так и не засветились: должно быть, Сухви тихонько прошмыгнула в спальню, никого не разбудив.

Звездное небо заволакивала темная дождевая туча. Беспечно напевая, Санька пошел домой. Какой все-таки хороший выдался сегодня день, как славно погуляли они

в лесу! Правда, под конец получилось не совсем ладно, но все обойдется, и они с девушкой помирятся. Собственно говоря, и ссоры-то не было. Что на нее нашло? А, не стоит придавать значения! Глупо с первых же шагов устраивать друг другу сцены. Может, не стоило заикаться о ярмарке, дразнить женихом? Распустил хвост, о музыке что-то плел. А надо было вести себя проще, так, как хотелось: обнять, поцеловать, дотронуться до этих дивных волос.

В общем-то Санька был парнем порядочным, мечтателем и идеалистом, и Сухви, действительно, казалась ему нишкараком — чистым, целомудренным цветком. Поэтому вольные мысли о ней показались юноше оскорбительными, и он тут же пристыдил себя за них.

Ночью Саньку мучила бессонница, он сел было за стол, чтобы поработать, но тема не давалась, ускользала. Промучившись до рассвета, он так и не сумел прибавить к тому, что уже записалось вчера, ни ноты. И все из-за нее, из-за Сухви. Мало было того, что девчонка взбрыкнула, как взбалмошная коза, убежала, не сказав на прощание ни слова, так еще этот Меркурий. Он, видно, поджидал его возвращения, сидя на лавочке возле дома.

— Согласны они, — огорошил ничего не подозревавшего Саньку.

— Кто согласен? На что согласен?

— Да родня. Сватов засылай, и все тут. Считай, мы с тобой на смотринах давеча были. Ставь магарыч свату.

— Так это ты сват? — возмутился Санька. — Жаль, что тогда не догадался, а то бы показал тебе «свата»!

— Мать! — крикнул, влетая в избу, Санька — Что же это такое получается? Значит, мать, ты всерьез? Отправила меня проведать, а сама... Да еще этого шута горохового подослала? Зачем? Как так можно? Жениться... Что я, по-твоему, тракторист или скотник какой-то? Что я, по-твоему, колхозник, буду в этой глуши жить? А Сухви? Что мне с ней делать в городе? Да ее еще учить и учить надо, она же еще совсем дикая! Нехорошо получилось. Думал, приеду, поработаю... Теперь надо отсюда мотать, да поскорее.

Тетушка Хветли заплакала, утирая слезы концом головного платка, — хотела как лучше, а вышло — сына из дома до срока выжила.

«Уй, старая да глупая я»,—горестно качала головой расстроенная старушка.

Саньке стало больно и стыдно, он тихонько дотронулся до материнской руки, погладил тонкую морщинистую кожу:

— Не надо, мама, прости меня.

— Не уедешь, сынок?

— Утро вечера мудренее,—уклонился он от прямого ответа.

А утром созрело окончательное решение: нет, уеду все-таки. Не пишется, не ладится ничего, зачем время зря терять?

К утру старый вяз под окном вздрогнул пушистой листвою, проснулся, потянулся, зашелестел дробными листочками, по железной крыше заплясали веселые, долгожданные дождевые капли.

Санька, собравшийся было в дорогу, выглянул на улицу—дождь всюду молотил по закаменевшей от засухи земле, быстро образуя лужи с большими прозрачными пузырями—значит, ненадолго, скоро пройдет. Но, против ожидания, непогода затягивалась: ливень на время ослабевал, потом принимался лупить с еще большей силой.

Мать, пригорюнившись, сидела на лавке, смотрела, как хмурый, неразговорчивый сын то и дело выходит на крыльцо и опять возвращается.

— Оставайся, сынок, чего уж там, все равно никуда не уедешь! Такая мокрядь... А вдруг как попутки не окажутся? Заболеешь, горло застудишь...

— Сама виновата. Что мне теперь делать, как девушке в глаза смотреть?

— Я ничего худого не желала. Вот послушай меня и рассуди здраво. Ты же ученый человек, должен понять. Обидно никому я не сделала, ни тебе, ни ей. Скажи правду, разве не нравится девка? Разве плохая? Некрасивая? Нескромная?

— Красивая, скромная, хорошая.

— Вот. Чего еще надо? Женись.

— Откуда ты знаешь, что я этого хочу?

— Неужели холостым хочешь остаться?

— Нет, конечно, но... Сваты какие-то, смотрины. Чушь!

— Нет, не чушь. Обычай у нас такой, городским, может, и странный, но веками держится. Не только у нас—

везде так, может, чуточку по-другому, какая беда. Обычай хороший — чтобы семья была крепче. Плохо ли? Вся деревня соберется на свадьбу, и не только своя — из всех ближайших деревень люди придут порадоваться на молодое счастье. От молодых будет зависеть, смогут ли сохранить его.

Если свадьбу играли принародно, если принимали подарки и поздравления, не так-то просто порушить новую семью из-за плохого характера да капризов. Иной раз только и остановит, утихомирит мысль: как же я людям в глаза посмотрю? А те, что женятся на стороне, без родных и свидетелей? Сегодня он женат — завтра развелся, никто не видел, никто не слышал, женись заново.

Нет, сынок, так плохо начинать жить. Чует мое сердце, что нет у тебя в городе девушки, свободен ты. Чего же надо? Лучше Сухви не найти. Родные согласны. Почему на Меркурия налетел? Он хоть и болтливый мужичишка, но свое дело знает. Никто не обиделся: Празук-инге уважает обычай, и Сухви не стыдится старого. Уж такой разумной в наше время не сыщешь. Что раздумывать? Разве у городских, что долго женихаются, присматриваются друг к другу, а иные и до свадьбы не соблюдают себя, прочнее браки? Нет, что-то не слыхивала такого. Малоознакомая тебе, говоришь? Да ты же ее полюбил! И она тебя. От наших материнских глаз что скроешь?

— Скроешь тут, как же...—неожиданно для самого себя Санька начал понемногу уступать. Ночные беспокойные мысли, досада на себя, на Сухви, на мать, на Меркурия показались просто дурным настроением, мальчишеством, да и мать стало жалко. Ждала сына целых два года, и на тебе — обиделся: не угодила, видите ли, ему!

«Болван,—мысленно обругал себя Санька,—приду-рок».

— Но все-таки, мама, давай обождем. А?

— Чего ждать-то? — обрадовалась Хветли-инге, видя, что сын начал поддаваться. — Некогда, до ярмарки осталось всего ничего, едва поспеем!

— Делай как знаешь,—обреченно махнул рукой Санька.

— Сами вы друг с другом и за три года не столкуетесь, все будете ссориться да мириться.

«И это знает,—удивился про себя новоиспеченный жених,—правда, что это я ломаюсь? Ведь пока не уговаривали, пока не вмешивались, сам готов был в мужья напроситься. Разве не напрашивался? Вон ведь что успел ей

наговорить и про ярмарку, и про жениха, и про учебу. Хорош гусь,—мысленно упрекнул себя Санька,—наплел девушке с три короба, и в кусты? Нет, голубчик, назвался груздем — полезай в кузов!»

А мать продолжала подливать масла в огонь:

— Девушка росла, уважая деревенский обычай. Ты уж ее не срами. Думаешь, не знаю, где ты целый день пробегал? И я знаю, и Празук-инге знает. Вся деревня знает.

«Права была Сухви, надо было ее послушаться, не тащить в лес. А что, собственно, плохого сделал? Не обижал, не оскорблял ни словом, ни поступком. Выходит, погулял и сразу же женись?»

Санька устал от бесконечных споров с самим собой: будь что будет! Если судьба так сурово предъявила на него свои права, то он согласен. Кто знает, может, все и произойдет, как вырвалось невзначай, как подсказало сердце: «Звездочкой будет гореть моя Сухви?»

— А дождь-то перестал,—сказала тетушка Хветли, приподнимаясь с лавки.

Санька выглянул в окно. Тучи рассеялись. Высоко в небе кружились ласточки. Из-под навеса стайкой высыпали цыплята и, осторожно задирая желтые лапки, побежали по мокрой траве.

7

В дом к невесте решили идти вчетвером: Санька, его старинный дружок Венька, Меркурий и тетушка Хветли.

Смеркалось, когда они вошли во двор Празук-инге.

— Вы чего как куры, — весело спросил Меркурий, входя в полутемную кухню, — в такую рань улеглись?

— Кто там? — слышалось с печки.

— Слезай, кинем, нас много — всех разом не угадаешь.

— Никак опять ты?

— Я, я, он самый: ни себе, ни людям покоя не даю! Без меня, поди, вся деревня бы спала — не просыпалась. А еще говорят: мол, Меркурий лодырь. Без такого лодыря вы бы все тиной заросли, как старый пруд! Правду говорю, ученый человек?

Гости неловко мялись у порога, хозяйка не торопилась спускаться. Болтал один только сват, и как сейчас был ему благодарен за это жених!

Еще когда только они двинулись всей гурьбой к дому Сухви, у Саньки засосало под ложечкой, и это сосущее чувство то ли страха, то ли непонятной, необъяснимой радости не отпускало до сих пор.

«Скорей бы началось,—думал он смятенно,—прогнала бы нас строгая кинем, что ли?»

Мать стояла рядом, тихая как мышь.

«Ага,—злорадно подумал Санька,—тоже боишься?»

Наконец, грузно опускаясь на последнюю ступеньку, Празук-инге удостоила соседей ответом:

— Свет экономим, чего зря гореть! Привыкли мы, старые люди, с керосиновой лампой жить. А ее, если помнишь, и керосином надо было заправлять, и стекло чистить, и за фитилем следить, чтобы не коптил...

— Чего долго рассказывать, я хоть и молодой, да приметливый, запомнил с ранних лет.

— Тебе, поди, «молоденький», к четвертому десятку за половину перешло?

— Что мои годы считать?

— А то удивительно, что ты так бобылем и остался.

— Бобыль — дело сурьезное, не всякому по силе. Об своей судьбе забыл, чужие налаживая.

— Вот-вот,—не унималась хозяйка,—кто рубашку вышивает, а кто и поглядывает, со стороны нахваливает. Нет чтобы самому иголку с ниткой взять.

— Ты меня, уважаемая Празук, не коли больно-то своей «иголкой», про твое «вышивание» мы знаем. Собирай на стол да гостей угощай.

— Мы вроде гостей не звали.

— От вас дожدهшься, как летом мороза, так зимой жары.

— Кто это здесь расшумелся?—спросил Степан, выходя из сеней.

— Меркурий-сват. Помоги, браток, четверть-то все руки оттянула, боюсь уроню.

— Эта помощь по нашим силам,—брат Сухви щелкнул выключателем,—эге, да вас тут целая бригада,—протянул он, удивленно щурясь на гостей.—Чего стоите? Проходите, садитесь. Мать. Аннушка, что вы копаетесь, не видите — люди пришли.

— Вижу, не командуй, разберемся сами.

— Да они с караваем,—Степан покрутил головой,—надо же! Еще вечер, кажись, сопливой девчонкой по избе ползала, а тут уж и сватать пришли.

— Не видел сестры? — спросила Празук-инге.

— Сейчас прибежит, с девочками на улице стоит.

Хозяйка молча опустила на лавку, скрестила на груди руки. Усаживала гостей за стол, хлопотала по дому одна Аннушка. Она то и дело поглядывала на Саньку, улыбалась ему, словно говорила глазами: «Не бойся».

— Не знаю, что и сказать вам, — начала тетушка Празук, — давеча, как Меркурий ушел, я все думала, все думала. Не хотела Сухви в этом году замуж выдавать. И одежды у нее маловато. Не шили, не покупали. Выйдет ли дело? У него в городе, может, невеста есть? Может, и жена? Сколько красивых девушек видел, зачем ему на простой колхознице жениться? Он мою Сухви и до города не довезет, бросит, побоится, что товарищи засмеют.

С первых же слов этой суровой старухи, с неласковыми глазами и степенной речью, Санька почувствовал, как в нем закипает злость: мало того что мать чуть ли не силой вытащила его из дома, мало этого придурка Меркурия... Невесты что плетет, неизвестно в чем упрекает и подозревает. Но нечего делать, придется молчать и терпеть. Теперь уже ему ни за что не хотелось бросать начатого сватовства — назло этой ведьме. Ишь какая премудрая, много она понимает! Что он мальчик, чтобы им играли, как волейбольным мячом: то женись, то не женись? Неужели и Сухви начнет выламываться? Что за семья? Один Степан — человек как человек.

А Празук-инге продолжала:

— Дочка моя не в пример нынешним девкам, она при мне растет, из-под воли материнской не выходит. Деревенской кашей кормлена, деревенским молоком поена, а ну в городе застрянет у нее в горле костью «культурная» жизнь? Кому там нужен полевой цветок, коли розы есть?

«И про цветок и про розы ввернула, эка ведь!»

Но и сват Меркурий не дремал, тут же выставил свою «защиту».

— Уж очень ты остерегаешься, кинем.

— И-и, сынок, теперь даже мышшь палку в лапы берет, — нашлась та.

— Так мышшь пусть и берет, чего ты-то хватаешься? Если они сами между собой поладят, не наше дело. Захочет невеста — пойдет замуж; не захочет, кто приневолит? Так ведь, Сухви, — обратился Меркурий к девушке, которая то-

лько что вошла и в растерянности остановилась посредине комнаты,—что молчишь?

Молодая хозяйка, не отвечая ни слова, подошла к печке, прислонилась к ней спиной.

— Ну как, начнем четверть? — торопил сват.

— Право, не знаю,—откликнулась неуверенно мать,— за односельчанина хотела выдать, чтобы не уезжала далеко.

— Какое «далеко»,—вступился Степан,—теперь все близко: села на поезд — и дома.

— Без свадьбы девку не отпускаю.

— Об этом и речи нет. Ну, невеста, говори скорей, а то прокиснет наша выпивка.

Санька впился глазами в смущенное девичье лицо. До чего ему жалко было ее, смотрит как загнанный зверек, глаза огромные, печальные. Вспомнился вдруг сон. Те же глаза он видел — та же печаль, те же слезы блестели на ресницах.

«Что они ее мучают? И чего хорошего находит мать в старинном обычае? Разве можно напоказ выставлять то, что сокровенно таится в глубине сердца? Это же просто насилие, издевательство. Скажи им хоть что-нибудь,—молил Санька в душе,—только скорей, сил больше нет смотреть на все это!»

Вместо ответа она, зябко поводя плечами, тихонько прошла мимо стола, отворила дверь и вышла.

— С норовом козочка! — проговорил Меркурий. — Придется потерпеть, бутылку без ее согласия нельзя починать. За что только бабы мужиков тиранят? Хоть молодые, хоть старые, хоть совсем девчонки?..

После ухода Сухви в избе повисло напряженное молчание. Санька не знал, как ведут себя в таких случаях, мать присмирела, Венька тоже сидел как на иголках. Празук-инге хранила на лице невозмутимый покой каменного идола, только Степан с Меркурием посмеивались и о чем-то тихо шептались.

Наконец первым не выдержал жених, поднялся со стула.

«Надо же,—подумал с досадой,—второй раз такая оказия. Все я за ней бегаю, но нельзя же оставить девчонку без поддержки».

Кажется, он все-таки поступил правильно, по обычаю: Празук-инге слегка улыбнулась, и мать, чувствуется, воспрянула духом. Степан же с Меркурием хитро перегля-

нулись, залились смехом: мол, сейчас он все уладит, молодой да скорый!

На улице совсем стемнело. Санька едва различал ступеньки. Не сразу увидел девушку, прошептал:

— Нишкурак, где ты?

— Здесь, — тихонько откликнулась Сухви.

Она, оказывается, была совсем рядом. В темноте его руки отыскивали узкие плечи.

— Ты плачешь? А ну, покажи глаза.

— Темно, не увидишь.

— Увижу, они такие большие. Ты прости, нехорошо получилось.

— Что нехорошо?

— Ну, весь этот спектакль.

— Ты не хотел?

— Да я не про то — «хотел», «не хотел». Просто жалко тебя стало.

— А себя?

— В том-то и дело, что и себя тоже.

Произнеся последние слова, Санька сам удивился — похоже, это на самом деле так, все, что происходило в избе, вдруг сблизило их, породнило. Нисколько не смущаясь, смело, по праву, Санька крепко обнял девушку, прижал к груди. Сухви замерла, прижимаясь к нему: доверчиво, словно обиженный ребенок, ища защиты.

— Маленькая моя девочка... Любишь меня?

— Пошли в избу, там ждут, — вместо ответа прошептала девушка.

— Пусть подождут, никуда не денутся.

В эти минуты Саньке просто невыносимо было думать о том, как они окажутся сейчас под обстрелом любопытных глаз, которые будут всматриваться в их лица, гадать, что произошло, о чем говорили...

— У пруда, наверно, сейчас очень красиво, — прошептала девушка.

— Хорошо, — вздохнул Санька, выпуская Сухви из объятий, — пусть будет по-твоему, пошли.

Луна неожиданно выплыла из-за туч, словно решила принять участие в делах влюбленных. Яркий лунный свет озарил деревню, каждую тропочку, каждый куст отразился на темной, почти черной воде. Просеянный сквозь густое решето ветвей, он весело запрыгал по мелкой волне, рассыпаясь тысячами серебристых бликов.

Они долго стояли на берегу, безмолвно, обнявшись,

предчувствуя будущее, которое вот-вот должно было обрушиться огромным небывалым счастьем. Санька уже больше ни в чем не сомневался: нежный, душистый цветок, его музыка, его радость — с ним.

— Мы будем счастливы с тобой, поверь мне. Будем. Ну, что ты молчишь, Сухви?

Ему так и не удалось расслышать ее ответа, потому что где-то рядом раздался знакомый звук.

«Опять! — смятенно подумал Санька. — Опять этот кнут...»

Сухви, вздрогнув, отодвинулась.

На темной поверхности пруда отразилась чья-то громадная несуразная тень.

— Телку не видели? — спросила тень глухим, будто неживым голосом.

— Не видели, не видели! — зло отозвался Санька. — Бродят тут всякие лунатики по ночам, покоя людям не дают. Кто это?

— Кузьма из Панклеев. Каждый день встречаемся: он пасет на своей стороне, я — на своей. Когда чей-нибудь скот переходит на чужой берег, мы кнутами даем знак.

— От стада отбилась, проклятая, весь вечер ищу, — пожаловался пастух.

Не получив сочувствия, Кузьма побрел дальше, волоча по траве длинное кнутовище.

— Пронесло, — облегченно вздохнул Санька, пытаясь вновь обнять девушку, но она холодно отстранилась, прислушиваясь. Где-то в начале деревни вновь раздался оглушительный щелчок, разорвав тишину, прокатился к Шиншинскому оврагу, грянул еще раз на лугу за Сормой и, страдальчески ахнув, окончательно затих.

Тогда Сухви наконец подняла голову и посмотрела на жениха странным взглядом.

— Ты чего? — не понял Санька.

— Спросить хочу... Долго ты привыкал в городе?

— В городе долго привыкать не дадут, надо сразу включаться. Знаешь поговорку: «Пан или пропал»? Специально для города придумана.

— Не самостоятельный какой-то ты, Саня. Все шутишь как маленький.

— Не шучу, Сухви, — весело! Знаешь, как только вошел в деревню, так и переменялся — все время под кайфом.

— Под чем?

— Ну, скажем, под хмельком. Хорошо, одним словом. Тебя встретил, женюсь. Как во сне, не верится даже.

— И мне не верится, только мне не весело, а грустно...

— Говорят, все невесты плачут. Не обращай внимания. Сейчас нас с тобой засватают, погуляем на ярмарке, потом я съезжу в город на пару деньков, приеду — и свадьба, — развивал Санька планы. — А сейчас пошли домой. Этот чертов Кузьма и так настроение испортил: чтоб ему провалиться, чумазому, со своим кнутом...

— Я думала, что ты добрый, — протянула Сухви, — разве тебе не жалко парня? Всю ночь, поди, промается.

— Такая у человека должность, каждому свое: один ищет, другой находит. Меркурий небось извелся весь, глядячи на дверь.

Теперь Саньке, наоборот, поскорее хотелось вернуться в избу и завершить сватовство, его официальную часть: Сухви не будет больше так мучительно молчать, а он цепенеть от неловкости и смущения.

— Ну, девка, можно начинать четверть? — Меркурий вышел из-за стола, испытующе окинул парочку своими черными пронзительными глазами.

Тоненькая фигурка невесты, застывшая на пороге, рядом с крепким, плечистым Санькой, стоявшим за ее спиной, казалась еще тоньше, еще воздушней.

Сухви ответила так тихо, что ее едва расслышали из-за хриплого тиканья старых стенных часов.

8

Овцы, изнуренные зноем, сбились в кучу на берегу реки и лениво щипали редкую траву. Разморенные жарой пастушки боролись с одуряющей сонливостью.

Даже стоявшая на пригорке развесистая ветла дремала, лениво, нехотя сопротивляясь наскокам слабого ветерка, который тоже, словно в полусне, играл с ее тонкими длинными листочками. Кое-где листья уже успели пожелтеть и, как ослепшие птицы, без труда слетали с веток, чтобы навсегда уснуть, успокоиться на земле.

У Сухви сегодня напарницей тетка Варвара, пожилая женщина с добрым рыхлым лицом. Она смотрит, как девушка идет по лугу, держа на руках белого ягненка, отбившегося от стада.

— Поймала? — спрашивает сонно. — Ишь ведь! И охота по такому пеклу бегать?..

— Маленький! — Сухви нежно гладит мягкую, тонкую шерстку. — Иди к мамке.

Ягненок, спущенный с рук, с тихим блеяньем спешит к дойной овце, тычется в бок, ищет сосок.

Сухви садится рядом с напарницей, с сожалением смотрит на Оккаев овраг. Там когда-то был родник, да высох. «Большая вода» — говорят про него в деревне. Внимательный взгляд скользит вдоль берега. На повороте обычно стоит цапля. Упираясь одной ногой в каменистое дно, птица неподвижно застывает над речной стремниной. Временами она с молниеносной быстротой окунает в воду длинный острый нос, задирает голову, проглатывает пойманную рыбешку. Цапля привыкла к пастухам. Если подойдешь близко, взлетит, сделает два-три широких взмаха и снова садится на воду. Сегодня почему-то цапли не видать...

На противоположном берегу бесчисленные отверстия: там гнездятся стрижи, а на пригорке, под кустом можжевельника, еще совсем недавно жила перепелка со своим выводком. Жаль, что это место распахали.

Родные места, родные картины — как привыкла к ним Сухви! Как любит эти луга, особенно летними утрами, на рассвете, когда трава блестит крупной, сверкающей на солнце росой...

Неужели она больше никогда не вернется сюда, не увидит цаплю, не услышит жалобного крика чибиса, ищущего свое гнездо? Покинет речку Сорму, стадо, расстанется навек с доброй теткой Варварой?

Что ожидает впереди? Каким окажется ее суженый? Непростой парень — сын Хветли-инге, и любит она его так, что и сказать нельзя. Самый красивый, самый умный... Только почему же ей так грустно? Чего-то не хватает, не нравится в женихе, а чего — Сухви и сама не знает, не может объяснить, словно что-то стоит между ними.

«Если бы у меня было столько слов, как у Сани, — думает девушка, — я бы смогла поделиться переживаниями, а то все молчу или донимаю его дурацкими вопросами. Он думает — обижаюсь. А я на себя злюсь».

У Сухви не выходит из головы тот случай с яблоком. Она вырастила деревце из семечка, потом сама привила на него новый сорт «ранет полосатый» — такой яблони ни у

кого во всей деревне больше не было. Когда в этом году появились первые яблоки, а их уродилось всего два, Сухви решила: как засватают, сорвет яблоки: одно — ему, другое — себе. Ей казалось, что Санька сразу же поймет: яблоко, которым она его угостила, — «заветное». «Почему же он не понял? Про случайную песню, что ветер донес, знает, а про самое главное не догадался...»

— Иди обедать, — зовет тетка Варвара.

— Не буду, — отвечает девушка, прикрывая колени подолом ситцевого платья.

— Как посватали тебя, так и есть перестала? Когда свадьба-то?

— Послезавтра. Он в город уехал. Хотел на ярмарке сначала погулять, да зачем-то его призвали.

— У меня чалбаш-овцу¹ выбирай, какая приглянется.

Сухви неожиданно обняла напарницу за широкую пухлую талию:

— Варвара-инге, скажи, ты любила? Была счастлива?

— Кто не любил в молодости? Любила... Только наша любовь не была такой, о какой в сказке говорится.

— А в сказке какая?

— Послушай, если хочешь. — Варвара-инге присела на бугорок, расправила линиялый, выгоревший на солнце фартук. — Посылает свекор молодую сноху поймать на лугу коня. Говорит: «Смотри, голос подавай издали, а подойдешь — ни гугу, иначе испугнешь». Хорошо, пошла молодуха. Идет степью и кричит громко. Смотрит, конь лежит на траве. Сноха тут же и замолчала, подходит тихонько, дергает за узду, конь не двигается. Что такое? Начала молодуха его понукать, ногами пинать, кричать грубым голосом, а он — ни с места. Разозлилась пуще прежнего, давай хлыстать по бокам, тут конь повалился на спину, ноги задрал. «Отчего это он подох?» — думает молодуха. Глядь, стоит на белых крыльях, изломала их все, испачкала грязью. Конь-то, оказывается, был крылатым.

— Старики, бывало, говорили, — продолжала Варвара-инге, — кто эту сказку поймет, тот своего счастья не загубит. Я своему коню, как глупая сноха, тоже на крылья наступила. Муж мой хороший был, городской и, поди, такой же ученый, как Санька. Привез к себе. Поначалу все по-

¹ Чалбаш-овца — овца, выбранная специально для свадебного стола.

лучалось у нас: с хозяйством городским я быстро справилась, научилась по магазинам бегать, варить по-ихнему, и в доме все блестело. Муж хвалил, не обижал. Только вот повадились к нему гости ходить, тоже люди ученые, на первый взгляд — степенные, вежливые, обходительные. Да вот что я тебе скажу, девка, не верь словам. Есть такие в городе: одно — в глаза, другое — за глаза. Я для мужних приятелей старалась вовсю. Они у нас часто гостевали, про что-то говорили, спорили, но не ссорились никогда. Я еще про себя удивлялась: «Ишь как шумно, но ни рук, ни языка не распускают, не ругнулись ни разу черным словом». Мужу с ними весело — промеж нас никаких умных разговоров не велось, я и рада была случаю — пусть побеседует, отведет душу. Но вот однажды случилось нехорошее. Как-то слышу разговор тихий, словно от меня скрываются: мой сказал — я не расслышала, зато голос его знакомого так меня к месту и пригвоздил. «Хорошим людям, — говорит, — всегда жены плохие достаются. И зачем ты на этой женился, тупа как пробка».

Сказка мудрая про сноху и крылатого коня мне еще в ту пору была неизвестна, да если бы я ее и знала, то в тот момент горячий вряд ли стала рассуждать, хорошо ли, ладно поступаю. Мужу своему и гостю зловредному все высказала по-нашему, по-деревенскому, не стесняясь, всякими словами обозвала да и уехала домой. Первое время ждала, что приедет мой Николай, заберет назад, но... Поломала я, видно, коню крылатому белые крылья: осталась одна. Двадцать лет прошло.

Неожиданно Сухви уронила голову на руки и громко расплакалась.

— Уй, глупая я баба, — всколыхнулась всем своим плотным телом Варвара. — Ты мою судьбу, дочка, не принимай близко к сердцу. Мало что с кем случается. Не плачь, милая, у тебя все будет по-другому! Санька наш, деревенский, в обиду не даст.

— Боюсь я, тетенька, сердце замирает.

— Разве что случилось?

— Ничего, — всхлипнула Сухви, — только не знаю, пойду ли за него...

— Да ты что? — испугалась Варвара. — Дело-то уже слажено! И Празук-инге согласилась. Ты, гляди, не расстраивай родню.

— Мне жить, а не матери.

...За рекой трижды шелкнули кнутом. Сухви встрепенулась.

— Беги, дочка, ты помоложе. Опять никак наши овечки в Кузькино стадо сиганули.

Девушка опрометью бросилась к Сорме. Пастух уже успел отогнать настырную скотину, но Сухви почему-то перешла речку вброд, вышла на берег и о чем-то долго разговаривала с парнем.

Тетка Варвара удивилась про себя: никогда раньше не бывало такого. За все лето, встречаясь чуть ли не каждый день, Сухви не обмолвилась с пастухом ни единым словом.

9

Первый день ярмарки, как нарочно, выдался солнечный, но не жаркий. Посвежевшие липы встряхнули пышные, тяжелые от обильного цвета кроны, распространяя на всю окрестность сладкий медвяный запах.

Все деревеньки, растянувшиеся вдоль берегов Сормы, заволновались, выплескивая нарядные потоки праздничного люда на дорогу, ведущую в Чувашское Сормово.

...В три часа дня городской автобус остановился на опушке леса Куганар, из него торопливо выскочил единственный пассажир — Санька. И хотя он очень спешил, но, оказавшись в родных местах, как и неделю назад, не смог побороть первого желания — остановиться, полюбоваться этой благодатью.

После душного пыльного города, после запаха горячего асфальта, едкого бензина лесные ароматы кружили голову. Вот и заветная тропка, по которой он недавно спешил домой, вот и тот бугор, с которого он заметил тогда Сухви, пасущую стадо. Как хорошо, как привольно кругом! Когда они поженятся, бывать дома придется почаще: Сухви небось скучать начнет по деревне.

Никогда еще он не был так счастлив, как после того памятного вечера, когда она сказала «да».

«Сухви... Сухви моя... Да я сделаю для тебя все, чтобы тебе было хорошо со мной!»

Правда, повторяя про себя все эти слова, парень не вполне отчетливо представлял, что их ожидает. «Конечно, — думал он, — она не сразу привыкнет, и с учебой, и с музыкой пока одни мечты. Ну, если не выйдет, пусть живет у матери, я после гастролей буду навещать ее. А там,

пожалуй, когда постарею и «выйду в тираж», займусь преподавательской работой, перевезу ее в город, к тому времени народятся у нас дети... То-то обрадуется старушка мать внукам! Она любит Сухви как родную дочь».

Когда стояли мы с тобой,
Плечо плеча касалось... —

запел Санька во весь голос.

Лес ревниво схоронил песню, пряча звонкий напев в своих девственных, заповедных пущах. В поле песня разлилась широко и привольно, ветер подхватил и понес вдаль, радуясь как щедрому подарку:

Ты не скрывай счастливых глаз
И не гаси улыбки.

Гороховое поле. Стручки уже спели, налились, но среди спелых нет-нет да и мелькнет бабочкой розовый поздний цветок. Растянуться бы здесь, среди тишины и простора, под ярким теплым солнцем, поваляться, как беззаботный жеребенок-стригунок.

Вот и ветряная мельница, крытый ток, деревня.

Ветер парусом надувал тонкую нейлоновую куртку. Словно чье-то нежное дыхание пахнуло в лицо.

10

Дома Саня надел свою любимую рубашку с чувашской вышивкой, белые брюки.

— Долго не задерживайся,—попросила мать.— Когда народ начнет расходиться с ярмарки, поедem за невестой. Меркурий с утра ушел искать тарантас. И жеребца Айгира сегодня никому не дали, самим пригодится.

— А зачем тарантас? — удивился сын.

— Аль забыл? Неужто Сухви пешком поведешь? Срам какой! Пусть будет все как у людей. Вся деревня готовится. И пиво почти у каждого припасено.

— Не спорю, не спорю. Ты у меня главный министр!

— Сухви, как увидишь, пряниками угости, на карусели покатай — девки это любят.

— Господи,—рассмеялся Санька,—куда я попал, в какой век? На карусели катать, пряниками угощать. Провинция!

— Что? — не поняла Хветли-ниге.

— Да ничего, ничего,—успокоил ее Санька.

— Ты уж иди, иди, нечего над матерью шутить.

— До чего же вы у меня обидчивые, хоть ты, хоть Сухви...

На улице ни души.

И стадо сегодня уже давно пригнали. Куда ни глянешь — на завалинках, в тени домов и деревьев — всюду скотина: овцы, козы, коровы.

У околицы, над плетнем, зернистыми петушиными гребнями алели гроздьи бузины.

Саня прошел через полевые ворота, вышел за деревенскую ограду и быстро зашагал напрямик, через луга, к Чувашскому Сормову.

...Никто не может понять, даже самые старые, мудрые старики и те затрудняются объяснить, почему на Сорминскую ярмарку обязательно идет дождь. В этом году, казалось, не оправдывается верная примета: день начинался при безоблачном небе, но, когда Саня подходил к селу, солнце внезапно закрыла туча.

Народу на ярмарке было видимо-невидимо. Парни и девушки, взявшись под руки по шесть-семь человек, заполнили главную площадь, вылились на улицы, растеклись на километры по окрестным лугам.

Санька уже отвык от этого зрелища и во все глаза смотрел на яркие национальные наряды, старинные украшения. Особенное восхищение вызвали у него чувашивирьялы, их уборы, их лица, а главное, горделивая походка — настоящие кавказцы!

Любуясь праздником, Санька не переставал думать о ней, своей невесте. Где Сухви, как можно найти ее среди такой толпы? Правда, он уже налетел на двух старых знакомых, музыкантов, которые специально приехали в Чувашское Сормово ощутить, как они выразились, «национальный колорит», но ему тут же захотелось от них отделаться: приятели дымили сигаретами, снисходительно посмеивались.

— Ты ведь здешний, — обратились они к Саньке, — познакомь нас с какой-нибудь красавицей.

— Некогда, некогда, — отмахивался он, а сам озирался по сторонам: где же все-таки нареченная? Неужели не встретит? Мать велела вернуться после ярмарки, он и так задержался из-за автобуса, сейчас, наверно, уже около пяти. И тут он увидел Сухви. До чего красива! Ну нет, честное слово, нет на всей ярмарке лучшей девушки. Даже горожане заметили:

— Вот с этой познакомь!
— Сухви!
— Ты здесь? Уже вернулся?
— Иди к нам. Это наши ребята.
Девушка потупила глаза.

— Нет, вы посмотрите — она покраснела... Где еще в наше время, кроме Чувашии, девушки не разучились краснеть? — и парни загоготали.

— Идиоты, — зло выдохнул Санька, — она моя невеста! — и ринулся к девушке, но внезапно живая цепь оттеснила его в сторону, увлекая за собой и Сухви.

Потом он долго искал ее по всей ярмарке. Праздник померк в глазах, ничего больше не радовало. Грустный, убитый Санька слонялся мимо передвижных лавок, где на грузовых машинах продавалась всякая всячина, мимо торговцев яблоками, семечками, орехами. На всякий случай купил пряников, но Сухви пропала, как иголка в сене.

И тут грянул ливень. С веселым визгом девчата бросились врассыпную, стараясь сберечь от дождя свои наряды. Одна из них даже сняла туфли и бежала босиком. Вскоре на площади не осталось ни одного уголка, где бы можно было укрыться от дождевых потоков.

Санька взбежал на крыльцо склада-амбара ближайшего магазина. Его окружила плотная стайка мокрых девчат. Смех, шутки, одергивание прилипших платьев.

Дождь прошел так же быстро, как и начался, однако никто не расходился, осторожные красавицы дожидались, когда дождевая туча окончательно покинет начавшее голубеть небо.

Санька собирался было спрыгнуть с крыльца, но был остановлен, прижат к стене внезапно взволновавшейся толпой. С веселым визгом девчата отпрянули от тарантаса, появившегося невесть откуда. Три дюжих парня соскочили на землю и, посоветовавшись, кинулись к амбару.

Серый жеребец, словно обутый в белые, до колен чулки, приплясывал от нетерпения, екал селезенкой.

Какая-то девушка, оступившись, чуть не свалилась на Саньку. Со спины он не узнал ее, а когда та обернулась, ахнул — Сухви! Очевидно, и она растерялась.

— Я тебя везде ищу. Где ты пропадала?

Лицо девушки было таким, что Санька на секунду замер, не в силах отвести взгляда от ее измученных, полных

слез глаз. Мокрые ресницы дрожали, и посиневшие губы, казалось, силились что-то сказать.

Вдруг кто-то дернул ее за руку, девушка покачнулась, но ей не дали упасть. Один из парней, подкативший на тарантасе, ловко поднял Сухви на руки, быстро подбежал к лошади и опустил свою ношу на дно повозки.

Тарантас рванул с места, лошадь понеслась, народ раступился, уступая дорогу. Отовсюду слышались крики: «Девушку крадут! Девушку крадут!»

Он не помнил, как соскочил с крыльца, кажется, кого-то опрокинул, кого-то обругал, больно ударился о чью-то голову.

Саня бежал что есть мочи, тарантас уже близко, из-под колес летят комья грязи. Вот он уже почти коснулся края повозки, сейчас схватится за чье-то плечо, впрыгнет и отобьет у негодяев свою Сухви... Он в кровь ободрал руки, цепляясь за колесо, но все равно не остановился. Сильный удар сбил его с ног. Лежа на дороге, он увидел над собой склоненную фигуру одного из похитителей и вскочил на ноги.

Их окружили люди, растащили. Санька услышал, как парень сказал, обращаясь к толпе: «Не его дело, с девушкой было договорено».

А тарантаса уже не было в селе, лошадь во весь опор скакала по полю, унося похищенную невесту в сторону Панклеев.

11

Всю ночь лил дождь, по-осеннему затяжной и холодный.

Хветли-инге растопила очаг, но ветер погнал дым обратно в трубу, и изба наполнилась едким смрадом. То ли от дыма, то ли от горя слезятся старые глаза. Она чуть не умерла, когда увидела сына, несчастного, грязного, с оторванным рукавом. Упав на лавку, Санька заплакал, как ребенок.

— Что случилось, сынок?

— Зачем? Зачем она так?

— Уй, не томи душу, где был, с кем дрался?

Но Санька не сразу успокоился, не сразу смог рассказать матери, как на его глазах украли Сухви. Он бил себя по голове и стонал:

— Так тебе и надо, дурак... Объясни мне свои хвале-

ные обычаи, мать. Разве это хорошо, порядочно так поступать с человеком?

Хветли-инге вдруг глубинным материнским чувством поняла, что в сыне больше говорит оскорбленное самолюбие, чем несчастная любовь, что сердечная рана несмертельна.

— Плохо, конечно, она поступила, но на ней одной свет клином не сошелся, найдется другая.

— Никто мне не нужен, запомни, и не лезь больше не в свое дело.

Вернулась с праздника сестренка Енюк.

— Не знаешь, кто украл Сухви? — спросила ее мать.

— Кузьма.

— Который? Уж не пастух ли?

— Угадала, он.

— Какой позор! — охнул Санька, обхватив руками голову. — Какой позор! Этот, чумазый, с кнутом...

— Не горюй, сынок, может, ты сам наступил коню на крылья?

— Какие еще крылья? — не понял Санька.

— Есть такая сказка.

— Ах, сказка... Ну, знаешь, хватит с меня ваших сказок, вашего национального колорита!

Хветли-инге, конечно, не поняла насчет «колорита», но до нее дошло самое главное: сын обиделся на родину, значит, не скоро теперь захочет приехать.

— Совсем негодная я мать, выходит, — прошептала она, утирая горькую слезу, — вон Празук своих детей как воспитала — не рвутся из-под родной крыши.

— Не говори мне про эту ведьму, это она виновата! Испортила Сухви, заморочила ей голову, закрыла бабскими суевериями белый свет... Такую красоту, такой талант загубила... Пусть теперь радуется, как дочь овец пасет.

Еще долго в доме не смолкали разговоры. Санька еще не раз принимался бушевать, кляня неудачное сватовство, но к утру немного успокоился.

На следующий день опять наступило ведро. Земля отдавала вчерашнюю влагу, теплый пар стлался над лугами, капельки непросохшего дождя золотили траву.

После полудня деревня огласилась свадебными песнями, звуками барабанов и колокольчиков.

Мать и сестра вышли на улицу — негоже было показывать деревне свою обиду.

А Санька тем временем собирался в дорогу. Он ничего не взял из того, что приготовили ему родные. В спортивной сумке по-прежнему лежала пара рубах, майка да нотная тетрадка, где записаны были всего две первые строчки — начало сюиты, которую он так и не сочинил.

Чтобы не видеть веселой свадьбы, он не пошел по деревне, а решил двинуться прежним путем, низом.

В огороде кто-то надломил ясную ветку черемухи, неопрятное крошево из спелых растоптанных ягод заставило Саньку вздрогнуть. Он осторожно, стараясь не запачкать брюки, перешагнул через небольшую чернильную лужицу.

Подгоняемый нестерпимой обидой, Санька двинулся по тропинке, пересек луговину и вышел на шоссе. В спину ударило веселой песней:

Ой, у нас Кузьма-зятек,
Ой, у нас Сухви-инге.

Пророкотал свадебный барабан, терзая сердце.

12

Конец августа. В садах созрели яблоки. Вода в Сорме уже стала холодной и по-осеннему прозрачной.

Ветер пригибает к земле яркую озимь, нежная зелень еще невысока, до следующей весны ей еще лежать и лежать под снегом, пока не вырастет, не колыхнется летней широкой волной.

Странно, как будто не было этих пяти лет, как будто он, Санька, как и тогда, в тот памятный год, жадно спешит оживить в сердце забытые впечатления прежних дней. Все тот же путь, те же тропинки рассыпались, растеклись по оврагам и пригоркам, как ручьи или девичьи косы. А вот и холм. Трава на нем пожухла, на пригорке торчит смешной гриб-дождевик. Кожица треснула посередине, видны коричневые, похожие на табачную мелкую пыль споры. Их то и дело подхватывает ветер, предавая грибу забавное сходство с печной трубой.

Теперь, пожалуй, трудно назвать прохожего просто Санькой, нет, он уже не тот резвый паренек со спортивной сумкой через плечо. Много изменилось: и лицо, и

фигура. Костюм на нем солидный, «тройка», в руках тяжелый импортный чемодан из натуральной кожи. Но все-таки...

Александр Михайлович, почему вы сделались вдруг таким печальным, почему с какой-то тайной надеждой садитесь на склоне оврага, озираетесь по сторонам, прислушиваетесь? Разве можно дважды войти в реку? Разве можно повторить безвозвратно канувшие в прошлое мгновения? Увидеть девушку, пасущую стадо, услышать ее песню и замереть от радости? Нет, все прошло, ничего не осуществилось из той давней мечты — музыка так и осталась недописанной, а девушка стала чужой женой.

Но что это? На луг, как и пять лет назад, потекло овечье стадо, и опять тонкий женский силуэт отчетливо виден среди движущихся животных.

«Уж не Сухви ли это? — проносится в голове. Сам того не замечая, он повторяет вслух: — Уж не Сухви ли? Да нет, не может быть. Такое не бывает, разве что во сне. А если?..»

С холма легко сбегает на тропинку прежний Санька, такой же нетерпеливый, такой же увлекающийся, полный силы, полный надежды. А что, если?.. Тропинка мелькает под ногами, сокращая расстояние, укрупняя цель, — вот уже и стадо, и пастушка. Правда, из-за быстрого бега он не может разглядеть лица, но видит, что она не одна, с ней ребенок.

Испугавшись незнакомого человека, малыш опрометью бросается к матери, утыкается в подол.

Санька останавливается, сон превращается в явь — это действительно она, Сухви; угадал, как и в прошлый раз.

— Ты? — тихо шелестит ее голос. — Вернулся?

Он окидывает взглядом новую Сухви — Сухви-инге, женщину Сухви. На ней темный непромокаемый плащ, черные шерстяные онучи, из-под платка выглядывает коса, теперь уже одна, как заведено. Изменилась, конечно, но все еще красива, очень красива.

— Чего ты плачешь, Миккуль? — спрашивает сына Сухви.

— Дяди боюсь.

— Чего его бояться, это не чужой дядя, это братишка.

«Братишка», включаясь в игру, притворно плачет, закрывая ладонями глаза.

— Пожалей его, поцелуй,— предлагает мать и подводит малыша к Саньке.

Тот легко, как перышко, подхватывает Миккуля на руки, прижимает к груди.

— Поедешь со мной? Далеко, далеко. Будем в море купаться, загорать.

— Не,— отказывается Миккуль,— я мамку люблю.

— Я тоже,— улыбается Санька, свободной рукой обнимая Сухви.

Несколько минут они стоят втроем, потом высвобождаясь, Сухви вздыхает.

— Ты все такой же, все шутишь!

— Ошибаешься, как всегда. Я очень серьезный. Правда, малыш?

— Правда,— подтверждает Миккуль, почувствовав к «братишке» расположение.

— Вот видишь, устами младенца глаголет истина.

— Хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему, разве мужиков переспоришь?

— Присесть рядом можно? Не прогонишь?

— Садись, как прогонишь такого редкого в наших краях гостя?

— Теперь и ты шутишь.

— Что поделаешь,— грустно улыбается Сухви.

Санька садится на траву, не выпуская из рук мальчугана.

— На тебя похож.

— Нет, глаза его, Кузьмы, только носик мой, говорят.

— Хороший носик,— Санька целует Миккуля прямо в нос, тот смеется и вырывается.

— Оставь его, пусть побегает, большой уже на руках сидеть.

— И у нас мог быть такой,— неожиданно вырывается у Саньки.

Кажется, он опять сморозил глупость, задел наболевшее — вон как горестно дрогнули ее губы, как потемнели глаза.

— Зачем ты так поступила?

Сухви плачет, и Сане ничего больше не остается, как, утешая, придвинуться, обнять ее худенькое тело, целовать эти волосы, эти губы...

«Мой ландыш, моя Сухви», — шепчет он. «Любимый, самый лучший, самый добрый», — отвечает она чуть слышно. «Любишь?» — «Люблю».

С болью вглядываясь в ее заплаканное лицо, Санька казнит себя за легкомыслие — как он мог тогда чего-то не почувствовать в их отношениях, как пропустил первые угрожающие признаки ее отчуждения?

— И все-таки признайся, что случилось, почему ты согласилась, чтобы тебя украли?

— Зачем вспоминать? Что было, то прошло.

— Как прошло? Ведь ты только что сказала «люблю»?

— Да, люблю, любила и люблю!

— Значит, я тебя обидел тогда? Чем?

— Об этом лучше не говорить.

— Нет, скажи, я ведь имею право знать правду.

— Ну, ладно, скажу. Помнишь яблоко, которым я тебя угостила в наш первый вечер?

— Помню, я все помню, каждую мелочь.

— Вот видишь, говоришь «мелочь», а для меня тогда это было главным, я загадала на него.

— Это что-то слишком сложное, не пойму.

— Даже сейчас не поймешь? Значит, я все-таки правильно поступила: если бы согласилась выйти за тебя замуж, надоела бы уже давно, соскучился со мной, товарищи засмеяли — зачем женился на деревенской, ничего она не знает, глупа как пробка. Мне Варвара-инге рассказала про свою жизнь, у нее муж тоже был образованный, не выдержала она, и я бы не смогла. Поломала бы коню крылатому белые крылья. Лишилась бы счастья.

— Не знаю, что тебе сказать, не знаю. При чем здесь конь? Какие еще белые крылья? Однажды я уже слышал про эти крылья от матери.

— Сказка есть такая...

— Жизнь — не сказка, я хотел сделать тебя счастливой своими собственными руками.

— Своими? А мои чем хуже?

— Твои?! Твои — святые, только во что ты их превратила? Не могу видеть...

— Зачем мы сейчас спорим? В такие минуты...

— Какие? — спросил Санька, неотрывно вглядываясь в ее глаза.

— Счастливые, — просто ответила Сухви.

— Очень уж коротко это счастье.

— Я ценю и такое. Знаешь, простая чувашка купит на

рынке дешевый платочек и радуется. Неужели бы ты сам не поразился вместе с ней?

— Да, — протянул Санька, — вот ты какая... Тонкая, чуткая! А я — безмозглый, чванливый чурбан. Как же я так мог, ведь знал, ведь чувствовал в тебе это! Сердцем, ухом. Как ты пела тогда... Виноват, только я один во всем виноват. Прости меня, Сухви.

— Эх, Саня... Зачем ты тогда Кузьму обидел? Помнишь, он телку искал, а ты, вместо того чтобы посочувствовать, ответил грубо, обозвал «лунатиком». Я тогда от жалости чуть не разревелась. И замуж пошла за него, потому что он такой же простой парень, как я. Живем дружно, не ссоримся, и работа у нас с ним одна, и о жизни одно понятие.

— Я тебе совсем не нужен?

— Нужен. Я люблюсь тобой, как небом, травой, рекой, птицами.

— И я ведь тоже, — признался Санька, — помнишь, когда в лес ходили, просто смотрел на тебя и любовался.

— Любовь — большое слово, — вздохнула Сухви, — мы тогда не поняли его.

— Больше мы с тобой никогда не будем, как сейчас?

— Никогда. Я Кузьму не обижу. Прощай, Саня.

Подхватив сынишку на руки, Сухви решительно зашагала прочь, Санька глядел ей вслед и больше не замечал ни старого плаща, ни черных, уродливых онучей. Гордая, прекрасная женщина, любящая и мудрая, шла по земле навстречу своему простому, ясному счастью.

Трижды знакомо щелкнул пастушечий кнут — это Кузьма звал жену домой. Она ответила ему широким взмахом сильной руки. Узкая ременная полоска, описав над головой четкий правильный круг, хлестко ударилась о речную гладь, взметнув над водой мириады мелких капель.

Солнце скрылось за горизонтом, вечерняя прохлада коснулась спины. Санька поежился то ли от холода, то ли от того, особого озноба, означавшего приход вдохновения, и тотчас услышал музыку.

Она родилась из той первоначальной темы, тех двух первых строчек, наваянных ему пять лет назад родной землей, и только сейчас из робкой попытки, похожей на слабый ручеек, дающий начало большой реки, превращалась с каждой минутой в огромное море ширящихся созвучий.

А высоко в небе парил крылатый конь, отблески лучезарных сказочных крыльев осеняли лицо сидящего на траве человека, успевшего пережить за свою жизнь множество имен: от «сынка Хветли-инге», «ученика Саши Суворцова», «студента Суворцова» до «солиста Александра Суворцова» и заслужившего наконец право на имя «творец».

АГАФЬИНА БЕРЕЗКА

Когда голубь летел в поднебесье,
Предвещал он ненастные дни.

1

Угахви — ей уже семнадцатый год — посреди ночи просыпалась несколько раз: как у старой бабки что-то разболелись все кости, особенно ныла левая рука в локтевом суставе. Девочка замучилась с ней, пытаясь унять боль: то укладывала на грудь, то подсовывала под бок. Стоило изменить положение тела — и в первые минуты казалось — не болит, но затем начинался новый приступ, и рука горела как в огне. Пришлось прислонить локоть к холодной никелированной спинке кровати, удалось задремать на полчаса.

Проснувшись Угахви от собственного стога — локоть теперь уже не горел, а, наоборот, его ломило, он был словно обморожен. Тысячи невидимых колючек впивались в мышцы, пронизывали до костей.

«Нет, — решила девочка, — так не годится. Мама говорила, что железо вытягивает из человека все тепло». Она убрала руку, спрятала под одеяло, но так и не смогла согреть.

Захотелось пить. Угахви, которая спала не раздеваясь, пошарила в темноте руками, нашла ситцевый платок, повязалась, спустила с кровати ноги и осторожно, чтобы не разбудить спящих на полу мать и двенадцатилетнюю сестренку, вышла в сени.

В сенях было прохладно и темно, девочка ощупью нашла ведро, до половины наполненное водой. Погружая ковшик в глубину, она неосторожно задела оцинкованные стенки, те громко лязгнули, издавая протяжный, тонкий звон. Угахви вздрогнула: перебудит весь дом, но она напрасно опасалась. Мать и сестра, умаявшиеся за день, так

крепко спали, что их не могло ничто разбудить, хоть из пушки стреляй — не проснулись бы.

Девочка выпила сразу два ковша воды, но жажда не проходила. Тогда она тихонько сняла крючок, отворила дверь и вышла из сеней на крыльцо.

Интересно, который сейчас час? Скоро ли рассветет? Небо на востоке слегка посинело, но петухи еще не пропели. Тихо-тихо. Слышно лишь, как в избе, состязаясь, стрекочут сверчки...

Лето в разгаре, уже давно отсвистали соловьи, кукушка молчит, про нее в народе говорят: «Летней порой у кукушки кость в горле застревает».

Еще недавно, недели две-три тому назад, едва на западе успевало скрыться солнце, как на востоке уже разгоралась заря. Прошел всего лишь месяц со дня летнего солнцестояния, а ночь стала длиннее. Сказать по правде, ночи для Угахви всегда коротки.

С поля возвращаясь в темноте, успеешь лишь поужинать — сразу валишься в постель, даже раздеться не хватает сил. Встаешь тоже затемно. А тут еще эта рука... Не дает выспаться, хоть плачь...

Угахви не соня, не неженка, не любит валяться в кровати, особенно сейчас, когда идет война. Молодые ребята, почти ее ровесники, сражаются с фашистами. Там под огнем, в сырых окопах, им потруднее и пострашнее, чем здесь, в тылу. В такое лихое время безмятежный сон в мягкой, теплой постели — просто преступление. Короткие ночи, недетский труд кажутся девочке не таким уж большим делом: все-таки в родном доме, под крышей, на которую не обрушится бомба, не достанет снаряд, не долетит пуля.

И все же лицо осунулось и пожелтело за эти месяцы.

Угахви думает про себя: «Когда мы хоть выспимся как следует?.. Мне бы хоть разок присесть и отдохнуть, чтобы никуда не спешить...»

Эти желания тайные — никому бы на свете девочка их не открыла. Разве все остальные устают меньше ее? Разве больше спят и отдыхают женщины, старухи и дети? Все сейчас работают не по силам, такое время.

Еще недавно Угахви была справной девчонкой, крепкой, краснощекой, веселой и бойкой на язык. Теперь ее звонкий голосок погрубел, со щек сошел румянец, остались одни глаза.

Три недели тому назад Угахви, Ольга и Хветли верну-

лись с земляных работ: рыли окопы. Их послали туда в августе прошлого года. И чего только не пришлось пережить... В трескучие морозы долбили мерзлую землю кирками и ломами, ночевали в холодных, нетопленных бараках, жили впроголодь — даже чая подчас негде было согреть...

Ох, как вспомнишь — жуть берет. Не думала, что выдержит.

В колхозе тоже оказалось нелегко. Вон какие площади, а убирать хлеб приходится вручную. Наладить бы машины, да нет механиков, и коня-то доброго не найдешь: и мужчины, и кони — все там, на фронте. Вся полевая работа легла на плечи женщин и детей-подростков.

...Угахви, остановившись на ступеньках крыльца, подняла голову, взглянула на небо: все-таки который час?

Созвездие Ориона висело над головой, Млечный путь посветлел и потускнел. На востоке проступили неясные очертания облаков.

Очевидно, сейчас где-то около двух часов ночи.

Стоит ли ложиться, если все равно вставать через час-два?.. Да разве уснешь с такой больной рукой?..

Девушка перевязала платок, затянула потуже узел, одернула платье, подошла к поленице. Там она вчера оставила свой серп. Ловко и привычно Угахви закинула его на плечо, открыла калитку и вышла на улицу.

В утренних сумерках на траве белела роса. От пруда подымался туман. Ни души. Тишина. Над деревьями еще висела черная ночь.

Перейдя улицу, Угахви спустилась в овраг, прошла по плотине пруда и оказалась за околицей, потом поднялась на пригорок и пошла по тропинке, тянувшейся вдоль изгороди. Тропинка привела ее в лесок. Когда-то он смыкался с большим дремучим бором, теперь «сынок» был отделен от «матери» ржаным полем, заканчивавшимся на краю Мартынина Лога.

Угахви помедлила, прежде чем войти в ночной лес, он, как ни говори, немного страшен. Неизвестно, что таит в себе таинственная, пугающая тишина. И тут, как нарочно, зловеще прокричала сова:

— Те-в-в-ик!..

Угахви вздрогнула, но, пересилив страх, стала пробираться через кусты орешника, пытаясь отыскать в темноте просеку. Просека напрямую выводила к полю, идти по ней легче — не надо обходить густых, плотных зарослей

подлеска, спотыкаться о пни и поваленные деревья, следы недавней порубки.

Вдоль просеки шумели деревья, что-то постоянно похрустывало, поскрипывало, словно кто-то невидимый бродил в темноте в новых необношенных лаптях.

Впереди показалась человеческая фигура. Днем девушка, может, даже и обрадовалась встрече, но сейчас вздрогнула: кто бы это мог быть? Пройдя еще несколько шагов, она облегченно вздохнула — всего-навсего коряга...

«Ночью всякое может привидеться», — подумала Угахви, успокаиваясь.

Но все-таки у сонного леса есть своя таинственная красота — в неподвижности деревьев, в шорохах, в движениях невидимого. Душа человека настраивается на особенный, торжественный лад, получает возможность прислушаться к самой себе, не отвлекаясь многообразием дневных впечатлений.

С каждой минутой, привыкая к темноте, девушка начинает чувствовать, как скованность страхом проходит, как освобождается и ширится душа. Даже рука, кажется, совсем не болит — она забыла о ней. Сейчас уже ничего не страшно: ни шорохи, ни коряги. Спокойно, уверенно идет Угахви по лесу.

«Лес мой милый, прости, что я тебя напугалась — ты ведь свой, родной», — шепчут губы.

Девушка часто ловит себя на мысли, что она не смогла бы жить без родной природы. Стоит отлучиться на несколько дней, как места себе не находит. Вот недавно отправили ее на три дня в Шумерлю славить пеньку, так еле дождалась возвращения. Приехала и первым делом — в лес. Захотелось обнять разом знакомые деревья, прижаться щекой к теплым, ласковым стволам, а то и взлететь до самого неба, до самых высоких вершин...

Вот так же сильно и верно любит она одного человека. Его здесь нет, он на фронте. Может быть, если бы не война, Угахви и не полюбила так крепко этого паренька. Нет и минуты, чтобы девушка не думала о Коле: вместе они, каждый миг. Попробуй объясни, как это происходит, — ничего не выйдет.

Даже Ольга и Хветли, закадычные подружки, не поймут. Как пыльца на крыльях бабочки теряет от неосторожных и нечутких пальцев свои краски, так и высказанная тайна блекнет и умирает.

Самая прекрасная, дорогая пора проходит в разлуке.

Выпало им недолгое счастье — одна ночь. Уж на что строга Кулине-инге, но и та разрешила сидеть до утра, не мешала, не звала дочку домой. Тогда-то Коля и вспомнил старинную чувашскую сказку о двух братьях: Шане и Шаке. Братья-забияки часто ссорились между собой, дразнили друг друга, дрались. Родители отвели их в лес. Утром Шан и Шак проснулись и опять за старое. Такой шум и гам подняли! Летела мимо сова, ударила двух немирных братьев крылом, разлетелись они в стороны и превратились в маленьких, ростом с воробья, совят. Очень пожалели тогда озорники, что так плохо себя вели. Теперь придется им жить в разлуке...

— Хорошая сказка, и мы с тобой похожи на Шана и Шака, только за что нас разлучили? Ведь не ссорились никогда и родителей вроде слушались, — невесело пошутил Коля.

— Это только на время, Коленька. Кончится война, и мы с тобой всегда будем вместе, всю жизнь. Я же тебя люблю...

— Правда? Ну теперь не страшно и под пулю попасть.

— Да что ты такое говоришь? Наоборот, береги себя, для меня, для нас.

Уехал любимый, а Угахви запомнила каждую мелочь при их коротком свиданье: какое небо было, как солнце садилось, как пахло печным дымом, каждый сучок на Колином крыльце стал родным. С особым чувством девушка отворяла заветную дверь. Когда оказывалась в его доме, тихонько гладила лавку, буфет, стол — ведь до всего до-трагивались его руки...

Сначала письма приходили часто, потом перестали. По деревне прокатилась страшная молва: «погиб», «ранен», «попал в плен», «пропал без вести». Но Угахви слухам не верила — сердце говорило, что жив.

Девушка подошла к оврагу и остановилась на краю: внизу ничего не было видно. Угахви шагнула вперед и увязла ногами в топкой грязи. Откуда здесь болото? Просека должна была вывести к сухому месту — не могла же она перепутать дорогу? И овраг этот вроде поглубже...

Лес неожиданно проснулся. Над головой пролетела какая-то птица. Большая жаба, колыхая отвислым подбородком, застыла на месте, потом вдруг прыгнула прямо из-под ног и бесшумно исчезла в зарослях мокрой травы. Невдалеке запоздало охнула сова, из дубняка прозвучали два одиноких призыва:

— Ша-ан!

— Ша-ак!

Угахви перешла через овраг, поднялась по тропинке, вышла на опушку и неожиданно увидела перед собой два зеленых огонька, светившихся из полутьмы густых еловых ветвей. Девушка приостановила шаг и хотела было повернуть назад, но, пристыдив себя за трусость, пошла прямо на огоньки.

— Да это кошка, — сказала она вслух.

«Кошка» была серовато-бурого цвета и на редкость крупная.

«Чья же такая большая? — подумала девушка. — Откуда взялась?»

Угахви почти вплотную подошла к странному животному, пытаясь разглядеть получше. Но «кошка», неожиданно блеснув глазами, легла на землю, прижала уши к голове и, пружинисто вскинув гибкое тело, прыгнула вверх на ветку.

— Брысь! — храбро крикнула Угахви, увидев, как хищница готовится к прыжку.

Держа серп острием вперед, Угахви стала медленно, пятясь, отступать: два шага, три, пять, десять шагов...

Рысь почему-то не прыгала, готовая к нападению, она так и осталась на дереве, свесив голову с прижатыми ушами, пока ее не скрыла листва. Тогда Угахви бросилась бежать со всех ног.

Она почувствовала страх, лишь оказавшись в поле: сердце колотилось как бешеное, язык стал сухим и деревянным.

«Господи, — неожиданно расплакалась Угахви, — господи, да как же это так?»

Чтобы успокоиться, девушка принялась жать. Она работала, не поднимая головы. Стебли ржи, намокшие от росы, резались легко, с хрустом. Через час, когда пришли остальные, Угахви наконец разогнула спину и оглянулась назад. Она не поверила своим глазам: неужели это все сделала она?

— Ай да Угахви, — услышала за спиной знакомый голос подружки Хветли. — Ты что же, всю ночь работала?

— Нет, недавно пришла.

— Как же — недавно? Так я тебе и поверила. Почему меня не кликнула?

— Не хотела будить.

— А сама? Аль высыпaeшьcя?

— Да так, маленько.

— Угахви, — вдруг спросила Хветли, — почему ты сегодня такая бледная? Болееешь?

— Да нет, — ответила та.

— Брось-ка ты свои штучки. Скажи, что случилось? Эх, девка... Почему себя не бережешь? Разве так можно? Умрешь ведь, жениха не дождешься. Пропадешь на работе, сгоришь. И там, на окопах, не жалела ты себя, бедная...

— Время сейчас не такое, чтобы себя жалеть, — ответила девушка и, поплевав на огрубевшие ладони, взяла в руки серп.

Угахви и Хветли работали рядом, почти не отставая друг от друга.

— Девчата наши молодцы, — хвалили их старшие, — стараются до седьмого пота. И откуда только силы берутся?

К обеду в поле привезли хлеб. Его раздали по итогам вчерашнего трудового дня. Один килограмм за двенадцать убранных аров.

Подружки получили хлеба больше всех — за вчерашнее, а за сегодня выйдет, наверно, еще больше.

Те, которые заработали меньше, подняли шум.

— На моей полосе уродило, вот и пришлось пройти меньше. Так несправедливо — надо по снопам считать, а не по площади.

— А на моем участке рожь полегла, пришлось немало помучиться.

— Хорошо тем, у кого по колоску через каждые три шага, так можно и до Москвы добежать.

Нынче озимые и правда плохонькие, где густо, а где и пусто. Ранний снег выпал на мокрую землю — рожь погнила, а та, что выстояла зиму, летом от жары посохла, не успев набрать полного зерна.

— Что я могу сделать? — развел руками бригадир. — Не удались хлеба. Да я и по стогам считал и по арам, не беспокойтесь, все учитывал. Обижаться должны сами на себя. Самый высокий хлеб на участке девчат. Там, если помните, стояли копны клевера. За работу их примерную полагалось бы не три кило, а целых четыре. Я нарочно урезал их долю, чтобы прибавить некоторым нерадивым. Жалею об этом, честное слово! Поощрил лентяев, а те все равно недовольны. Что за народ!..

— Ты чего, — возмутились колхозницы, — народ ругаешь? Два-три лодыря — разве это народ?

— Простите, бабоньки. Я имел в виду Хведуру Грибную. Она меньше всех трудится, зато больше всех языком чешет.

— Это я лодырничая? — устала руки в бока толстая баба с косыми глазами. — Я? Чтобы ты подавился своей нормой! Если тебе колхозного хлеба жаль, — на, жри, тресни!

— А вот возьму и сожру, — пошутил бригадир, — вместе с лаптями да онучами. Держись, Хведура.

— Шутки шутишь, боров. Тебя самого не грех на ветчину пустить! Ишь раскомандовался!

— Да перестань ты, право слово, верещать, — вступились за бригадира Кондратия бабы, — уши болят от твоего визга. Вот горластая — ее тронь, так она покоя не даст, хоть и неправда, будет отстаивать. Совести нет никакой!

— У нее, где совесть, там грибы выросли, аль не знаете... «Грибная» она и есть.

— Полно, женщины, ссориться, — спокойно возразил Кондратий, привыкший к подобным перепалкам. — Кончится война, всех хлебом накормлю до отвала.

— Когда она кончится, проклятая?..

— Скоро, бабоньки, скоро, — пообещал бригадир, — вести с фронта, сами слышите, все веселей и веселей. Гонят наши мужики немца, аж земля у него под ногами горит. Потерпите маленько, будет и на нашей улице праздник.

В это время кто-то заметил молодую красивую женщину. Женщина шла по полю, весело улыбалась, в руках у нее была газета.

— Никак Тарья-председатель?

Председатель Тарья не удержалась, крикнула издали:

— Добрая весть, товарищи! Сегодня наши войска взяли город Харьков.

— Что я говорил! — обрадовался бригадир.

— Да, — подтвердили бабы, — как в воду глядел.

Тарья развернула газету. Обступив председателя плотным кольцом, женщины внимательно слушали, стараясь понять каждое слово. Вести с фронта... Ведь у каждой из них кто-то воюет: муж, сын, брат, отец. Но самое интересное Тарья оставила напоследок.

— Есть и еще одно дело, — лукаво блеснула она глазами, — касается непосредственно нашей деревни. Послушайте, что пишут нам воины-гвардейцы.

«Пишут вам гвардейцы Н-ской части, — читала Тарья звонким, радостным голосом, — передают поклон и самые лучшие пожелания в вашей трудовой жизни. Получили подарки. Спасибо вам от всего солдатского сердца за память и заботу. Знайте, что ваши гостинцы — не простые гостинцы, а «снаряды», — они тоже метко бьют по фрицам. Солдат, получивший привет из далекого тыла, знает, что за его спиной миллионы женщин-тружениц, не щадя своих сил, работают для фронта, для победы. Мы гордимся вами, вашими трудовыми делами. Хорошо на сердце у воина, если он знает, что о нем не забывают. Гвардейский привет вам, герои тыла. Враг будет разбит, победа будет за нами!»

— Послушай-ка, Хведур, — сощурил глаза Кондратий. — Кажись, и твой гвардеец?

— Гвардеец! Воюет не хуже других, а ты меня срамишь перед людьми. Ладно, ругай сколько влезет, все равно не обижусь. Я тоже жена солдата, у меня тоже гордость есть, твои насмешки пролетают мимо. Если хочешь знать, то и кадушки грибов не пожалею. Записывай, мол, гвардейская жена, Хведур, обязуется отправить на фронт в подарок воюющим пуд соленых груздей, пусть себе едят да вспоминают родимую сторонушку.

— Ай да Грибная, — засмеялись женщины, — ишь как расщедрилась...

— А я чем хуже, у меня тоже сын на войне, — откликнулась Колина мать, — пиши, Кондратий, за мной два кило масла.

— Сами-то как жить будете? — спросила председатель.

— Проживем, не волнуйся.

— Как у нас говорят: «На завтрак — клубника, на обед — земляника».

Бригадир едва успевает записывать.

— Молодцы, бабоньки, добрые вы люди.

— А то как же. Не немцам же отдаем последнее, а своим.

— Немцам бы я вместо груздей мухоморов отправила — пусть откушают, чтоб им всем передохнуть!

— Фашист, говорят, больше свинину уважает и капусту.

— Он, поди, подавится салом-то.

— Прорва ненасытная, кровью людской питается, ишь сколько загубил народа!

— А все равно отольются Гитлеру наши слезы.

— До Берлина дойдем.

— Ох, товарищи, — вздохнула Тарья, — а дел у нас по горло, как только выдюжим? Смотрите, рожь осыпается, ячмень поспел, до гороха руки не доходят, стручки лопаются, весь урожай — на земле.

Угахви с Хветли не пошли на обед домой. Набрали тут же на лугу клубники, поели ягод с хлебом, запили студеной водой из родника.

Воздух душный, все будто вымерло от жары. Лишь ключ в овраге хранил прохладу.

Пока дожидались товаров, которые ушли в деревню на обед, девушки присели передохнуть в тени старой липы, росшей на краю поля. И тут только Угахви поняла, что встреча с хищником не прошла для нее даром. Спицы, приготовленные на случай, если выпадет свободная минутка и можно будет приняться за недовязанные вареники, не слушались пальцев; руки дрожали и никак не могли справиться с рукоделием.

Девушка закрыла глаза, прислонилась к теплomu стволу.

— Что с тобой? — забеспокоилась подруга. — Может, хватит на сегодня? Иди-ка лучше домой.

— Сейчас пройдет.

И правда, недавно пережитое волнение, усталость нагруженных жатвой спины и рук начинают отступать. Солнце печет нещадно, кажется, на такой жаре тело может истаять, как восковая свеча. Вот так же без следа тает в душе неприятный осадок. Кто лечит ее болезнь, ее горе, кто дает силу? Из лесу тянет живительным теплом, запахом нагретой хвои, истомленного зноем березового листа. Кричит какая-то птица — дрожащий, вибрирующий звук — будто точат нож на точиле.

Девчата молчат. Хветли вяжет, иногда Угахви слышит, как она шепотом считает петли.

О чем думается им двоим здесь, под тенью липы, в жаркий июльский день?

Жизнь-то у них совсем коротенькая, как у желторотого птенца, что можно вспомнить?

Простые будни, без праздников и веселья. Войне удалось сделать невозможное — состарить раньше времени юные души.

Едва успели полюбить, как уже печалются по-вдовьи.

Что случилось со мной молодой?
За короткую ночь просыпалась семь раз.

Когда началась война, Угахви окончила восьмилетку. Хотела, конечно, и дальше учиться, но школа была далеко, тратить время на дорогу, потом сидеть по пять-шесть уроков, готовиться к занятиям в эту лихую годину казалось девушке делом почти позорным — сейчас колхозу нужны были молодые, сильные руки.

Если в первую четверть нового учебного года, первого года войны, деревенские школьники посещали занятия, то скоро бросили — не было ни сил, ни настроения учиться. Кроме того, старшеклассников то и дело посылали в колхозы на подмогу: то жать, то копать картошку, то молотить.

Так Угахви и не доучилась...

С детства она была ловкой да сноровистой — любое дело горело в руках. А как началась война и пришлось трудиться наравне со взрослыми, тут и сказались способности к крестьянскому труду. Но Угахви к тому же была еще и упорной, терпеливой. Бывало, размахнет косой не хуже любой взрослой, но ряды получались узкими — все-таки не смогла сохранить силу взмаха до конца.

«И как только не устает эта шпингалетина?» — удивлялись все.

Нет, она уставала, да еще как уставала. Полудетское, неокрепшее тело не могло выдерживать таких перегрузок. Угахви старалась, чтобы никто не заметил, как ей тяжело: руки казались деревянными, немела спина, ныла шея. По утрам она с трудом вставала с постели, все болело, словно ее кто-то здорово побил.

Но Угахви не унывала, не жаловалась. Разве можно было давать себе волю? Во время работы она привыкла опускать голову все ниже и ниже к теплой, будто укачивающей ее земле, извечной, любящей, родимой. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя поглощали тогда все горести и беды...

А когда выпадали минуты отдыха, девочка ничком ложилась где-нибудь на речном берегу, бесцельно следила за прохладной водой, сверкавшей на солнце. Или бродила по старому бору, слушая шум вершин, да постукивание дятла. В эти минуты представлялось, что прекрасные, добрые

существа говорят с ней, поют ей песни шелестящей листвою, жужжанием пчел и теплыми дуновениями ветерка. Когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, на закате Угахви возвращалась домой, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, она подставляла разгоряченное дневной работой тело под ласковые волны тумана, поднимающегося над засыпающими лугами.

Эта легкость и этот свет, которыми одаривала ее щедрая родная природа, были единственной поддержкой и утешением в трудные и скорбные дни...

Первые месяцы войны... Люди как-то не сразу привыкли к мысли, что кончилось счастливое, мирное время: все думалось, проснешься — и нет ничего, просто приснился кошмарный сон, но репродуктор гремит голосом Левитана, и от его суровых слов сердце заходится... Война. Много новых трудностей внесла она в спокойную, размеренную жизнь деревни, хоть и всегда нелегкую: все самые сильные и умелые ушли воевать.

Пришлось искать резервы, а «резервы» — малолетки, которым еще не пришел срок крестьянствовать.

Коля был старше Угахви на два года и должен был идти в десятый класс. Юноша мечтал стать художником. Теперь, конечно, мечте этой не суждено было сбыться: вот-вот парня должны были забрать в армию, а пока он, как и вся деревенская молодежь, работал в колхозе. Правда, Коля, несмотря ни на что, не расставался с бумагой и карандашом. Когда люди садились отдыхать, он тут же принимался рисовать: то женщину, повязывавшую сползший с головы платок, то старика, отбивающего косу.

«На память, — объяснял юноша, чтобы тот, кто родится после войны, знал, каково приходилось нам».

Однажды во время сенокоса, когда косари присели передохнуть, Коля быстро взглянул на Угахви и потянулся за блокнотом.

«Рисовать будет, — вспыхнула девчонка, — ой, умру со стыда. Как глядит-то, без стеснения».

Еще никогда в жизни, ни один парень не взглянул на нее так прямо и открыто. Сердце забилося часто-часто. Она не знала, куда девать свои руки, как встать, как сесть. А он все смотрел и смотрел, как будто прицеливался...

В детстве они очень дружили, играли вместе, ребята дразнили: «жених и невеста». Когда Угахви подросла, эти

насмешки отдалили их друг от друга. Теперь же девочка испугалась: вдруг да опять начнут смеяться?

Коля, казалось, не обращал внимания на ее замешательство.

...Прошло несколько дней. Когда сгребали сено, женщины позвали Угахви:

— А ну иди сюда, узнаешь, кто это?

На Колином рисунке изображена девушка: стоит, облокотившись на черенок вил, — такая суровая, строгая. На лице усталость, губы плотно сжаты. Она выглядит старше Угахви — взрослей и крепче.

— Это не я, — сказала девочка и отвернулась, чтобы скрыть стыдливый румянец.

— Вылитая, — возразили зрители, восхищенно рассматривая портрет, — молодец парень!

— Нашел время заниматься глупостями! Карандашиком черкать... Подумаешь, художник!

— Какие же это глупости? Ты ей, Коля, объясни.

Но Коля промолчал.

После этого случая Угахви старалась не попадаться парню на глаза. Она твердо решила не давать волю чувствам. Трудно было, конечно, притворяться равнодушной и насмешливой, но именно сейчас в ее душе рождалось что-то новое: росло терпение, крепла воля. Не раз приходила на память старинная чувашская поговорка: «Если сломаешь руку — спрячь ее в рукавицу». Чуть ли не каждый день приходилось «прятать руку», — чем дольше шла война, тем труднее становилось жить.

Да и сам Коля никогда не шутил с девушкой, не заигрывал, не задевал. Будто вдруг увидел, открыл в ней что-то упорное, сильное, требующее к себе уважения.

И все-таки их тянуло друг к другу. Сами не зная того, они уже любили, чисто, свято и преданно...

Повода для встречи наедине у молодых людей не случалось — все время на народе. Но если кто-нибудь из них замечал присутствие другого, то день казался прожитым не зря. Каждый взгляд, каждое движение дарило радость, душа копила эти краткие миги, словно впрок, на то время, когда наступит разлука...

Однажды Коля все-таки подошел к ней. У девушки была слишком большая, не по росту, коса, к тому же тупая. Угахви досадовала и злилась...

«Чтоб тебе провалиться, несчастная, — ругала она ко-

су, — вон уже как все остальные далеко ушли, а я плетусь в хвосте!»

— Дай-ка ее сюда, — просто сказал Коля, — сейчас наладим.

Через несколько минут острое лезвие сверкало как зеркало.

— Держи, постарайся не гнуться при косьбе, а то и силы больше теряешь, и коса землю ковыряет. Плавней, ровней надо, чтобы она словно по воздуху плыла. Поняла?

— Поняла, спасибо.

— Пожалуйста, — усмехнулся парень и отошел.

— Надо бы их поженить, бабоньки, — предложил кто-то.

— А что? Парочка подходящая. Работящая.

— Такую девку и я бы за себя взял, — ввернул слово Ванька, Колин дружок, — и она, кажется, не против. Так ведь, Угахви? Чего молчишь? — не унимался балагур, чувствуя, что он поставил девушку в тупик и наслаждался преимуществом взрослого, опытного острослова. — Так я сам за тебя отвечу — бракуешь, тебе кое-кто помоложе глянется...

— Во взрослые ты, Ванька, себя рано записал, — спокойно возразила Угахви. — Поумней сперва.

— Срезала, — схватился за голову Ванька, — под корень...

— Не замай в другой раз нашей шпингалетины, — захохотали бабы, — мал золотник, да дорог!

Угахви украдкой взглянула на Колю: она гордилась собой и ждала его молчаливого одобрения — он смотрел на нее мягким, затуманенным нежностью взглядом...

Летом следующего года, когда ей исполнилось шестнадцать, Угахви действительно сделалась похожей на тот самый портрет, который начинающий художник сделал тогда на косовице: за зиму угловатый, неловкий подросток превратился в настоящую девушку. Коле же пошел восемнадцатый — со дня на день ожидалась мобилизация...

О том, что двое парней из их деревни, Коля и Ванька, завтра отправляются в районный центр на призывной пункт, она узнала в теплый майский вечер, когда возвращалась с колхозного огорода — поливали огурцы и капусту.

Приближался вечер. Земля-труженица нежилась в лу-

чах заходящего солнца, неохотно отдавая дневную благодать требовательной прохладе наступающей ночи. Пособому резко и сильно пахло молодой снытью, борщовником, только что зацветшим чебрецом...

Парни пришли прощаться. Три подружки-неразлучницы — Угахви, Хветли и Ольга — сидели на бревне у летней кухни.

— Присядем к девчатам, — предложил другу Ванька, — не прогонят, поди.

— Садитесь, — тихо ответила Угахви.

Тихо и чинно парни поместились рядом с девушками. Не шутили, не пели, не смеялись.

Давно уже, со времен раннего детства, «жених и невеста» не сидели так близко друг от друга. Взгляды их иногда встречались, но тут же молодые люди опускали глаза. Однако эта безмолвная близость была сильнее жарких объятий и поцелуев, вернее всяких слов и любовных клятв. Казалось, они проникают в души друг друга, до самых глубин, где нет ничего тайного и скрытого.

Скоро друзья, почувствовав себя лишними, разошлись по домам. Угахви хотела было двинуться за ними, но Коля удержал.

— Не надо, — попросил он, — какие тут могут быть стеснения — всем ведь давно ясно, что мы с тобой любим друг друга... Все хорошо понимают, что завтра мне...

— Хорошо, — оборвала Угахви, не дав окончить ему трудную фразу, — я останусь.

Уже давно стемнело, небо, затянутое облаками, было пасмурным и беззвездным. Угахви различала лишь смутно белеющую в темноте Колину праздничную рубашу, блеск черных глаз. Ей хотелось расплакаться, уткнуться в его грудь, выразить наконец то, что переполняло сердце, но она не могла преодолеть скованности и смущения — все-таки ей всего-навсего шестнадцать, и первый раз в жизни она осталась с парнем наедине. Правда, парнем был Коля.

— Завтра в обед мы уже...

Нет, нет, не надо говорить о том, что обоим хорошо известно, надо сказать ему что-нибудь такое, запоминающееся, чтобы там, чтобы когда... Но слов не хватало, слова вдруг стали враждебны языку, они не хотели выговариваться, они прятались, разбегались, становились неуловимыми.

...Угахви торопливо шарит в кармане фартука — у нее давно уже кое-что приготовлено. Это древний обычай чу-

вашей: дарить платок при расставании. Так просто дарить нельзя: плохая примета, к разлуке. До этого вечера подарок лежал на всякий случай в кармане. Она боялась отдавать его Коле и все надеялась: а вдруг...

Но теперь все! Можно дарить.

— Сохрани обо мне, — выдавила Угахви из себя неловкие, бессильные слова.

— Угахви, — прошептал Коля, — Угахви... — Ему тоже тяжело говорить. — А как ты? Как без меня?.. Трудно будет...

— А вам? На фронте?

Она зажмурила глаза и представила его в солдатской шинели, бритого, без волос. Страшные люди, фашисты в железных касках, стреляют в Колю...

— Ты что? — испугался Коля. — Никак плачешь?

— Нет, — проговорила она сдавленным от слез голосом, — ничего, просто так. Пойду домой, уже поздно.

— Постоим еще. Последний вечер...

И тут запел соловей, запел весело, беспечально, словно и нет кругом горя, словно нет ни войны, ни разлуки, ни смерти...

«Угахви, Угахви!.. Чарн-чарн-чарн-чарн!.. Чеп-чеп-чеп!.. Чудно-то, чудно-то!..»

Коля вдруг находит в себе силы пошутить:

— Вот видишь, соловей говорит: «Чудно-то, чудно-то», а ты реवेशь. Все будет хорошо, поверь. Я вернусь живым и невредимым, ты только смотри береги себя.

— Хорошо, — обещает девушка.

Его бодрый, веселый голос немного рассеивает тяжелое, гнетущее чувство. Угахви понимает, что надо идти домой, не всю же ночь они собираются просидеть здесь, возле кухни. Девушка подымается наконец, делает несколько медленных, неверных шагов, спотыкается в темноте о невидимое полено, теряет равновесие, качнувшись, она вытягивает руки вперед и ушибается о жердь загородки.

— Ой!

— Что случилось? — Коля уже рядом. — Вот видишь, какая ты неосторожная. А еще о других переживаешь. Ударилась?

— Ага.

— Говорил, не спеши, посидим еще немножко.

— Нет, Коля, я пойду. Завтра еще встретимся. Ведь вы не с утра уезжаете.

Когда Угахви оказывается на крыльце, она медлит у двери.

«Позови, — просит ее сердце, — позови, и я вернусь. Хоть бы еще одно словечко услышать, пусть бы последние звуки остались в ушах».

— Угахви, — доносится из темноты, — Угахви... не уходи...

...Утром пришли подружки и стали готовить общий платок для отъезжающих. Кусок белого шелка обшили золотистой бахромой, посредине вышили красную звездочку, по четырем краям украсили кистями. С таким платком не стыдно появиться на улице. И в других домах готовили ребятам такие же памятки — чтобы не забывали о земляках...

Будущие солдаты катались по деревне на телеге, размахивали прощальными платками. Так тоже требовал обычай. На всех улицах у ворот стоял народ, многие женщины плакали, утирая слезы: вот так же недавно они провожали на войну своих близких, и не всем теперь почтальон носит долгожданные фронтовые треугольники...

Угахви не вышла на улицу, она следила за всем происходящим из окна, не пошла провожать телегу с парнями и до околицы — теперь ей было все равно, вчера они простились с ним без посторонних, и к этому прощанию нечего больше было прибавить, кроме новых слез...

Правда, все-таки не удержалась и, когда сельчане высыпали за деревню, нашла в заборе щель, чтобы увидеть в последний раз, как развевается Колина кудрявая шевелюра от встречного ветра, как клубится на дороге облако пыли, оставленное резвым бегом лошади...

Остаток дня Угахви провела в лесу.

«Только бы хватило сил ждать, только бы хватило сил выдержать», — уговаривала и успокаивала себя девушка.

Через две недели их послали на окопы. По возвращении и начались эти изнурительные боли в локте. Застудила, наверное, руку, трудясь не под силу, недоедая, недосыпая, не щадя своих еще не окрепших сил. Всего семнадцать лет, а она чувствует себя совсем взрослой, мало того, старой-престарой. Улыбка — редкая гостья на ее измученном лице.

«Дома поправлюсь», — говорила себе девушка, пытаясь заглушить постоянную, гложащую боль в суставе.

Не думается мне — душа чахнет,
Задумаюсь — сердце болит.

...Воспоминания о тех временах не выходят из головы, они вошли в сознание, как хроническая болезнь.

Их было триста человек, молодых девчонок. Они рыли окопы и блиндажи. В летние, теплые месяцы еще было терпимо, но с наступлением холодов началось такое... Не у многих хватило выдержки, чтобы не жаловаться и не плакать.

Рождественские морозы, сковавшие землю, сделали ее почти непробиваемой для лома и лопаты. Металл обжигал ладони, их нельзя было защитить даже самыми теплыми, толстыми рукавицами. Студеные ветры пронизывали до костей, валили с ног. Злобная поземка стелилась по земле, как пущенный пал. Чтобы не обморозить лицо, приходилось то и дело загораживать его руками, поворачиваться к ветру спиной, но эта защита мало помогала. Оказавшись в помещении, девчата стягивали рукавицы с обмороженных рук, опускали их в студеную воду и мучительно морщились от боли.

Вначале работали только днем, потом и ночью. Это случилось после того, как вражеские самолеты, прорвавшись в глубокий тыл, сбросили бомбы. Угахви впервые в жизни попала под бомбежку. Оказывается, самое страшное, когда слышишь свист летящей бомбы. Кажется, что она непременно упадет на тебя. Тогда-то и погибла новая подружка Угахви, девушка из Иванова, Соня. До сих пор Угахви хорошо помнит лицо погибшей, помнит тот самый первый день, когда они познакомились.

Угахви захватила из дома пять пар лаптей и две пары шерстяных онучей.

— Послушай, — обратилась к ней незнакомая светловолосая девушка, — что это у тебя на ногах?

— Лапти, — удивленно ответила Угахви. — Разве не знаешь?

— Представь себе, нет. Первый раз вижу. А у вас что, до сих пор их носят?

— А чего не носить? В них легко, сухо, тепло.

— Теплей, чем в сапогах?

— Теплей.

— Ой, а у тебя лишних не найдется?

— Бери, — Угахви протянула Соне новые, аккуратные лапти и в придачу еще и онучи.

Русская долго любовалась на свои ноги и нахваливала «модельную обувь», которая оказалась лучше всякой «скороходовской», особенно в нынешних условиях.

Так они и подружились. Соня была постарше своей чувашской подружки и уже имела настоящего жениха.

— Летчик он, два ордена получил, — рассказывала она Угахви. — А как меня любит — не представляешь. Говорит, я самая красивая, самая стройная. Обманывал, теперь-то, может, и стройная — похудела на десять килограммов! А когда познакомились — толстухой была.

Смешливая, добрая, простая девушка из Иванова... Угахви долго не могла привыкнуть, что ее не стало. Да и сейчас, сидя с Хветли под деревом, она вспоминает о Соне, как о живой. Очень пугалась подружка налетов:

— Убьет меня бомбой, обязательно убьет, не увижу больше своего Виктора.

— Перестань, — уговаривала ее Угахви, — в убежище не страшно, прямое попадание, говорят, редко бывает.

Соня погибла от осколка, не добежав до бомбоубежища нескольких метров...

«После калины и рябина сладка», — вспомнилась вдруг старинная поговорка. Да, если сравнить нынешнюю жизнь с тем, что пришлось пережить тогда, на окопах, конечно, дома просто рай. Как она мечтала тогда посидеть вот так, на опушке тихого, теплого июльского леса...

Пусть устала, пусть рука ноет, не перестает, пусть натерпелась сегодня страха от этой дикой кошки, все равно — она рада, она верит, что пройдут тяжелые времена и настанет покой и мир.

Хветли подымает голову от вязания.

— О чем ты сейчас думала? — спрашивает она у подруги.

— Одним словом не скажешь... О многом. Например, о том, как мы окопы рыли, как бомбили, как Соня погибла.

— Да. Очень страшно было. Знаешь, обидно мне стало, как этот Метри, тот, что вернулся недавно по ранению, говорил женщинам: мол, вы тут в тылу спокойненько живете, не знаете, как лежать в окопах под огнем, никто в вас из винтовки не целится. Не понимаю, что вы здесь только делали без нас, все хозяйство развалили. А того он не знает, как приходилось женщинам в соху впрягаться,

чтобы огороды вспахать! Как только слышу такие упреки, плакать хочется — до чего несправедливо.

— Послушай, говорят, что Метри за тобой гоняется, может, он это просто так сказал, чтобы ты на него внимание обратила?

— Нет, нам с ним каши не сварить, — нахмурилась Хветли, — я Ваньку дождусь. А он... Скажу по секрету, он, говорят, ранение получил не в бою.

— А где же?

— Сама понимать должна.

— Как? Неужели?..

— То-то и оно... Как только совести хватает упрекать других.

В это время до них донесся звук колокола, означающий, что перерыв кончился, пора начинать работу.

Девчата собрали свое вязание и направились в поле, остальные женщины, устроившиеся в тени суслонов, подымали головы, поправляли платки, отряхивали с платьев и фартуков прилипшие сухие травинки, неохотно вставали — было видно, что короткий отдых не восстановил их сил. Однако, когда она пришла на полевой стан, сонливость как рукой сняло: все понимали, что разнеживаться сейчас никто не имеет права. Где-то далеко идут бои, не щадя жизни их мужья и дети сражаются за Родину.

К концу рабочего дня Тарья опять наведала своих колхозниц.

— Подарки, бабоньки, ваши уже отправлены, теперь нужна от вас еще одна помощь. Нынче ночью надо обмолотить весь хлеб. Как вы, сможете?

— Обмолотим, будь спокойна, не впервой.

— Вот и ладненько. Честно говоря, иного ответа я от вас и не ожидала. Наверно, не откажется и тот, кого решим послать на торфозаготовки.

— Девчат посылай, у них семеро по лавкам не сидят!

— Ну, девчонки, как, согласны?

Те отвечают лишь кивком головы — к чему разговоры — все и так ясно: раз надо, значит, надо.

— Разрешаю вам ночью не работать, отдыхайте перед дорогой. Выезжать нужно послезавтра.

— Мы остаемся вместе со всеми, — ответила за подруг Угахви.

— Угахви, — дернула ее за рукав Ольга, — раз председатель разрешила...

— Ну тебя, — зашипела на нее Хветли, — вечно ты назад тянешь.

— Вас не понять, — обиделась Ольга, — мало вам окопов, теперь на торф посылают, там, поди, тоже несладко придется!

— Чтоб нас всякие «раненые» не упрекали, — зло сверкнула глазами Хветли.

4

Куда ни придешь, всюду солнце смеется,
Жаль, родная земля позади остается.

Душно. Вокруг солнца радужный ореол, значит, скоро ожидай дождя.

Кажется, летний зной утихомирил и ветер-непоседу. Воздух неподвижен и сух, свет едва пробивается сквозь тусклый, жаркий туман, кругом сумрачно, как при затмении.

Тревожно кричат молодые грачи, их неокрепшие голоса звучат натужно и нестройно. Заметив мать, несущую в клюве корм, птенцы подпрыгивают и истошно вопят: «Кар-кар-ул!»

Перед домами и во дворе копошатся куры, разгребая горячую пыль и добираясь до влажной земли, они радуются, хлопают крыльями, кудахтают. Петушок-сеголетка пробует голос. Голос срывается, вместо звонкого петушиного «кукареку» получается лишь смешной и нелепый хрип.

Над деревней и во всей округе словно замерла недопетая горестная песня неутешной земли, горюющей по своим ушедшим детям. Каждое чуткое сердце слышало ее, понимало, о чем пела, на что жаловалась покинутая мать... И словно в ответ несется с полей:

Когда парни уходили на войну,
Горько заплакало поле,
Когда отцов забрали на фронт,
Осиротела пашня.
Когда милый уехал воевать,
Задрожала земля
И небо опрокинулось,
Речка обмелела до песка
И птицы перестали петь.

Вот что наделал проклятый Гитлер.
Нет больше радости в нашей деревне,
Нет больше красивых девчат.
Их косы совсем поредели,
Их глаза ослепли от слез,
Их румяные щеки, как неспелые, кислые яблоки...
Эй, девчоночки-подростки,
Не вешайте носа,
Не поддавайтесь печали.
Крепче держите в руке острый серп,
Не жалейте молодых сил —
Вернутся счастливые дни:
Когда зазеленеет поле, заголубеет речка —
Это значит наши воины победили врага.

Поют девушки-жницы, громче всех — Угахви. Для чувашек, привыкших водить хороводы, сочинять песни тут же, на ходу, не трудно. Слово к слову, как листок к листку, растет песенное дерево. Рабочему люду давно известно, что с песней любое дело спорится. Нынче пришлось молотить всю ночь, к утру только у одних девчат хватило сил продолжать работу. Взрослые женщины кто сидит, опустив руки с набрякшими ладонями, кто лежит, прикрыв лицо косынкой. Одна из них вчера получила похоронку. Она примостилась в сторонке, на охапке соломы, лицо окаменевшее от горя, взгляд невидящий — ничто ее сейчас не волнует, кроме горя — беспредельного, невыносимого...

Девчата не могут даже подойти к несчастной вдове, утешить: нет слов, чтобы размыкать чужую беду. Что остаётся делать? Работать. Как всегда, одно и то же средство — работать. За себя, за нее — за всех, у кого нет сейчас сил, кто согнут страданием, смят...

Завтра они опять уезжают из родной деревни. Что их ожидает? Известное дело, не для радостных, веселых гулянок отправляют их в чужие края. Сколько времени они проведут вдаль от родных? Неизвестно. И какая польза задавать себе подобные вопросы? Раз надо, значит, надо.

Теперь и Угахви, и Хветли, и Ольга знают, что нужно брать с собой: сборы недолги. Девчата одеваются только в самое теплое и прочное — не до нарядов!

В назначенный день вся деревня собралась на проводы. На передней подводе сложены их нехитрые пожитки: котомки с одеждой и скудными припасами.

Легкую подводу тянет худющий мерин, в пристяжке — жеребенок-стригунок.

За деревней стали прощаться.

— Пусть повезет вам в пути...

— Счастливо доехать, счастливо и возвратиться.

— Держите себя скромно, девки. Слушайтесь старших, не своевольничайте. Доброго имени не теряйте, — поучает девчат мать Хветли.

Угахви обнимает свою:

— Не плачь, не расстраивайся. Ничего со мной не случится.

— Уй, доченька, бедная ты моя... Этот людоед Гитлер... Чтоб волкам в зубы попалась его голова. Девушки наши совсем молоденькие, а им уже приходится скитаться по свету...

— Только и была для меня единственной отрадой, — причитает Аняута-инге. — Отец погиб, брат пропал без вести, теперь и Хветли забрали от меня. Горе, горе...

— Будет тебе, сваха, — утешает ее одна из женщин, — не говори вдогонку горьких слов. Девки хорошие, они и без вас знают, как надо себя вести.

— Молодцы, ничего не скажешь, — добавляет председатель Тарья, — успели хорошо себя зарекомендовать и на окопах, и в колхозе. Верю, не ударят в грязь лицом и сейчас.

— О нас не беспокойтесь, — говорит Угахви, — люди терпят, и мы вытерпим.

Вот и крайние дома, впереди дорога... Прощайте, родные лица, поле, лес, речка, когда-то еще увидимся с вами?

Угахви идет за подводой, опустив голову. Как все-таки тяжело покидать родину...

«После проводов все, наверно, вернутся в поле: там ждут их серпы, спрятанные под стогами», — думает девушка и вспоминает...

...Они жнут овес. Овес низкий, редкий, с чахлыми метелками. Его приходится убирать, опуская серп почти до самой земли. В иных местах и серпом не взять — приходится выдергивать руками. Поясницу ломит, на ладонях волдыри вспухают, трескается кожа.

Овсяные снопы возят на быках. Их стали запрягать в телеги уже с начала войны. Бык хоть и силен, но упрям, и сколько его не подгоняй, шагу не прибавит: за полчаса — полверсты. А как увидит воду — хоть умри — не остановишь: прямо с полным возом лезет в речку. Был слу-

чай, пострадала от них женщина-возница — хотела было удержать упрямец, да не смогла, свалилась с подводы и сильно расшиблась о камень.

Говорят, люди видели, как мимо деревни прошли друг за другом семнадцать матерых волков. В лесах появилось много зверей: рыси, лесные коты, барсуки. Теперь ходить по грибы и ягоды опасно.

Три ночи подряд при лунном свете косили вику, глаза слипались от усталости. Из лесу вышел медведь, они даже не испугались — так хотелось спать. Зверь тихо-мирно по-сидел, посмотрел и ушел.

Подвода за подводой идут на фронт: с хлебом, с одеждой, с письмами — женская забота, женские слезы, женская любовь...

«Сейчас нужен стране торф. Электростанции, работающие на торфе, дают энергию заводам, выпускающим снаряды», — так сказала им на прощанье председатель Тарья.

Значит, теперь фронту нужна от них помощь не на колхозном поле, а на лесных торфяниках.

Угахви перечисляет про себя: на окопах были, в колхозе трудились, сейчас будем добывать торф. Никто не посмеет упрекнуть, что мы во время войны на печи отлеживались...

5

А вырастет ли зеленая трава
В тех местах, где прошла наша жизнь?

Вот он — торф. Издали торфяники похожи на чернозем. Он очень тяжелый, этот с виду мягкий слой почвы, оставшийся на месте древнего болота, но попробуй сдвинь с места тележку, наполненную бурыми кусками, — не всякому под силу. Кроме того, торфяная пыль липкая, вязкая, она пристаёт к коже так, что не отмоешь. Все ходят чумазые, грязные, как трубочисты.

С виду торфяники кажутся плотными, а копнешь чуть поглубже — вода. Ноги постоянно мокрые.

На торфе работают одни девчата, их собрали отовсюду: из Татарии, из Марийской республики, из Чувашии.

Угахви не узнать: она в телогрейке, на ногах сапоги, на голове мужская шапка-ушанка. Стоя по колено в во-

де, девушка режет лопатой торф и бросает его в тачку.

Кто-то медленно подымается с бурой кучи — это Хветли. Она с трудом пытается сдвинуть нагруженную доверху одноколесную тележку.

— Устала? — спрашивает подругу Угахви. — Давай я.

— Не надо, вот отдохну маленько.

— Э, да чего там! Поехали...

Угахви берется за ручки и катит тачку по доскам, проложенным вдоль торфяника, доски мокрые и скользкие от налипшей грязи. Одна нога вдруг соскальзывает, срывается, в голенище тут же попадает холодная вода.

Ничего! Первый раз, что ли?

— Сегодня наши взяли Минск, — говорит Угахви, возвращаясь с пустой тачкой.

— Слышала. И мой Ванька там воюет. В последнем письме писал. От Коли так и нет ничего?

— Нет, — опускает глаза Угахви.

Коля перестал подавать о себе весточки уже давно. Может, ранен, может, лежит где-нибудь в далеком госпитале, может, и писать сам не в силах, может, ему руку оторвало...

«Что это я? — пугается своих мыслей Угахви. — Знаю, верю: жив он. Нужно только ждать, терпеливо и постоянно».

И опять задвигалась в руке лопата, и опять тянет плечи тяжелая тачка с торфом, который так нужен сейчас для электростанций, для заводов, выпускающих снаряды и бомбы.

...Подруги возвращались домой в День Победы, они, правда, даже не знали, что в этот день, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, кончилась война.

Было около двух часов дня, до деревни оставалось, наверное, с полкилометра, и тут их нагнала лошадь. Возница, сидевший на телеге, свесив ноги, был в необыкновенно веселом настроении.

«Что это он такой? — удивилась Угахви, привыкшая за последние годы к лицам усталым и удрученным. — Чему так радуется?»

— Эй, девки, — крикнул проезжий озорным голосом, — чего идете, как с похорон? Аль не слышали, что войне конец?

— Ой, — разом присели девчата, — правда, дяденька? Не обманываешь?

— За такой подлый обман я бы и сам расстрелял на месте, — ответил тот.

Дальше они не могли сделать ни шага — все трудности прошедших лет, голод, холод разом обрушились на них, отняв последние силы. И счастье, не сравнимое ни с чем счастьем, которому нет ни имени, ни названия, перед которым меркнут и гаснут все слова, затопило душу. Они молча сидели на обочине дороги, смотрели друг на друга мокрыми, сияющими от радостных слез глазами:

— Угахви!..

— Ольга!..

— Хветли!..

— Девочки...

— Дождались...

— Поплачем?..

Они обнялись, крепко прижались друг к другу. Плакали долго, с наслаждением, словно очищая души, освобождая сердца для новой жизни, ради которой столько вынесли.

— Хветли, Ольга, девочки, ну какие мы дурочки... Хватит реветь, четыре года ни слезинки, а тут — на тебе, успокоиться не можем... Представляете, если они победили, значит, и мы победили. Ой, не могу, умру сейчас, — и Угахви притворно повалилась на траву.

— Куча-мала, — закричала Хветли и повалилась на подругу, за ней бросилась и Ольга, обычно степенная и малоразговорчивая.

Они катались по траве, как дети, услышавшие первую песню жаворонка, исполняя древний чувашский обычай, славящий начало новой жизни. Потом, кончив игру и поднявшись на ноги, девчата почувствовали, как вошла в них молодая сила — сила родной освобожденной земли.

— А теперь, — предложила Угахви, — давайте в лебек¹. Чур ты водишь, Ольга. — Она шлепнула Ольгу ладошкой по спине и бросилась бежать. Добежав до лесной ограды, девушка уселась на перекладину.

— На дереве чур не трогать!

Ольга кинулась за Хветли, потом Хветли помчалась за Угахви, которой надоело сидеть на ограде...

Они бегали друг за дружкой и хохотали до слез, до изнеможения.

¹ Лебек — детская игра в догонялки.

— Не пришлось в детстве поиграть, так сейчас свое взяли, — сказала Хветли, утирая платком разгоряченное лицо. — Может, хватит?..

Они подхватили свои легонькие котомки на плечи и быстро зашагали по дороге.

За лесом показались верхушки ветел и крыши домов родной деревеньки. Глаза девчат опять наполнились непрошеными, радостными слезами.

— Гляньте, девоньки, почки уже распустились.

И правда, весна в этом счастливом году поторопилась порадовать людей ранним теплом. Снег остался лишь на дне самых глубоких оврагов.

Увидев снег, Угахви не поленилась спуститься вниз. Верхний слой сугроба был пористый, усыпанный крупными, как горох, зернами фирна. Девушка разбила каблуком твердый наст, наскребла целую горсть белого, чистого, рассыпчатого снега и, высыпав его в рот, блаженно зажмурилась.

Вслед за ней в овраг спустились и Ольга с Хветли. До чего же вкусным снег оказался!

Из-под сугроба уже выглядывали первые цветы мать-и-мачехи, нежные, светло-желтые, как цыплята. На опушке, на солнечном припеке, распустился горицвет.

Ручеек, очевидно рожденный этой весной, весело струится из-под тающего сугроба. «Конец зиме, — казалось, лепечет новорожденная вода, — конец холодам, конец морозам».

До дому теперь рукой подать, только лужок пройти.

В канаве — лужа. Лицо ее морщит ветер, похоже, лужа улыбается, добродушно собирает веселые волночки-морщинки. Солнечные лучи, преломившись о волнистую поверхность, отражаются на дне золотистыми струйками — кажется, по дну волокут сияющий невод.

Как много в небе жаворонков, и все они поют одновременно, ни одного голоса невозможно выделить!

Даже птицы славят Победу заодно с людьми, вся природа отзывается на человеческую радость.

Победа...

Сколько счастливых встреч предстояло пережить тем, кто уцелел!

Угахви продолжала скрывать от матери свою болезнь. Теперь уже не только локоть — вся левая рука опухла...

Обострение началось ранней весной. Дорого обошлись ей эти торфозаготовки.

Прошло три недели, начался сев.

Девушке пришлось возить лес. Лес нужен был для теса — колхоз наконец получил возможность начать новое строительство... Тут-то она добавила к своим страданиям новое: получилось так, что одна из лесин, лежащих на телеге, при повороте с делянки на дорогу выехала из-под связки. Угахви хотела ее поправить, но не смогла: бревно, зацепившись за ствол сосны, стоявшей при дороге, сильно ударило по больному плечу. Угахви вскрикнула и потеряла сознание. Хорошо, что рядом никого не было — никто не видел, как девушка, придя в чувство, обхватила плечо здоровой рукой.

Едва живая Угахви добралась до дома.

— Да ты никак совсем расхворалась, — спросила мать, заметив, что дочка то и дело морщится от боли.

— Рука что-то...

— Может, застудила на работах? Вот ты какая!.. Хветли все матери рассказала, как вы там, бедненькие, горевали, а ты ведь — ни словечка!

— К чему вспоминать о том, что прошло? Все это теперь только история.

— Какая история? — не поняла мать.

— Ну, проще сказать, что было — то быльем поросло.

— Что-то ты у меня какая-то мудреная стала. Не знаю, что говоришь. Раньше была девка как девка, толстущая, краснощекая, все смеялась, озорничала. Вот она, война, что с детьми понаделала...

— Брось ты, мам, надо мной причитать. Что еще надо? Живы остались, теперь колхоз поднимем и повеселеем, и поздоровеем...

— Чует мое сердце — зря храбришься, о здоровье подумай и болезнь не запускай.

— Какая болезнь? Просто вывихнула локоть, вчера легиной задело.

— Ну коли вывих, то, может, правда, не надо врачей беспокоить. В народе эту хворь лечить умеют, сходи-ка к старой Мадерне.

Старуха Мадерна была известная на всю округу лекарка. Особенно ловко она вправляла вывихи. В сезон полевых работ, когда часто случаются всякие травмы, а везти в больницу некогда, обращались к «деревенскому ортопеду».

Мадерна приняла Угахви приветливо:

— С чем пожаловала, красавица?

— Да мать послала, говорит, вы хорошо лечите.

— Лечу, конечно. Только ведь все теперь старушек да стариков — наломались, бедные, за войну. Молодых в госпиталях ремонтируют. А у тебя что?

— Лесиной вчера ударило по локтю.

— Покажи-ка! — Мадерна, обнажив руку, внимательно осмотрела локоть, принесла кусок мыла, намылила и вдруг неожиданно для девушки резко дернула руку: один, потом другой, третий раз...

Угахви не выдержала, слезы сами собой брызнули из глаз:

— Больно, кинем, терпения нет... Больше не дам.

— Не давай, доченька, — улыбнулась старуха, — коли пройдет, значит, был вывих, а нет — иди к докторам, пусть ищут другую болезнь.

Вернувшись домой, Угахви хмуро пожаловалась:

— Не знаю, что она наколдовала, твоя хваленая лекарка, только пуще прежнего болит. Смотри, как покраснела и опухла.

— Потерпи, завтра-послезавтра должна пройти.

Но и через неделю никаких улучшений не наметилось: ни опухоль, ни покраснение, ни боли не проходили. Стало ясно, что Угахви серьезно заболела.

6

Чем богат человек,

Чем богат?

— Он здоровьем богат.

Без него он и жизни не рад.

Василий Митта

Сёмик... Благодатная пора лета. Все цветет, лес, поле и луг полны птичьего пения.

Именно к этому сроку готовились, бывало, деревенские травники, стараясь не пропустить ни дня, чтобы собрать те самые знаменитые сорок и одну траву — патентованное средство от всех хворей.

Мать Угахви вспомнив обычай, вышла в поле по первой росе: траву рвут, пока солнце не высушило, иначе все лекарственные свойства могут улетучиться.

К восходу Кулине-инге набрала полный передник. Здесь были и ландыш, и котовик, и пустырник, и синеголовник. Мать рвала травы самые сильные, они не одну болезнь лечат; укрепляют сердце, нервы, силы восстанавливают.

Конечно, дочке надо обязательно сходить в больницу. Не знай, что ей там скажут, не знай, чем помогут. Эта чертовка Мадерна, позабывшая дорогу на кладбище, старая рухлядь, совсем испортила девчонке руку, уже в рукав не влезает: опухла, как полено... Вот ведь как не повезло... Теперь бы только жить и радоваться! Несчастливая моя Угахви: и хворь неизвестно какая привязалась, и жених пропал, никак не объявится: не то жив, не то нет. Беда, беда! Сколь горевали, и опять приходится... Не ездила бы молоденькая девчонка по этим торфам да окопам, сидела бы дома, пусть бы и работала — при материнской заботе это не так страшно, глядишь, и обошла бы ее лихая година. Все перековеркала война, учение отняла, заставила скитаться по чужой стороне, горе мыкать!

Сегодня обещалась Угахви сходить в районную больницу. Мать спешит домой проверить, сдержала ли слово упрямая дочка, которая не хочет слушать никаких уговоров — знать, в лихую годину ее сердечко огрубело, очерствело как у мужчины: не любит, когда ее жалеют, когда говорят ласковые слова...

Тем временем Угахви направлялась к районной больнице, находившейся в соседнем селе.

И напрасно мать мысленно укоряла ее, что, мол, огрубело и очерствело ее сердце, наоборот, казалось, оно еще больше раскрылось людям, облагороженное тяжелыми испытаниями. Страдания и болезнь сделали его по-особенному чутким и отзывчивым. С ласковой улыбкой сочувствия девушка следила за всем, что сейчас попадалось на глаза.

Вон поле. Рожь удалась на славу, не то, что тогда, за год до окончания войны. Нынче она высокая и густая, катит свои зеленые волны привольно, радуется хлеборобов, сулит добрый урожай.

Легкий ветерок касается зацветающих колосьев: чуть тронет мягкие, едва начинающие твердеть стебли, они тут же качнутся и выпрямятся, стремясь стать ровно, как солдаты в строю, подставляя под солнечные лучи усаые головки. Среди ржаной нивы мерцает, переливаясь, золотистая волна, соперничая блеском с солнцем...

Раньше девушка чувствовала, что лишь ей принадлежит этот прекрасный зеленый мир, только ей одной улыбается с небес ясное солнышко, только ее целует ветер, и только ей дарят свою красоту цветы, для нее одной распевают птицы, поют ручьи и реки. Теперь же, наоборот, она старалась обращать внимание на других людей, которые, подобно ей, так же сильно и преданно любили землю, и земля не отказывала им в своей ласке и внимании.

Обнимая взглядом эти просторы, Угахви мысленно обнимала и всех, кто недавно проходил этой же дорожкой, тропинкой, полями и лугами... Всех любить, всех: людей, птиц, траву, деревья — таким было теперь требование ее души.

Колосья в одном месте чуть примяты, видно, влюбленная парочка нашла здесь для себя укромное местечко. О чем шептались здесь, в тиши, любящие сердца, какие тайны поверяли вздрагивающим колосьям и синим цветкам васильков?

Кто-то на склоне холма рвал белые ромашки. Гадал: «Любит — не любит?» Почему теперь цветок с оборванными лепестками лежит в пыли? Любит? Наверно, любит... Угахви хочется, чтобы все влюбленные были в эти дни счастливы. Как же иначе? Для чего было столько пережито?

Вернется ли Коля? Вернется ли любимый, долгожданный? Чувство разлуки, притупившееся было за последнюю военную зиму, когда, работая на торфяниках, пришлось позабыть о личном, сейчас разгорелось с новой силой. Обидно было Угахви за свою любовь: неужели не заслужила она, чтобы познать счастье с тем, кого так верно любила и преданно ждала?..

Над пойменным лугом плавно кружит журавль, издали его оперение кажется синим. Синяя птица, птица счастья... Когда ты спустишься перед моим крыльцом?..

Угахви свернула к овсяному полю, раскинувшемуся в низине. Овес тоже уже заколосился. Бережно и нежно девушка касается метелок. Они еще неспелые и похожи на младенцев в зеленых пеленках.

Трель жаворонка как прозрачная ниточка, протянутая между небом и землей. А когда сразу поет много птиц, то сотни вибрирующих нитей невидимо повисают в воздухе. Мелодия жаворонков так причудлива и прихотлива, что кажется, будто кто-то забросил небесный звук на землю,

чтобы он остался в памяти и родился вдруг неизъяснимым, таинственным приветом высоты — чистым, хрустальным и немного грустным...

Погода стоит жаркая. Солнце слепит глаза. Рукав легкой блузки нагрелся, тепло немного уняло боль. Может, обойдется, может, и нет ничего страшного?

С запада тянет прохладой, кругом зеленый цвет, дающий покой глазам.

А вот и луг, тот самый, где Коля ее рисовал, где точил косу... Давно это было, словно и не здесь, а где-то в другом мире. За четыре года сенокосный участок превратился в сплошную трясику — косить здесь больше нельзя. Теперь это место — обиталище пигалиц — болотных чибисов. До больницы уже не так далеко, надо дойти до реки, подняться по кособокому, самому ягодному месту во всей округе. Здесь растет крупная и очень сладкая полевая клубника.

На морщинистой поверхности воды — белые барашки пены. Вода теплая, как остывший чай в самоваре, и чуть-чуть пахнет свежей рыбой. Угахви наклоняется, чтобы зачерпнуть пригоршню, утолить жажду.

А клубника совсем растаяла на солнце — горячая, словно ее парили в печи.

То ли от воды, то ли от кисловатой, пахнувшей вином ягоды Угахви замутило... Сердце заняло от невеселых предчувствий.

Девушка оглянулась — так не хотелось расставаться с безмятежным покоем этих летних полей...

7

Цветок луговой, что стоишь, поникнув?
Знать, сгубили тебя злые ветры.

В больнице ей сказали, что лечение надо было начинать год назад, что теперь медицина бессильна.

Как же быть? Кому она нужна, безрукая. Ни работница, ни помощница. Самой себя не обслужить и других не порадовать. Калека в двадцать лет.

Угахви вдоволь наплакалась, когда возвращалась домой, вспоминая слова доктора:

«Ты знахарку не обвиняй, не вывихнула она тебе руку. Хронический артрит — простудилась, видно, сильно, не ле-

чила вовремя. Вот и началось воспаление. Если хочешь жить, придется пожертвовать рукой».

— Доченька,—встревоженно кинулась навстречу Кулине-инге.—Как долго ходила... Я уж тут всякого передумала. Что сказали доктора? Говори поскорей...

— Ничего особенного,—соврала Угахви,—сказали—поправлюсь.

— Лекарство дали?

— Без лекарства пройдет, только просили, чтобы недельку-другую ничего тяжелого не подымала.

— Я тебя травкой попою, она лучше, поди, таблеток, вон припасла сколько! Да мне не жалко и целого луга!

Кулине-инге обрадовалась, когда Угахви вечером стала собираться на улицу.

«Знать, и вправду болезнь неопасная. Повеселела моя Угахви, захотелось ей и с подружками повидаться».

На улице было тихо, не в пример прежним, довоенным годам, когда молодежь водила веселые хороводы, а старики сидели на завалинках, любовались юной силой и здоровьем... Теперь и стар и млад — все на один лад. Не слышно ни песен, ни шуток. Одни разговоры, воспоминания о тяжелых годах да колхозные новости. А хороводы? Какие могут быть хороводы без парней? Одни полегли на полях сражений, другие без вести пропали, третьи ранены, изувечены... Немного вернулось домой: кто-то еще в пути, а кто-то и сгинул, как в омут провалился без следа: ни похоронки, ни сообщения. Думай что хочешь...

Выходя из избы, Угахви заметила, что во дворе нет уток.

«Сперва загоню, а потом выйду»,—решила девушка.

Солнце только что село. Тихо. Ветер стих, словно исчез с земли вместе с солнечным светом. Гладь пруда не шелохнется, лишь в некоторых местах появляются и исчезают маленькие, с чайные блюдца, круги — словно мигает птичий испуганный глазок. Мелкие пузыри-бусинки тянутся со дна и, подымаясь на поверхность, лопаются, издавая тоненькое, слабое шипенье — это там, на глубине, караси сосут траву и тину.

Теплая погода привлекла к воде мошкарку, рыжим гудящим облаком она повисла над берегом.

С противоположного конца пруда важно движется целая флотилия уток. Довольно гагакая, птицы не спеша переби-

рают в воде короткими лапами; изредка окунают головы, чтобы поймать добычу. Утка, как известно, птица прожорливая: то малька схватит, то просто водички попьет... Почти все они с утятами. Взрослые с гордым видом плывут впереди, изредка мать, оглядываясь, бросает что-то сердитое и строгое, значит, какой-нибудь озорник позволил себе нарушить правило поведения на воде. «Кряк! — останавливает его материнский приказ. — Плыви, не отставай!»

Неожиданно на воду падает тень летучей мыши. Утка истошно вопит, птенцы мигом собираются возле переполошенной матери, но тревога ложная, мышь не опасна. Глава утиной семьи успокаивается, и только дергающийся короткий хвостик говорит о недавнем волнении. Маленькие сорванцы опять рассыпаются в разные стороны, принимаясь за свои веселые дела.

Угахви с умилением следит за ними. Она не станет прерывать их беззаботного плаванья — пусть себе еще немного порезвятся — загонит к ночи.

Перед домом Ольги, соседки Угахви, кроме Хветли и молодой хозяйки, сидели три женщины и Михал, вернувшийся из госпиталя три дня назад. На фронте он потерял ступню левой ноги.

Михал рассказывает, что немцы специально устанавливали на самолетах сирену, чтобы действовать на нервы.

— Думали, поганцы, что запугают нас своим звериным воем. На слабонервных рассчитывали, да напрасно. На войне солдаты наши быстро привыкли к их свистулкам.

— А как тебя, Михал, ранило? — спросила у него одна из женщин.

— Да я, сказать правду, не заметил. Вышел, значит, из укрытия. Сначала никакой пальбы не было. Тихо. И вдруг откуда ни возьмись — мины. Шлеп-шлеп! Ну точно как навоз на телегу бросаешь. Подивился — надо же, до чего похоже. Потом долго себя ругал: мол, глухая тетеря, уши развесил. Фронт все ж таки... Зазевался. А на войне ухо надо держать востро. Тут меня и хлопнуло, осколком.

— Страсти-то какие...

— Колю, — несмело спросила Угахви, — не встречал?

— Пришлось увидеться. Надо же, как в кино, словно по заказу! Сколько людей кругом, человек что иголка в сене, и на тебе, вдруг находится там, где и не ожидаешь...

После одного боя нас здорово фашисты пощипали. Нашу роту к другой роте присоединили. Однажды на отдыхе вижу: идет навстречу старшина, вроде знакомый. Присмотрелся — он и есть, Колька-художник. «Земляк! — кричу. — Ты ли это, или обознался?» — «Я», — отвечает. Обнялись мы, конечно, расцеловались, закурили, присели на окопчик. Только успели перекинуться словцом-другим, как тут же команда: «Становись!..» Стали в строй, а командир и говорит: так, мол, и так, попали мы, ребята, в окружение, прорываться придется побатальонно. Николай был в другом батальоне, мы-то прорвались, а что с ними стало, видать, и до сих пор никому не известно. Ты, девка, не горюй! Я ведь не видел его убитым, значит, живой.

После Михалова рассказа на лавочке воцарилось глубокое молчание. Неожиданно громко всхлипнула Хветли, за ней расплакались и все остальные.

— Мокрая команда, — покрутил головой Михал, — знал бы, не рассказывал. Чего ревете? Нет больше войны: ни бомбы не летят, ни снаряды, а кто не убит, тот вернется. Куда ему еще деваться? Ждите, девчата.

— Нам хоть какие бы ни вернулись, — вздохнула Ольга, — хоть без руки, хоть без ноги... Лишь бы головы были целы. Теперь любая красавица не будет парней перебирать, как раньше. Сами-то мы тоже не больно казисты! Поди, не встретишь теперь девки здоровой, унесла война и нашу молодость, и нашу красоту. Что скажешь, Угахви?

— Ради бога, перестань, зачем прошлое ворошить: из прошлого ни хорошего, ни плохого не воротишь.

— А с рукой как у тебя?

— Нормально.

— Хоть бы от старых подруг не скрывала! Пока не поздно, ложись в больницу, а то вернется жених...

— Мне о женихах уж думать не приходится...

— Да ты что? Значит, правду говорила старая Мадерна. У Угахви, мол, не вывих, а болезнь суставов. Болезнь непростая, трудно ее лечить.

— Слушай всякого гнилого мухомора, — откликнулась Хветли, — что она понимает, теперь медицина все может, каких только тяжело раненных на ноги не ставит, и лица переделывает, а тут какие-то суставы! Поправись, подружка, еще поводишь с Колькой свадебный хоровод.

— Человек ко всему привыкает, из каждого трудного положения выход есть, я так считаю,—откликнулся Михал.— В госпитале, думаете, не ныло мое сердце, как, бывало, подумаю: ведь калека я, инвалид! А теперь, честное слово, вполне полноценным мужчиной себя считаю. Главное не руки-ноги, главное, душа чтобы не покалечилась. Ты, Угахви, с одной стороны, права, что не хочешь поддаваться болезни, но на одной бодрости не продержаться, надо и помочь организму. Подруги дело говорят. Не напрасно война закаляла характеры, и обидно, если человек с крепкой душой подорвется на своем собственном теле — это похуже всякой мины.

— Да я понимаю, только...

— Будешь так сильно расстраиваться, Кольки не дожدهшься.

— А что Коля? Он, как и я,—свободный человек. Кто знает, если и живой остался, не изменился ли характером так, что не узнает и родная мать? Сколько лет прошло! Мы ведь тогда совсем молодыми были: мне — шестнадцать, ему — восемнадцать. Помнит ли еще? Не до любви и верности, когда кругом смерть...

— Ты, девка, мужиков не понимаешь, потому и рассуждаешь так. Да первая зазноба — на всю жизнь. А наш брат, особенно на фронте, цеплялся за любовь, потому что любовь и жизнь — одно. Помнит тебя Колька, не волнуйся. Не знаю, может, и нашлась другая. Всякое бывало... Но первая — никогда не забывается, поверь — никогда...

— Коля наш,—протянула Хветли,—очень серьезный и упрямый. Сделает, как задумал. Решил жениться на Угахви — женится, лишь бы вернулся живой. Это не Ванька, за того не ручаюсь. Писать стал что-то редко. Если в кого и влюбился — не удивлюсь, да знаю: мой он, только мой!

— Господи,—потянулась Ольга,—про любовь, про верность, про невест с женихами... А я пока—вольная птица, никого не люблю, и меня никто не любит — без забот и тревог. Хорошо! Хватит, девчонки, завтра нам с Хветли раненько придется вставать — опять усылают. Вот какие мы трудовые кадры: и в войну упирались, и после войны... Эх, Угахви-подружка, первый раз без тебя! До того жалко: привыкли друг к другу.

— Да,—вздыхнула Хветли,—просто не знаю, как без тебя, подружка? Кто нам настроение будет поднимать?

Ольга — чуть что — на боковую, с ней много не разговоришься.

— Это точно, люблю поспать.

— Угахви тоже хотели послать. Сахруниха разорялась: «Притворяется больной, не хочет работать».

— Так и сказала? Может, правда, девочки, мне поехать?

— С ума сошла! Посмотри в зеркало — на себя не похожа, не узнай!.. Болезнь не скроешь, всем видно. Ты большую руку, как грудное дитя, бережешь, боишься, чтобы не задеть, не ударить. Это только такой скверной бабе, зловредной Сахрунихе, не заметить. Лопнули бы ее глаза! — возмутилась Ольга.

— Терпеливая... Иной раз смотрю, как ты смеешься, шутишь, да еще и сплясать норовишь, и думаю: я бы так ни за что не сумела. — Хветли прижалась плечом к подруге, — не знай, что бы сделала, только бы ты поправилась...

— Спасибо, девоньки, — улыбнулась Угахви тихой, светлой улыбкой. — И мне одной будет скучно и одиноко, привыкла, как к родным сестричкам.

— Ты не скучай, а лечись, — притворно-строго прикрикнула на нее Ольга. — Даем тебе комсомольское поручение выздороветь. Смотри не подведи!

— Не подведу, — через силу, сдерживая благодарные слезы, проговорила Угахви...

8

Шинель солдатскую надел,
Котомку за спину повесил.
Ушел на фронт, а через год
Пришло письмо: «Пропап без вести».

Опять всю ночь болела рука, но к боли примешивалось отчаяние, теперь Угахви не тешила себя надеждой: мол, обойдется, пройдет, ничего страшного. Страшное уже случилось: или руку отрежут, или — смерть. Даже человеку пожилому, прожившему жизнь, трудно решиться на такое. Тем более молодой девушке, недурной собой, у которой, как говорится, вся жизнь впереди. Больше всего на свете гордая Угахви боялась стать в тягость другим, но был и еще один тайный страх — стать уродом, калеккой. Этот страх мучил больше всего.

Может, девчонки правы, может, Коля и возьмет ее в жены из чувства долга, но ведь уродство, искалеченная рука останутся с ней. Неужели девчонки не могут понять главного! Нет, пусть уж лучше все останется, как есть. Если суждено им свидеться, то он должен встретить Угахви такой, какой запечатлел ее на своем последнем рисунке. Теперь она была очень похожа на свой портрет...

И, только приняв такое решение, девушка уснула.

Поднявшись чуть свет, Угахви подоила корову, процедила молоко. Привычное дело теперь требовало немалых усилий — все приходилось делать лишь правой рукой: левую невозможно было поднять — резкая боль сопровождала каждое движение.

— У Пеструшки что-то молока поубавилось, — сказала Угахви, входя в избу, — совсем мало нынче дала.

— Теленка надо бы подпустить, — ответила мать, скрывая от дочери, что она поняла истинную причину, — поди, бережет для дитенка, хитрая какая!

— Да теленок-то насосался вдоволь, аж пузо надулось. Может, не добирает на пастбище... Чего только пастухи смотрят? Гоняли бы ближе к лесу, на опушках трава и сочная, и густая. Не пойти ли мне в пастухи? Места знаю и лениться не буду. Сама видишь, какой из меня сейчас работник в поле.

Мать пытливо взглянула на дочку. Сказать ли не сказать? Не принято у них в народе, чтобы взрослая девушка пасла коров. Это больше подходит старикам да детишкам. Значит, Угахви скрывает что-то, значит, все-таки у нее плохи дела со здоровьем.

— Ты же говорила, — начала она осторожно, — что руке вроде лучше, пошла на поправку.

— Конечно, лучше, только ведь врачи предупреждали не делать пока ничего тяжелого. Вот я и надумала попроситься в пастухи — знаю хорошие места с сочной, густой травой.

— Да кто тебя на работу гонит? Могла бы и дома посидеть. Людка выросла, по хозяйству помогает ловко, а ты, старшая, свое отработала, поди, ей и не придется так-то.

— Нет, мама, я решилась. Хоть малым делом буду какую-нибудь пользу приносить.

В это время на улице раздался звук пастушьего рожка.

— Пошла я.

— Ты что так сразу? Поела бы сперва.

— Да не хочется...

Чтобы не обидеть и не огорчить мать, Угахви отломил от свежей лепешки кусочек, положила в рот и, не чувствуя никакого вкуса, с трудом проглотила.

Но Кулине-инге заметила это. Нет, недаром тревожится она за старшую: если аппетит пропадает, значит, дело плохо.

— У тебя же бумажка есть из больницы, почему не покажешь в правлении? Больных-то от работы освобождают.

— Это больных, а я, как люди говорят, симулянт.

— Сахрунихина сплетня? Знаю ее, не посудачит о других — и дня не проживет. Вот ужотко я ей все выскажу, бесстыжей.

— Оставь. При чем здесь Сахруниха? Мне и самой дома сидеть тошно.

Проводив дочь, Кулине-инге собралась на пруд толочь белье, еще вчера с вечера замоченное в зольном щелоке. Всю дорогу к пруду она думала об Угахви, ругала себя: зачем отпускала на работы? Особенно в последний раз так тревожно было на сердце, словно чувствовала. Вот и кончилось лихое время, пора Угахви думать о замужестве. Так нет ведь, здоровья нет, и жених пропал. Без жениха-то еще можно, другой найдется, только бы сама окрепла. Да дело молодое, авось силы найдутся победить болезнь. Одеждой Угахви небогата, это правда. Придется приданое готовить. Когда девка одета красиво, у нее и походка другая, и речь, и выражение лица. Как-то дочка призналась: «Перед тем, кто красиво одевается, я себя дурочкой чувствую». Не такие это глупости, сама была молодой — знаю. Красоту надо уважать, красоте уважение — красивая одежда. Так в народе говорят.

...Угахви пасла скот на опушке, рядом с картофельным полем, на котором нынче работали колхозники.

Дело было после обеда, коротенький перерыв перед тем, как опять склониться над землей, обычно использовался для разговоров о домашних делах, о хозяйстве, о соседях.

— Угахви наша в пастухи подалась, — усмехнулась Сахруниха, — а говорили, что болеет. Такого не было, чтобы взрослая деваха среди ребятишек-пастушат околавалась. Нет, пусть Кулине на меня не сердчает, а изленилась ее дочка. Раньше, не в пример нынешней, была работающая.

— Да побойся ты бога, что плетешь,—возмутились женщины,—за что упрекаешь невинного человека?

— Угахви как была девушкой порядочной, так и осталась!

— Лучше в нашей деревне не найдешь,—вступилась Колина мать,—у тебя у самой снохи-то хуже собак. И ругаются, и бранятся, и ленятся. Говорят, за стол с тобой не садятся, никогда в гости не зовут.

— Да я и сама к ним не пойду.

— Не пойдешь, ясное дело, раз они тебя видеть не желают. Кому охота, чтобы про него сплетни составляли?

— Угахви,—позвала Колина мать,—иди-ка, поешь. Да не стесняйся, сношенька.

— Чего это ты ее «сношенькой» кличешь? —ввернула злобредная Сахруниха.—Как так выходит: сына нет, а сноха есть?

— Да ты, Авдотья, чего терпишь от этой язвы? —заступилась за Колину мать косая Хведура.—Я бы ей показала! Ишь взяла моду издеваться над одинокими!

— А и то правда, что я одинокая. Муж убит, и сына все нет. Одной только девочке — Угахви сердце мое радуется. Иди-ка, детка, — вновь позвала Авдотья.

Угахви несмело подходит — она стесняется Колиной матери, хоть и любит, очень любит тетку Авдотью. Когда девушка смотрит на нее, вспоминается Коля. Пусть бы он и не был похож на мать, а все равно. Но Коля — вылитая мать: те же черные глаза, те же губы. И характер такой же, приветливый, добрый.

Если Авдотья-инге увидит Угахви на улице, обязательно пригласит в дом, усадит за стол и угостит. Сейчас она заботливо подает девушке крутое яйцо, кусок хлеба, густо посыпанный крупной солью.

...Почтальонша Вера, привыкшая за годы войны приносить вести особенно долгожданные прямо туда, где работают женщины, и на этот раз верна своей привычке.

— Пляши, тетка Авдотья,—говорит Вера, протягивая Колиной матери толстый конверт.

— Ой,—хватается та за сердце,—не пугай, ради бога.

— Да я и не пугаю — от него!

— Колька, его рука,—хватает Авдотья конверт.—Живой... Эх,—вскочила на ноги счастливая мать.—Теперь что мне горевать! Сын-то мой домой вернется!

— Письмо еще не прочитала, а уже шумишь на весь свет, — проворчала Сахруниха.

— Да я и так знаю, что в нем написано, — всхлипнула Авдотья, целуя конверт, — сыночек, дорогой...

— Чего ты мнешь? Читать надо скорей, — не выдержала Хведура, сгорая от нетерпения. — Дай сюда.

— Нет, — отвела руку Авдотья, — пусть сношенька прочтет. Ей, поди, тоже радость.

У Угахви не слушались руки, когда она вскрывала конверт: все случилось совсем не так, как она себе представляла — и проще, и необыкновенней. Едва пережив первые минуты волнения, девушка принялась читать, но уже через несколько строчек голос начал садиться, комок в горле мешал чтению, набежавшие слезы застилали буквы.

Коля писал, что по некоторым причинам он сейчас не может приехать, что есть много трудностей, которые задерживают его на чужбине. Пусть мама извинит, но часто ему писать нельзя. И еще Коля сообщал, что верит: скоро разберутся в его деле и отпустят, так как на его совести нет ни единого темного пятна.

— А про тебя, Угахви, что пишет? — спросила Хведура.

— Ничего, — ответила девушка и покраснела.

— Ох, обманываешь, — не поверила Грибная, — читай честно, а то письмо отниму.

— Да правда, ничего особенного. Если хотите, слушайте: «Как там живет Угахви? Не вышла еще замуж? Пожалуйста, мама, позаботься о ней до моего возвращения». Все.

— Уй, доченька, — проговорила Авдотья-инге, пряча на груди драгоценный конверт, — подложила-таки судьба нам ложку дегтя в бочонок радости. Ничего, можно и потерпеть, главное — жив!

Два фартука я надену —
Один белый, другой черный:
В белый — счастье собирать,
В черный — слезы проливать.

У каждого цветка — свой цвет, своя форма, свой запах, свой характер. Один любит солнце, другой — тень; один

не сохнет, не вянет при любой погоде, другой — чуть что — пропал, завял. Один пахнет, другой нет, зато он крупный, яркий и привлекает всех своим видом. Так и девчата — растут в одном месте, а такие разные! Хотя все, как цветы — все красивы и молоды, всеми не грех полюбоваться.

Если бы не война, Угахви обещала расцвести «цветком» необыкновенным — всем она взяла: и стойкостью, и выносливостью, красотой и нежностью.

Но сгубила девушку-цветок злая непогода. Не просто буря, не просто ливень, а настоящий ураган, что не только молодые цветы сломал, но и сильные, могучие деревья порушил.

Гордилась Кулине-инге красивой девочкой, своей Угахви, наряжала ее, не скупилась на шелковые ленточки, которые заплетала в косы.

Как-то, четыре или пять ей исполнилось, прибегает Угахви с улицы — и к матери:

— Мам, а в самый-самый первый раз откуда ты узнала, что я — Угахви?

— Да как же не узнать, — рассмеялась Кулине, — глаза карие и волосы кудрявые — настоящая Угахви.

— У Хветли тоже глаза коричневые, почему же она Хветли? Нет, я не Угахви, я — Наташа.

— Поздно хватилась, теперь уж всегда ты будешь Угахви. Ты чего это, дочка? Плачешь никак?

— Да, всхлипнула девочка, — значит, и я... И у меня... Как у тети Угахви... Такая же буду, как она?

— Угах-аппа очень хорошая. Просто она зимой упала в прорубь, застудилась и сильно заболела.

Та, которой испугалась маленькая Угахви, была единственной на всю деревню калеккой. Вот уже второй год она не вставала с постели, а раньше считалась чуть ли не первой красавицей.

После того разговора маленькая тезка зачастила в гости к больной. Они подружились: права были одного — та же добросердечность, та же отзывчивость.

Девочка то и дело забегала в избу к приятельнице: где бы ни играла, как бы ни увлечена была своими детскими делами. То воды подаст, то постель перестелит, то хлебушка свежего принесет из дома.

Об этой давней дружбе вдруг и вспомнилось матери, когда Угахви слегла.

Все-таки не выдержала дочка — пошла полоть со все-

ми, там, на грядках, и свалилась. Теперь уже целую неделю дома. Ночью подымается и все ходит-ходит по избе, баюкая, как хворого дитя, свою больную руку. Что с ней поделаешь? Не желает ложиться в больницу. Мать догадывается почему: от Коли письмо пришло, наверно, хочет его встретить на ногах. Кто знает, когда он придет? Далеко добираться — чай, не в своей стране!

«Вот дожидается его, как красного солнышка, а он? Угахви теперь мало на себя похожа. Ходит повязанная платком по-старушечьи, не видать ни румяных щек, ни блестящих густых волос — красы девичьей. А как она под фартуком больную руку держит... Сердце переворачивается, гляючи. Разговаривает теперь мало, все молчит и думает, думает».

— Надо бы, доченька, тебе опять в больницу наведаться, ведь упала тогда в поле! Разве можно при твоём здоровье не обращать на себя внимания. Провериться надо, может, ухудшение.

— Не беспокойся, скоро схожу, дня через два. Уколы мне ведь и так в медпункте делают — то же самое, что и в больнице. Какая разница?

— Иногда наши чувашские снадобья помогают лучше. Вот Анни-инге их мастерица готовить. Последика за очагом, я к ней мигом сбегая. Денежки выложу, не пожалею, лишь бы помогло.

Мать убежала, полная надежды, полная рвения, но если бы она знала, как напрасны ее хлопоты! Ничего больше Угахви не поможет — прошло время, которое ей дали на размышление. Значит, или ампутация, или...

«Нет, лучше уж умереть», — думает Угахви.

Девушка присела перед очагом, поправила огонь. Здоровой рукой принялась расчесывать косы: жесткие какие-то, корням волос больно... На расческе целый пучок каштановый — как лезут! Правильная примета: если волосы секутся и лезут, значит, у человека горе.

Угахви подходит к окну, задумчиво смотрит на небо — там играет радуга. До чего же красиво — век бы любовалась на нее! Но радуга ведь недолговечна: вот уже гаснут яркие краски, бледнеют с одного конца, как будто кто невидимый втянул цветную ленту в себя, и вот уж нет ее — проглотил...

Коля, Коленька...

И опять боль сдавила сердце, рука запылала. Угахви торопливо схватилась за ковшик — только ледяная во-

да может хоть на мгновение унять это нестерпимое жжение.

Тут и постучалась к ним в избу старушка Мадерна, она пришла за безменом.

— Здравствуй, девушка,— сказала она, внимательно приглядываясь к молодой хозяйке,— что такая невестая?

— Садитесь,— вместо ответа пригласила Угахви.

— Да уж посижу, посижу, куда мне, старой, торопиться. А мать где?

— Пошла к Анни-инге.

— За отваром, что ли?

— Ага.

— Думаешь, поможет?

— Да это все мама. Я не очень-то верю...

— Не веришь?.. А коли так, то и не поможет. Надо, девка, верить. Раньше мы и не знали, что такое доктор.

— Раньше вы так не страдали от войны.

— Что и говорить, наказание господне эта тяжкая война. А знаешь, мне сон приснился. Будто в нашем саду яблоня выросла. Высокая такая, пышная, яблоки — с кулак. Мы ходим вокруг, любуемся, а тут, откуда ни возьмись, страшный мужичище. Топор у него — колун здоровенный. Подходит это он к нашей яблоне, мы и обмерли — сейчас рубить начнет. И правда, поплевал мужик на ладони, размахнулся топором, ударил о ствол, яблоня зашаталась, яблоки посыпались с веток. Мы — собирать, а он тем временем повалил дерево, обтесал ствол... «Что, мол, делаешь, такой-сякой? — спрашиваем. — Зачем яблоню сгубил?» А мужик отвечает: «Дом буду строить». Построил-таки — белый, красивый. Слышь, дочка, старики говорят, что видеть белый дом — к смерти. Помрет кто-то в нашей деревне. Наверно, я, старая?

— Ах, бабуся-кинем, зачем такие страшные сны рассказываешь? И так на душе невесело,

Хоть бы раз еще в руки косу взять,
Чтобы выйти на луг да себя показать.

Сенокос... Самый праздничный труд в череде крестьянских дел. Всегда при хорошей погоде, на свежем воздухе,

среди цветущих трав, в океане солнечного, благодатного тепла...

Если коса хорошо налажена, если есть сила в руках, как отрадно широкими взмахами расчищать себе путь, плывя по зеленому морю...

Луг обычно усеян нарядными косарями — не грех и похвастаться перед другими, показать свою удаль, ловкость и сноровку, азарт и упорство в труде.

Никто не хочет в это время сидеть дома, все на лугу. Там весело, как в хороводе. К этому времени кое-что поспело и на огороде, и в лесу. Молодежь вдоволь лакомится земляникой и клубникой, пальцы пахнут ароматными ягодами, губы розовы от сока, солнце золотит щеки. У девушек на головах венки из свежих цветов.

Угахви одна в избе: и мать, и сестра — на лугу.

С утра пекли хлеб, печь еще не остыла. Даже в сенях, обычно прохладных, — душно. Сквозь дощатые щели проникают солнечные лучи, похожие на голубоватые прозрачные ленты.

Железо на крыше нагрелось и едва слышно звенит от жары; этот тоненький звук пугает нечаянно залетевшую в сени осу, она тревожно жужжит, мечется среди стен, ищет выхода...

Пахнет хлебом, смолой и крапивой. Двери раскрыты настежь, и Угахви, сидящей на лавке, все хорошо видно и слышно...

Превозмогая боль — теперь болит не только локоть и плечо, но и грудь, и поясница — девушка выходит из избы.

Эх, побежать бы сейчас на луг да хоть разочек взмахнуть косой, потягаться силой с Ольгой и Хветли!

Прошло время, когда она была главной заводилой на сенокосе и жатве. Бывало, только ей одной поручали сделать первый сноп, говорили, что у нее рука легкая, — если, мол, Угахви начнет дело, значит, работа будет спориться.

...Здоровому человеку не понять, сколько сил требуется, чтобы, например, подняться с лавки, пройти по избе десять — двенадцать шагов, держась за стены, выйти из сеней и опуститься на ступеньки крыльца.

На верхней губе и на лбу выступают капельки пота, когда она наконец добирается до цели.

Слава богу, села. Тихо-тихо на деревне. Угахви погружается в оцепенелую полудрему: не то грезит, не то спит.

Вот прошмыгнул у самой ноги цыпленок, что-то нашел на половине крыльца — раздался тихий, едва слышный щелчок маленького клюва. Вот мекнула привязанная за колышек коза, слабый ветер донес с огорода свежий и сладкий запах цветущих огурцов.

И вдруг все исчезает. Она видит себя уже в саду, окруженная какими-то крохотными человечками. Человечки, взявшись за руки, водят хоровод и поют. Угахви радостно рассмеялась: очень уж забавной показалась их песенка:

Кто построил белый дом, страшный дом,
Размахался колуном, колуном?
Ни болезнь, ни злая смерть — нипочем,
Мы хозяйшку от горя сбережем.

«Они, наверное, — подумала Угахви, — тот белый дом — мою смерть поминают. Видно, сон, который приснился старухе Мадерне, теперь не сбудется; видно, жива останусь». А маленькие человечки, кончив петь и плясать, забрались по ней, как по дереву, и принялись ласково гладить больную руку. «Кто же это такие? — спросила себя девушка. — Неужто домовые? Так ведь они живут только в сказке или приходят во сне. Как жаль, что это только сон!»

И тут громко закукарекал петух. Угахви вздрогнула и очнулась — никого, никаких домовых, никаких сказочных ребятшек.

«Быть дождику», — почему-то подумала Угахви и взглянула на небо. На деревню надвигалась темная дождевая туча, в воздухе повеяло прохладой.

Но странное дело — она вдруг не ощутила ни слабости, ни боли.

— Вроде бы полегчало, — удивилась девушка, ощупав локоть и плечо.

Вечером она долго сидела у окна. Стекло облепило множество насекомых: мелких козявок, мошек, комаров — все они словно просились принять их в мир тепла и света.

Когда мать и сестра уснули, Угахви перевязала руку чистой тряпочкой, намоченной в сыворотке, и первый раз за много дней уснула спокойно. Иногда среди ночи она просыпалась, словно не веря, что ничего больше не тревожит, не ноет, не жжет. Огромными глазами она напряженно смотрела в темноту, прося у будущего ответа: поправится ли, дождется ли Колю?

Как два года назад, ей вдруг захотелось подняться и, не дожидаясь рассвета, отправиться в лес.

Так же осторожно, как и тогда, она сползла с кровати, нащупала в темноте теплые носки, надела галоши, сняла с гвоздика фуфайку.

Мать проснулась и спросила сонным голосом:

— Куда ты, хвораая, собралась на ночь глядя?

— Не волнуйся, скоро вернусь, подышу свежим воздухом.

— Смотри далеко не уходи,— предупредила Кулине и тут же вновь тихонько захрапела.

Пустынно и тихо на улице, не слышно даже и трещотки сторожа.

Однако она все-таки поостереглась идти в лес, присела на влажный от росы чурбан, на котором кололи дрова.

Утренняя звезда стояла над головой, и медленно проплывал туман, затопляя окрестности. С крыши дома, по дождевым желобам, скатывались на землю его редкие холодные капли...

11

Вышел я гулять во зеленый лес,
Обошел его с четырех сторон.
Лес в ответ же мне низко кланялся.

Угахви проснулась поздно, к обеду.

«Неужели я так долго спала? Да как не стыдно? Поди, мама ругалась,— подумала девушка смятенно, щурясь на яркий дневной свет.— Свет-то яркий, но погода пасмурная, сонливая».

«Потому и проспала»,— нашла объяснение Угахви и приподнялась с постели. Ноги, конечно, все-таки отекали, но не так сильно, как всегда, а рука вроде не ноет. Впервые за много дней больная почувствовала, что хочет есть. Она села за стол, наложила полную миску вареной картошки, круто посолила, накрошила зеленого лука.

После завтрака, убрав посуду, Угахви вышла на улицу. Ее охватило забытое детское блаженство: ни единого мутного помысла не было в душе. Тихие ветры проносились над землей, целовались с травами, нивами, полями, доро-

гами, тропинками, деревьями, поверхностями рек, ручейков и озер. Они радовались растениям, водам, прохладной почве. Казалось, вся природа охвачена зеленоватыми, тихо покачивающимися языками благовонного, но не палящего пламени.

Угахви заперла избу, сняла с крючка в сенях берестянку-кузовок и отправилась в лес. Через полевые ворота она вышла в поле, быстро пошла по тропинке, пролегающей через парк.

Дождь, который, по всей вероятности, начался с самого утра, когда она уже успела заснуть, был благодатный для урожая. Колосья ржи отяжелели и увесисто потряхивали начинающим наливаться зерном.

Она нечаянно вспугнула выводок молодых скворчат, которые поднялись с поля, как клуб черного дыма, закружились и растаяли вдали. Полевые воробышки вылетали из-под ног, неловко путаясь в мокрых ржаных стеблях.

Опять пошел дождь — мелкий, неровный, возле деревни он был крупный, а здесь, у леса, сыпал незаметно, лишь слегка увлажняя волосы и лицо. Угахви с наслаждением слизывала с губ сладкую дождевую влагу.

Перед тем как войти в лес, девушка остановилась, оглянулась. Вдали виднелась деревня. На краю любой чувашской деревни обычно высится ветряная мельница — гордо, как журавль, стерегущий свое гнездо. Мельница машет крыльями, словно отгоняет от своих детей все горести и злосчастья. Она и хозяйка, и кормилица. В прежние времена все зависело от мельничных жерновов, в их безостановочном движении — и жизнь, и благоденствие многих поколений.

У Угахви есть своя давняя игра: девушка любит представлять природу одушевленной, угадывать ее настроение... Сегодня, например, природа принимает образ доброго, сильного великана. Он весь — нежность и забота. Такой сам огромный, но видит и любит каждую букашку. Он — отец всему, что живет на его зеленой ласковой груди. Поэтому-то так неуловимо напоминают люди свои родные пейзажи.

«Наши, — думает Угахви, — похожи на луг во время снокоса — цветы полевые, конечно, не такие крупные, как в саду, но нежные и пахнущие по-своему. Для меня они лучше всех. У татар и башкир, у марийцев и мордвы дру-

гое лицо, другие повадки и характер, ведь у них природа другая: Волга, крутые берега, степи.

Вот с такими необыкновенными чувствами — с любовью к этим водам, растениям, плодам земли — она входит в лес. В осиннике в любую погоду свежо. Упавшие зелено-серебристые стволы деревьев пахнут приторно.

Среди тонкой травы мелькнула красно-оранжевая шляпка подосиновика. Белые, похожие на чисто вымытые блюдца, сухие грузди-скрипухи наполнены дождевой водой.

Угахви вышла на поляну Удиваны — «Златовласки», здесь всегда много сыроежек, груздей, чернушек, похожих на завяленную конину... Поляну окружают, словно девичий хоровод, молодые осинки.

Перешла через овраг. Когда-то здесь была дубовая роща, старые деревья срублены, сквозь просветы видна соседняя деревня да дом лесника.

Берестянка уже давно наполнилась грибами, но Угахви не торопится домой. Хорошо в лесу.

Дрозды-рябинники, серые, с ржавой грудкой, крупные, как голуби, подпускали близко и только тогда взмывали вверх, когда человек приближался на расстояние трех-четырех шагов.

Что значила для нее эта сегодняшняя прогулка? Не было ни одного случая, чтобы лес не утешил ее, не подсказал ответ на самый трудный вопрос.

«Ни с кем я не говорю так откровенно, как с тобой, лес-отец. Только ты один знаешь мои тайны. Только ты один слышал мои песни, ведь это ты научил и словам, и мелодии. Как красива твоя добрая душа! Сейчас она поет птичьим щебетом, танцует листьями, греет солнечным теплом, дышит горячей грудью свободного ветра. Ты любишь меня, я знаю. Так дай же мне силу, отец, верни здоровье! Вот я подставляю тебе навстречу свои больные руки, плечи, грудь. Коснись их своим могучим добром, сдуй беду чистым дыханием».

Как она заблудилась? Не понять... И лицо и икры погисцарапала. Тыльная сторона руки сочится кровью, наверно, порезалась осокой.

Угахви становится не по себе. Что-то она загулялась, — поди, уже далеко за полдень. Откуда-то налетел сердитый ветер, растормошил застывший в неподвижности лес. Вершины вязов, лип, дубов яростно загудели, словно охваченные огнем. За что эти деревья прогневали доброго отца, почему подняли бунт? О, какая смертельная схватка! Вет-

ви сгребают друг друга, сжимают в богатырском объятии, молотят и тузят... Настоящая битва!..

Угахви испугалась... Вот что ответил ей лес-отец. Значит, нужно бороться за жизнь, а не терпеть. Но как она будет воевать, если больше нет сил?

Она плачет и не может сдержаться. Не вини ее, лес-отец, за эти слезы. Не в холе и довольстве выросла, не искала удовольствия, не бегала от работы, не старалась переложить свои трудности на чужие плечи. Где, в каких далах затерялась ее свадебная карета-счастье?

«Вы, — хотелось сказать ей, — идущие за нами! Мы оставляем вам свою нерастраченную радость. Ради вас мы мерзли на морозе. Чтобы вы могли стать счастливой чемой, мы без поцелуев расставались с нашими любимыми... Будьте же вы достойны нас!»

Долго еще пробыла Угахви в лесу, успели высохнуть непрошенные слезы.

Затих лес. Зевнув перед сном, плеснул в лицо свежей прохладой. Края облаков покраснели, как медь.

12

Сорок подружек-ровесниц —
Как мне расстаться-то с ними?

После той памятной прогулки по лесу Угахви окончательно слегла — временное облегчение оказалось непродолжительным. Так иногда поздней осенью вдруг зацветает яблоня, и садоводы знают — значит, весной дерево засохнет.

...Наступила жатва, но девушка, как и в сенокос, опять осталась одна. Оживление, которое обычно сопровождает самую ответственную пору, не коснулось ее сейчас. Теперь уж Угахви и мечтать не может, чтобы выйти на вольный воздух. Две недели прошло с тех пор, как она не встает с постели. На лице ни кровинки, похудела: кожа да кости.

Не видит, а только догадывается, что сейчас происходит в мире. Должно быть, в кронах деревьев появились первые желтые листочки, предвестники осени.

Громко, проникая сквозь закрытую дверь и притворенные ставни, кричат грачи. Птицы готовятся к осеннему перелету, не спят всю ночь.

Больная чутко прислушивается, ловит малейший звук. Время тянется нестерпимо долго.

Единственная радость, когда возвращается из школы младшая сестра Люда.

...Не дверь ли скрипнула, не сестренка ли? Нет, это ветер толкнулся в сени.

«Тюнт!» — опять прозвучало. Не сестренка ли? Нет, это кошка спрыгнула с печи, неосторожно задев жестяную банку, стоявшую на притолоке.

...О такой радости она и не мечтала — прибежали Хветли и Ольга. Только что вернулись с лесозаготовок, в чем были, даже не стали переодеваться. Люди сказали, что подруга уже не встает.

— Эко, лежишь среди бела дня! — с притворным удивлением накинута на Угахви Ольга.

— Ты бы хоть «здравствуй» сказала, — улынулась Угахви, — ишь какая быстрая.

— Такая «быстрая», что не дай бог, особенно на работе. Без тебя, подружка, Ольга чуть не умерла от «сонной болезни» — так болела — по двадцать шесть часов в сутки!

— Ты уж скажешь! У Сахрунихи, что ли, научилась врать?

— Девчонки, милые, — приподнялась с кровати Угахви, чтобы обнять подружек. — Так соскучилась...

— Скучать некогда, давай поправляйся!

— Вы небось, с дороги, устали. Ступайте, потом зайдете.

— И то правда, мы к тебе еще забежим, а пока... Айда, Хветли!

И девчата убежали. Угахви, оставшись одна, грустно задумалась. Совсем взрослыми стали Хветли и Ольга, поздоровели, щеки полные и румяные. Кончилась для них война. Слава богу, хоть их пощадила.

— Кто там? — спросила больная, услышав шорох. — Люда?

— Нет, сношенька, это я, — ответила Авдотья-инге, появляясь на пороге. — Ты, говорят, захворала?

— Так немножко.

— А я к тебе с радостью. От Коленьки опять письмецо получила. Принесла почитать.

— Скоро ли вернется?

— Весной.

— До весны долго ждать,— вздохнула больная, взяв в руки измятый листочек. Какое мучение!.. Нет, не придется обнимать любимого, ловить его преданный, любящий взгляд. Она пробегает глазами строчки: «Мама, я почему-то очень волнуюсь за Угахви, мне кажется, с ней что-то случилось. Ради бога, не скрывай от меня ничего! Если она позабыла, нашла другого — все равно, я хочу знать правду... Для меня она не просто девушка, добрая, красивая,— я даже не могу представить свою деревню без нее. Пусть только живет на свете, моя или чужая. Обними ее за меня...»

— Как красиво пишет,— пригорюнилась Авдотья, следя за глазами Угахви, читающей письмо.— Ты, сношенька, не переживай, авось выздоровеешь!

— Почему вы все меня обманываете? — прошептала Угахви, отвернувшись к стене.— Я ведь больше вашего знаю — не подняться мне, не подняться!

— Что сказать? — заплакала Колина мать.— Не чужая ты мне. Не знаю, что будет с сыночком, как вернется... Такое горе, такое горе... Мало ему, бедному,— натерпелся и войны, и плена, и чужбины...

— Скоро молотьба,— Угахви перевела разговор на общую тему,— как в колхозе?

— Слава богу, нынче машину прислали, новую.

— Хорошо. Посмотреть бы хоть одним глазком. Вон какая я стала: и сенокос без меня, и жатва, а теперь и молотить начнете без «шпингалетины».

— Пошла я,— утирая слезы подолом передника, промолвила Авдотья, поднимаясь с лавки.— Не скучай.

— Ладно,— через силу улыбнулась Угахви.— Большое спасибо, что зашли, принесли от Коли хорошую весточку. От меня привет передавайте, пишите обо мне, что знаете, вам видней. Только потом расскажите: любила его, очень любила. Пусть не горюет, пусть живет счастливо!

...Молотьба.

Сегодня Угахви захотелось посидеть у окошка. Мать постелила постель и за руку, осторожно, как маленькую, подвела к раскрытым настежь рамам.

— Не надует?

— Какая разница,— усмехнулась дочка бескровными, посиневшими губами.

И весь день слушала больная голоса на току, бодрое гудение молотилки, крики мальчишек-погонщиков.

А в небе все кружились и кружились грацинные беспокойные стаи над полосками жнивья, золотистыми от солнечного света.

«Поле цвело и увяло; и хлеб колосился — его убрали — все в жизни так. Люди умирают и рождаются. Не я первая, не я последняя. Нет на земле ничего вечного. Жалко расставаться с красотой — как я люблю все это, каждую травинку, каждую выгоревшую дощечку на старых воротах. Только и знала, что любила. Любила и трудилась, как земля, как поле, что теперь отдает свое добро людям. Хорошо знать, что ты похож на плодородное поле — ничего не утаил от людей, все наработанное за жизнь отдал другим. А теперь не хватает сил даже порвать нитку».

К вечеру после работы в избу Угахви вкатилась целая делегация: Хветли с Ольгой, Таня, незнакомая девушка из райкома комсомола.

Угахви не смогла выбежать им навстречу, даже не приподнялась с кровати, а лишь облокотилась на здоровую руку.

— Поздравляем, поздравляем, — крикнули все хором и принялись обнимать подругу.

Оказывается, Угахви наградили медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

— Не знаю, как и отблагодарить, — только и смогла вымолвить больная, поглаживая слабыми пальцами блестящую поверхность латунного кружочка.

— Приколи на грудь, — кинулась Ольга, — давай я. Вот и встретишь жениха с правительственной наградой. Знай наших девчонок-колхозниц!

Угахви грустно улыбнулась — только одному человеку, Авдотье-инге, она призналась во всем. Так было надо, она чувствовала. Подругам и матери необязательно знать правду — они и так скоро сами увидят...

На следующий день пришла председатель колхоза.

— Поедешь в санаторий, — сказала Тарья, — на Кавказ.

— Я? — вскинула на нее удивленные глаза Угахви. — Разве можно?

— Можно, можно, — заверила председатель решительным тоном, скрывая за ним все, что ей недавно пришлось пережить, добываясь путевки. Поругалась с заведующим райбольницей, дошла до самого министра здравоохранения.

И врачи-специалисты, и работники партийного аппарата — все отговаривали ее от ненужной затеи. Врачи так прямо и заявили: «Поздно, начался сепсис». Но недаром во время войны Тарью выбрали председателем — добились-таки своего.

— Смотри не подведи меня! Докажи всем, что ты сильная духом, бери болезнь за горло. Дней через пять надо выезжать.

— Ах, Тарья-инге,— проговорила Угахви.— Я бы оторвала кусочек души — и то мало было бы за твою заботу. Только ведь сил нет, ни крошки не осталось.

— Что-нибудь придумаем,— произнесла на прощанье Тарья свою любимую фразу.

Но эти ободряющие слова оказались напрасными — ничего уже нельзя было «придумать».

Как-то, дня через три после того, как Угахви наградили медалью, сестренка заметила, что больная сильно побледнела и дышит с трудом.

— Мам, а в больнице сказали, что ей надо руку отрезать. Так она не согласилась...

Кулине опустилась на стул, даже рта не могла раскрыть — с такой силой обрушилось на нее горе. Потом, кое-как придя в себя, заторопила младшую дочь к фельдшеру, в медпункт.

— Отнимите руку,— взмолилась мать,— пусть безрукой останется, лишь бы выжила!

— Надо было раньше вашей дочке думать. Готовьтесь!

— Помрет!.. — Кулине в ужасе уставилась на фельдшера.

— Да,— протянул он удрученно.— Чудес на свете не бывает.

Но Угахви, против материнского ожидания, уснула после ужина спокойно.

«Может, ошибся лекарь-то — молодой совсем, что знает? Вон и дышит ровно, не стонет, не просыпается», — успокаивала себя мать.

Ночь прошла без тревог. Больной снился красивый сон. Будто она на Кавказе, будто бродит среди облаков, поднявшись на высокую гору. Угахви — счастливая невеста. Она готовит приданое — перину из белых пушистых облаков, набивает ими насыпку...

Утром был первый мороз, листья на ветле почернели. Угахви после сна съела яйцо и выпила стакан молока. Ку-

лине не могла нарадоваться. Значит, медик ошибся, напрасно пугал.

К обеду дочка вдруг что-то забеспокоилась, приподнялась с постели, рассеянно обводя комнату блестящими, лихорадочными глазами.

— Где? — спросила прерывающимся голосом. — Где Лю-дочка?

— Уй, никак тебе плохо — всполошилась мать. — Да ты лежи, лежи...

— Встать хочу, мама. В последний раз. Фельдшер правду сказал. Мне бы выйти на крылечко.

— Хорошо, хорошо, доченька, сейчас. Ну-ка, держись за шею. Так. Не бойся, крепко держу.

«И держать-то нечего — кожа да кости. Легонькая, как перышко», — подумала Кулине и заплакала.

На дворе радостно залаяла собака, увидев молодую хозяйку. Порыв ветра разбрызгал воду из полного ведра, стоявшего на крыльце. На ступеньках — черное пятно: керосин, что ли, пролили...

Угахви старается не пропустить ни одной мелочи: листья яблони, упавшие на землю еще зелеными, вдруг вскакивают, как солдаты перед атакой, бегут врассыпную, потом опять ложатся, прижимаясь к земле.

В огороде желтеет поздний подсолнух. Кажется, он боится с ветром, как теленок. Головка у другого — сухая, почерневшая — бессильно свисает с обтрепанного стебля.

— На меня, — через силу говорит девушка, — наденьте фартук с перекрестными лямками. Повяжите платок бати-стовый. На ноги — черные онучи, новые, я приготовила.

— Угахви, дочка, какие страшные слова говоришь! Гляди, вот встала уже, завтра, может, и еще получше почувствуешь себя. В санаторий я тебя собрала, пирожков испекла.

Но та не отвечала, пробовала было ответить — не смогла... Еле живой дотащила плачущая Кулине свою дочку до постели.

Угахви отвернулась к стене и вдруг громко запела:

Когда голубь взлетел в поднебесье,
Предвещал он ненастные дни...

Мать в ужасе застыла на месте.

— Да ты ведь у нас никогда не певала! — воскликнула Кулине. — Никогда! — и кинулась из избы звать домой

младшую, которая делала уроки у школьной подружки. «Давеча спрашивала Люду — проститься хочет. Надо думать, медик правду сказал. Угахви моя помирает».

Растрепанная, с безумными, остановившимися от горя и страха глазами, бежала мать по улице, не чувствуя под собой ног.

Скоро скорбная весть о том, что Угахви кончается, разнеслась по всей деревне.

Люди бросали все свои дела и спешили в дом Кулининге, но по дороге останавливались, прислушивались — из окон умирающей неслась песня:

Как у голубя крылья сломались,
Так сломались и руки мои.

«Господи Иисусе, — крестились старушки, — такого отродясь не слыхали».

Вернулась мать с младшей сестрой, собрались соседи, родственники, подруги...

Угахви больше не пела. Ее шумное и трудное дыхание заглушало стук старинных ходиков, потом оно ослабело, и все — не стало больше на земле этой чудесной девочки.

13

В радостный день весны
Отчего ты плачешь, белая береза?

Лето. Самая его середина...

Солнце, предрекая долгие ясные дни, затянуто сегодня туманной дымкой.

На лесной опушке появляется человек в военной форме, но без погон. Он совсем еще молод, года двадцать три — двадцать четыре. Строен, высок, подтянут... Вещмешок висит на прямом крепком плече. Лицо задумчивое, складка на лбу говорит о перенесенных жизненных испытаниях. У людей, хлебнувших горя, не сразу поймешь, что на душе.

Это Коля, бывший жених Угахви. О том, что он «бывший», Коля не знает — мать так и не ответила на вопросы о невесте. Все-таки, что с Угахви, как она? Если вышла замуж, уехала, то, безусловно, такая новость не из веселых. Но что поделаешь: не может он упрекать молодую красивую девушку за то, что она захотела устроить свою судьбу. Жены мужей не дожидались, а тут просто знако-

мый парень... Правда, Угахви не легкомысленная вертушка: с глаз долой — из сердца вон. Однако не верится, что ждет его до сих пор. Неласково обошлась с ним судьба. Все фронтовики уже давно вернулись, а ему пришлось попасть в западную зону, повидать Европу и с большим трудом потом выбираться на родину из самого Брюсселя. И вот наконец после всех мытарств он — дома.

Какой здесь все-таки воздух! Не сравнимый ни с чем. Кто бы мог подумать, как важны все эти «мелочи» — запахи, звуки... Больше всего он страдал на чужбине от чужого немилого запаха, особенно в Германии, насквозь пропахшей эрзац-мылом, химическими средствами для борьбы с насекомыми.

А звуки... Они повсюду. Звучат деревья, трава, поле, лес, река. Звучат в полную силу, не заглушаемые ни хрипылыми голосами конвоиров, ни рвущей душу издевательской солдатской песней про Лили Марлен, ни визгливой мелодией губной гармошки, лаем сторожевых немецких овчарок.

«Чувствовать и любить природу, — подумал Коля, — может только свободный человек». Ему, художнику, ни разу за все время, пока он был в плену, и уже позже, после освобождения, не захотелось не то что любоваться, а просто замечать ее. Чужая земля теряла привлекательность уже только потому, что была чужой. Иной раз ему даже враждебным казалось немецкое низкое небо, а в парках и садах деревья казались фальшивыми, ненатуральными. Прославленные красоты совсем не трогали сердца...

«Сколько же я напишу здесь!», — мечтательно подумал Коля, вглядываясь в любимые с детства места.

Вон с той возвышенности мир кажется могучим и просторным. А если взглянуть на рощу, что раскинулась рядом с деревней, то представляется почему-то древняя, седая старина: длиннобородые чуваша в холщовых рубахах и белых онучах идут лесовать: бортничать, драть лыко, валить деревья, корчевать лес для новой пашни.

Это неправда, когда говорят: «Был человек — и нет его». Если человек был, то он и остался. Конечно, если только не проскользнул по жизни, как птичья тень по лугу.

«Есть закон сохранения энергии, физический закон, — думает он. — А нравственный закон звучал бы как закон сохранения любви».

Любовь всегда жива. Если ты любишь землю, то она тебя никогда не забудет, сохранит и прославит каждый

твой шаг. Как заботливая мать, сохраняющая на память о своем ребенке все — от первого «агу», первых шагов, первых слов, первых рисунков, школьных тетрадей и шалостей до глубоких душевных переживаний в дни юности и зрелые годы, так и родина — святой клад преданий о тебе самом, о твоих предках, о земляках, о всех, у кого одна с тобой кровь, один язык, одна душа. В этом-то и есть главный секрет, почему люди так любят места, где они выросли.

Не думал не гадал этот молодой человек, чья жизнь в родном краю была недолгой, каких-нибудь восемнадцать лет, что земля все-таки запечатлела в своем ландшафте и его коротенькую историю. Как только Николай оказался здесь, потянуло старым и, казалось бы, потускневшим, забытым. Словно возрожденные неведомой силой, встали перед ним прежние дни. Он вновь ходил, радовался, пел и любил. Все, что имело ценность, все искренние и глубокие чувства всколыхнулись в его душе, отраженные в цвете и звуках, в запахах и дуновеньях.

Казалось, здесь каждый камушек, каждый цветок, каждое дерево, каждая птица — все сохранило память о нем.

Взять хотя бы этот маленький пруд. Его ровная, чистая, прозрачная вода помнит одно из дорогих мгновений: здесь впервые он понял, что любит Угахви, трогательную, серьезную, чистую...

Коля долго стоял над водой, открыв сердце сокроенному, потом оглянулся. Где-то поблизости должно быть старинное кладбище. Ах, вот оно... Нынче печальное место было отмечено новой деталью — юной березкой. Откуда она взялась?

— Бабушка, — спросил Коля у встречной старушки. — Что это за березка?

Старушка на минуту приостановилась:

— Господи, да неужто ты? Вернулся, значит. Вот радость-то Авдотье! Чай, ждалась тебя мать, спешика домой...

— Как она там? Здорова ли?

— Здорова, здорова...

— А деревня наша?..

— Что ей делается — стоит.

— Соседи как?

— Кто жив, а кого больше нет на белом свете, ушел в расцвете лет... Сам знаешь, война.

— Да, много наших погибло...

— И не только на фронте, сынок, но и в тылу покалечились люди. Молодые, красивые...

— Постой,— прервал старушку встревоженный Коля,— ты о ком этот разговор ведешь? Или скрываешь что?

— Да не скрываю, такого не скроешь — придешь, первым делом об этом тебе мать расскажет. Вот березка, про которую спрашиваешь, так ведь она на могиле Угахви выросла.

— Как? Не может быть! Угахви...

— Так, сынок, так. Тяжело работала, сильно заболела, вот и померла, сердечная. Вся деревня наша по ней убивалась. Посадили мы дерево, с тех пор и называем его «Агафьиной березкой».

...Вокруг березки с печальным шелестом бродит ветер. На месте сломленного когда-то сучка проступила темная смолка — след от пролитой слезы.

Коля присел рядом с могилкой.

Вот и все, что ему осталось. Странное дело, почему-то вспомнилось — не любили немцы русской березы, приходилось видеть, как безжалостно рубили ее оккупанты, чтобы выкладывать из белых молодых стволиков низенькие штакетники перед блиндажами и боевыми точками. Сколько загублено было светлой радости ради временного, недолговечного комфорта... Что им было за дело до обыкновенного дерева? Рука фашиста не дрожала и тогда, когда на той же самой березе, почитаемой в народе за красоту, вешали седобородых стариков и совсем еще юных пацанов.

И его Угахви не пощадили враги — дотянулась-таки вражеская рука и до далекой Чувашии. Если бы не война, разве ушла бы из жизни такая девушка?

Ах, Угахви, Угахви... Вот почему молчала мать... Вот почему так болело его сердце, охваченное тяжелым предчувствием...

Стоит березка, молодая, полная сил. Стоит, низко опустив кудрявую голову, словно горюет вместе с ним. Тонкие, гибкие ветви, усыпанные сережками, склоняются до земли. Белоснежная, почти прозрачная береста на ее стройном стволе местами сорвана, ее треплет ветер, обнажая свежую, с голубизной, кору. Под березкой холмик. На холмике — фанерная пирамидка с красной звездочкой наверху.

Сколько таких могилочек осталось позади... Не думал он, что повстречается с ней здесь, на родной земле, что вместо

живой Угахви встретит его березка, названная земляками «Агафьиной»...

Медленно приподнимается Коля с земли, снимает с головы пилотку, низко кланяется той, что так радостно и открыто смотрит на него с фотографии живыми, искрящимися глазами.

«Прощай, Угахви, здравствуй, Агафьиная березка!»

РАССКАЗЫ

ДВОЙНИК

1

Я — журналист, работаю в республиканской газете, в молодежном отделе. Мне двадцать восемь лет, рабочий стаж — четыре с половиной года. Стать газетчиком — моя детская мечта. В школе мне говорили, что я чувствую слово, обладаю воображением, пишу интересно и, вообще, прирожденный гуманитарий.

На работе, в редакции, скоро стало ясно: похвалы сельских учителей, мое собственное мнение о себе, как о человеке талантливом, не совсем оправдались: материалы писались с трудом, приходилось голову ломать над каждой ерундовой информацией, а уж о больших вещах — проблемных статьях, очерках и обзорах — и говорить не стоило — переписывал их по многу раз, и все равно редактор обычно вымарывал чуть ли не половину. Журналистские удачи случались редко. Одним словом, к тому времени, как началась эта история, я находился в положении отнюдь не блестящем...

События, о которых пойдет речь, стали разворачиваться после довольно бурного совещания животноводов. Измученные утомительными прениями, участники наконец смогли отправиться пообедать. Я забежал в буфет столовой, чтобы купить папирос и выпить стакан кофе с бутербродом.

Стоя в очереди, я так увлекся собственными мыслями, что и не заметил, как кто-то дергает меня за рукав.

— Оглох, что ли, совсем? — раздался за спиной знакомый голос. — Кричу — не докричусь!

— Люда? — обернулся я и увидел перед собой смеющуюся девчачью физиономию.

— Нет, — ответила насмешница, — Алла Пугачева!

— Простите, Алла Борисовна, — я с ходу включился в

игру,— что вы делаете здесь, в этом скромном буфете? Разве вы не в Париже?

— Во дает! Сразу видно— писака,— откликнулась Люда,— не придумаю, что и ответить...

— То-то, будешь знать, как задирать взрослых дяденек, коза!

Девчонка и вправду похожа на брыкливого козленка: в ее черных глазах столько веселого озорства, что, кажется, того и гляди, выкинет какую-нибудь штуку. Я частенько осаживаю ее так, и каждый раз Люда восхищается моей находчивостью. Пожалуй, только для нее одной я — неоспоримый авторитет.

— Поздравь меня,— говорит девушка и подает крепкую маленькую ладошку,— с завтрашнего дня работаю самостоятельно. Станок дали. Пообедаю— пойду его чистить.

— Молодец! Ай да молодец! Тут не то что руку пожать, а и поцеловать не грех.

— Слабо, дяденька! — смеется Люда.

— Конечно, слабо.

Неожиданно для самого себя я покраснел и в замешательстве забыл попросить у буфетчицы кофе с бутербродом. Рассеяннo сунув пачку папирос в карман, я хотел было отойти, но Люда остановила:

— Обед журналиста? А сами пишете о вреде курения. Нет, так дело не пойдет! Девушка,— обратилась она к буфетчице,— суп, гуляш и кофе с бутербродом. С колбасой или с сыром? — спросила у меня с деловитым видом.

— С колбасой,— промямлил я, злясь на самого себя. «Надо же, эта пигалица, от горшка два вершка, и туда же — командовать. Мало надо мной всяких командиров! Посадил себе на шею это чадо... Какой же я все-таки слабовольный...»

Отношения у меня с Людой особые. Полтора года назад в одной из командировок мне довелось познакомиться с симпатичной старушкой. Узнав, что я из газеты, она обрадовалась:

— Ты, милок, помоги. Не знаю, что с внучкой делать — пока жива была мать, да и сама я еще не совсем остарела, справлялась, а теперь нету мочи. Уехала-таки моя вертхвостка к вам в город. Школу закончила и махнула... Пишет, устроилась дворником по какому-то лимиту. Не знай, что за «лимит» такой?

— Значит, городской прописки добивается. Сейчас многие так поступают.

— Хорошо ли? Не испортится девка?

— Всякое может быть, от нее зависит.

— Ты уж меня, сынок, уважь. Разыщи внучку, не поленись.

Что поделаешь? Жалко мне стало старуху, да и дело сперва показалось пустячным. Разыскал Люду легко — зашел по адресу, который дала бабка, и узнал, что «вертихвостка» к тому времени уже трудилась на стройке маляром. С первого взгляда мне показалось, что здесь ей не место — очень уж выделялась она среди грубых, разбитных девах. Невольно вспомнилось опасение старушки: не испортится ли девка? Вот тогда-то и пришла мне в голову мысль устроить девушку к нам в редакцию. Редактор, выслушав историю с сиротой, оформил Люду машинисткой, и она благодаря своей сообразительности быстро освоила машинопись.

Как-то приношу ей отпечатать свой материал, а она вдруг и говорит:

— Хочу работать на комбинате. Не могу я тут прозябать за машинкой. Люди трудятся, полезные вещи производят, а я с буквами ковыряюсь — сколько бумаги извела! Какую-нибудь информашку по десять раз перепечатаваю. Не понимаю, зачем вы столько раз переписываете? Неужели сразу не можете — коротко и ясно?

— Что ты понимаешь в нашем деле? — возмутился я. — Ишь Белинский выискался!

— Вот и хорошо, если не понимаю, — значит, и вправду не мое это дело.

— Сидела бы и молчала. Скажи спасибо и за это — все лучше, чем улицы мести!

— Спасибо, — сверкнула глазами Люда, — большое спасибо, да только все равно уйду. В крайнем случае, в деревню вернусь.

«Нет, так не годится, — решил я, — надо что-то предпринимать, не отпущу я ее. Да и перед старушкой будет совестно...»

— Ты хорошо подумала? Обратно проситься не будешь?

— Не буду. Если тебе трудно помочь, то, может, я...

— Никуда ты не уедешь. Не морочь мне голову своими глупостями, и так тошно...

— Что, — сочувственно поинтересовалась Люда, — опять не пишется?

— Пишется, не пишется... Нахваталась словечек.

— Послушай, не сердись,— сказала она тихо и взглянула на меня своим особым взглядом.

Что за девчонка! Невозможно устоять перед ее натиском: сколько бы ни возмущался — все равно будет так, как ей хочется!

Скоро моя «вертихвостка» щеголяла в черном рабочем комбинезоне, совсем как заправская ткачиха. Форму эту Люда и на улице не снимала, так и ходила вечно в какой-то вате, с белыми и цветными нитками, прилипшими к рукавам и косынке. Весь ее вид говорил: я — рабочий человек!

Вот и сейчас стоит в очереди с независимым видом.

— Ты чего там? — спохватываюсь я. — Где твой шницель?

— Велели подождать, готовят. Ты уже поел? Тогда я провожу тебя.

— А ты? Не будешь обедать?

— Бог с ним, со шницелем, мне и есть-то не хочется...

— Может, у тебя денег нет? — вдруг догадываюсь я. — А ну-ка, выкладывай начистоту!

— Полный карман! Ты что, дяденька, забыл, что я — Алла Пугачева? «Миллион, миллион, миллион алых роз...» — дурашливо напевает Люда.

— Слушайся старших, — я встаю из-за стола, направляюсь к очереди и кладу в карманчик ее рабочей спецовки грешку, — и чтоб это было в последний раз. Ишь благотворительница! Если узнаю, что ты сегодня останешься без обеда, а я узнаю, то пеняй на себя!

— Завтра зайду в редакцию, — обещает Люда и опять обжигает меня своим настойчивым взглядом, — все-таки последнее слово остается за ней.

— Буду ждать, — отвечаю вяло, злясь на свою мягкотелость.

...До чего бывает нудно сидеть на совещании — круг проблем для меня уже ясен, знаю, что надо «отразить», а ораторы все тянут и тянут надоевшую канитель. Эко их распирает... Однако на моем лице заинтересованность — без этого газетчику нельзя, это его стиль.

За окнами бушует юный, зеленый июнь. Сейчас бы хорошо на лодке покататься или побродить где-нибудь по лесу.

«С любимой девушкой», — подсказывает ехидный внутренний голос.

Но «любимой девушки» у меня нет — была, да сплыла.

Честно говоря, пережив такую передрыгу, как-то не хочется вновь ревновать, мучиться, не спать ночей. Кому нужны эти «сердечные бури»?

Сам того не замечая, я за последнее время усвоил привычки старого холостяка. Дома у меня идеальный порядок, все на своих местах. Я ничего не ищу, вещи не теряются, ни пылинки, ни соринки на полу. Уборка квартиры становится каким-то священным ритуалом. Оказывается, довольно легко можно обойтись без пресловутых женских рук — теперь во всяком случае, когда есть пылесос, прачечная и столовая. Мне нравится одиночество: никто не тормозит, не дергает, не норовит взвалить на тебя ношу забот и таких непонятных, нелогичных и странных женских причуд. Кроме того, мне кажется, что стоит изменить привычный жизненный уклад, и мои мечты о творческой работе никогда уже не осуществляются.

Пока, конечно, до настоящего творчества далеко, но верится: придет час, когда я запишу, да как еще запишу!.. Те скромные и робкие попытки — заготовки рассказов, неоконченные повести, какие-то случайные стихи — не в счет.

...Наконец-то наступает желанная минута. Участники совещания шумно встают и направляются к выходу. Кто-то, не сумев высказаться до конца на трибуне, ловит первую попавшуюся жертву: что-то доказывает, горячится. У «жертвы» обреченный вид — скорей бы удрать...

С облегчением вдыхаю свежий воздух. Поливальная машина в третий раз проезжает по центральной улице, рассеивая над асфальтом мелкую водяную пыль. Перед капотом встают небольшие радужные арки. Я наслаждаюсь долгожданной прохладой после душного и шумного дня.

Перед театром меня вдруг останавливает незнакомый человек. Он среднего роста, шатен, с серыми колючими глазами. На вид ему тоже, как и мне, лет тридцать.

— Можно вас на минуточку? — говорит незнакомец приятным, чуть глуховатым баритоном.

— Конечно. А в чем дело?

— Вы — Степанов? — спрашивает он, называя мою фамилию.

— Да. А вы кто?

— И я — Степанов, — отвечает мужчина.

— Значит, однофамильцы?

— Выходит, так.

— Может, еще и инициалы одинаковые? — спрашиваю я раздраженно. Мне вовсе не хочется сейчас общаться с кем

бы то ни было — устал, как собака. — В чем все-таки дело?

— Инициалы те же, — спокойно отвечает мой однофамилец. — Только я. — Гурий Миронович.

— Очень приятно, Гурий Миронович, но, видите ли, я сегодня замотался — домой спешу. На совещании целый день отсидел. Сами понимаете, не до знакомств. Отдохнуть надо.

— Да, я понимаю, — говорит Гурий Миронович, — только у меня к вам дело есть. А отдохнуть... Посидим в кафе — вы ведь человек холостой, свободный.

— Ах вот как... И это вам известно? Любопытно... Детектив какой-то получается...

Говоря так, я почувствовал то особенное состояние, которое знакомо, наверно, каждому журналисту. Оно позволяет безошибочно угадать, когда «идет сюжет». Как-то Люда спросила, смогу ли я прыгнуть с парашютом, я ответил: «Если просто так, то, пожалуй, откажусь, а за материалом — и раздумывать не стану». Потому-то я и согласился на предложение нового знакомого, что уловил за его словами какую-то скрытую от меня информацию.

Мы зашли в кафе.

— У меня был младший брат, — начал Гурий, когда мы устроились за небольшим столиком, — так вот из-за него я и решил вас побеспокоить. Ради бога, простите мою навязчивость.

Честное слово, Гурий мне сразу понравился своим серьезным и интеллигентным видом. Что-то в его облике, в манере говорить выдавало человека развитого, думающего. Интересно, кто он? Похож на «технаря» или высококвалифицированного рабочего.

— Разрешите узнать, — спросил я, — кто вы по специальности? Может, это дурная привычка, но журналист, как правило, сразу же старается определить, с кем он разговаривает.

— Я знаю, что вы журналист. Собственно, мое дело касается вас лично. Вас и моего брата. У него, кстати, не только инициалы, но и имя было ваше. Но сперва отвечу на вопрос. Сварщик я, а брат работал монтажником.

— Почему вы, Гурий, говорите о брате в прошедшем времени? Он уехал куда-нибудь?

— Он погиб, — просто ответил мой знакомый. — Вам пиво или нарзан?

— Нарзан, — ответил я машинально, с любопытством следя, как Гурий спокойно идет к буфетной стойке. Мне

всегда нравились люди, с достоинством переживающие свое горе. Я этого не умел и, сталкиваясь с такими характерами, всегда завидовал.

Гурий скоро вернулся, открыл бутылки, разлил воду в фужеры.

— Дело в том,— начал он, задумчиво вертя в руках гладкую стеклянную ножку,— что однажды брат получил письмо, года три назад. Адресовано оно было вам. Еще подробность: Геннадий жил на одной с вами улице. Только вы живете в доме под номером «52», а он—под номером «25».

— Жил,— уточнил я.

— Ну да, жил,— поправился Гурий.— Все в адресе совпадало: фамилия, инициалы, улица,— только маленькая заковыка с цифрами вышла.

— Потрясающе. Нарочно не придумаешь... Ну и что же произошло дальше?

Я начинал увлекаться. Этот разговор разом снял скуку и усталость, накопившиеся за день.

— Рассказывайте,— я отпил глоток из своего фужера, закурил.

— Теперь вы меня торопите,— заметил Гурий,— а ведь мне нелегко будет говорить. Тем более что я еще не знаю, что из всего этого выйдет, не рассердитесь ли?

— Разве я произвожу впечатление брюзги?

— Да нет. Только дело очень деликатное...

«Что с ним случилось?— пронеслось в голове.— Почему он больше не улыбается, почему так осторожно подбирает слова, будто боится разбить хрупкое, непрочное стекло?»

— Честно говоря, брат мой поступил легкомысленно, пожалуй, даже непорядочно. Он и не подумал отправить письмо по назначению, хотя отлично знал вас по газете. Вместо этого он взял бумагу и ручку и, посмеиваясь над вами, над собой, над неизвестной корреспонденткой,— а это была девушка,— набросал ответ от вашего имени. Вскоре от нее пришло новое письмо, завязалась переписка, и брат стал относиться к этому серьезно. Почему? Кто его знает... Может, оттого, что Геннадий готовился стать педагогом и учился заочно на историческом. Ему интересно было подискутировать с восьмиклассницей. Спросите, что общего у взрослого человека и девчонки? Вспомните-ка себя в эти годы. Я, например, в шестнадцать лет интересовался многим: читал, философствовал, искал смысл жизни... Вот и девушка оказалась горячей, страстной, увлечен-

ной. Не обижайтесь, но брату пришлось нелегко — ведь он, как говорится, принял ваши грехи на себя. Упреки так и сыпались: его укоряли в мелкотравчатости, в незнании жизни, в ходульности и официальной трескотне, даже в криводушии. Вижу, вы огорчились? — прервал рассказ Гурий.

— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста, — ответил я через силу.

— Самым трудным вопросом оказался следующий. «Почему, — писала девушка, — вы в письмах совсем другой, чем на страницах газеты? Что вам мешает быть и там таким же чутким и честным, как в письмах ко мне? Трусость?»

— При чем тут трусость? — не выдержал я.

— Постарайтесь не принимать все так близко к сердцу. Да и брата поймите. Он думал, что эта история заглохнет сама собой. Девушке в конце концов надоест писать, но Геннадий ошибся. Я ее понимаю: если бы мне самому, деревенскому пареньку, повезло общаться, хотя бы письменно, со взрослым человеком, да к тому же еще и газетчиком, я бы не отказался... Прошло два года, девчонка повзрослела. Брату было приятно получать от нее признания за «ту огромную роль, какую он сыграл в ее жизни». Но когда она написала, что собралась поступать в педагогический институт на филфак, Геннадий не на шутку струсил. Дело для него могло кончиться разоблачением. Вдруг Тая заявится в редакцию, прямо к тому, кому писала эти два года, то есть к вам?

И тут он получил от нее фотографию. Вот эту, — Гурий выложил на стол карточку.

— Недурна, — заметил я с напускным равнодушием, хотя девушка была настоящей красавицей. Светлые глаза, черные, до плеч волосы, нежный округлый подбородок, мягкий улыбающийся рот.

— Вот такая и есть Тая. Брат совсем потерял покой. Что ему оставалось делать? Если он признается девушке в обмане, если она узнает, что Геннадий липовый журналист... Быть историком тоже неплохо, но газетчик... Тогда Геннадий решил попробовать — так, на всякий случай, — сможет ли он на самом деле стать тем, за кого себя выдавал? Напечатал очерк в «Строителе» о ребятах-монтажниках.

— Пойдите, что-то припоминаю... Да, точно, я еще удивился тогда — «надо же, однофамилец объявился»...

— Как бы дальше разворачивались события, неизвест-

но. Но вот она приехала. Геннадий увидел ее фамилию в списке поступивших, а потом сразу узнал в толпе студентов. Конечно, оказавшись в городе, Тая тут же написала брату, и он, чтобы предотвратить вашу неминуемую встречу, ответил обидным для любой девушки письмом, в котором просил Таю больше его не беспокоить. Девушка сгоряча вернула ему все его письма. Долго молчала, но потом не выдержала и опять дала о себе знать. Нелегко было теперь, когда он смог ее часто видеть, отказаться от знакомства... Теперь все зависит от вас.

— Почему? — удивился я. — Чем и кому я могу помочь? Да и брата вашего уже нет...

— Знаете, незадолго до смерти брат просил меня передать вам свое раскаяние и попросить прощения.

— Охотно прощаю, — сказал я раздраженно. — Может, и нехорошо с моей стороны так отвечать, но что мне остается делать?

— Геннадий не отправил последнее письмо, в котором раскрывал свой обман, — побоялся, очевидно. Тая — девушка впечатлительная... Вот и попросил меня обратиться к вам. Как незаинтересованному лицу, вам легче объяснить все девушке. Ведь рано или поздно обман раскроется.

— А почему бы вам самому не распутать это дело — по-родственному, так сказать?

— Брат показывал мне как-то Таю. И я не могу, поверьте, не могу. Она действительно особенная... Вы — дело другое: журналист, привыкли иметь дело с человеческой душой. Кроме того, неужели вам неинтересно узнать, что о вас думают читатели? В их письмах много, на мой взгляд, любопытного...

— Вот что, — говорю решительно, — у меня своих забот хватает. Зачем ввязываться еще и в эту историю?

— Хотите отказаться?

— Да, хочу, имею право.

— Ваше дело, — неожиданно сник Гурий, — жаль. Я почему-то думал, что согласитесь.

Теперь и мне стало не по себе — выходит, «сюжет» не состоялся: я не смог «дотянуть» его, недописал, остановился на полдороге. В памяти вдруг всплыли все мои незавершенные литературные попытки — брошенные черновики, пылящиеся и желтеющие в письменном столе...

— Давайте сюда ваши письма и... — добавил я почему-то со злорадством, — фотографию. Эдак вы меня засватае-

те. Вот возьму и женюсь на вашей несостоявшейся родственнице!

У Гурия заходили желваки на крутых волевых скулах, серые глаза приобрели стальной оттенок.

— Пусть она сама решает.

«Рассказец может получиться неплохой,— подумал я, прикидывая все «за» и «против»,— правда, на эту историю придется потратить немало времени».

Распрощались мы вполне дружелюбно.

Придя домой, в спокойную, уютную квартиру, я пожалел, что поторопился, позволил себе увлечься. Теперь вот, вместо того чтобы включить телевизор или почитать, подумать о статье, которую должен сдать в номер, придется корпеть над чьими-то письмами, распутывать чужие отношения.

Первые письма Таи-школьницы к тому же оказались малоинтересными. Я часто вынужден был читать подобное в редакции и никогда не мог понять таких авторов. В самом деле, чего добиваются эти люди? Порой казалось, что некоторые из них хотят только одного: во что бы то ни стало увидеть свою фамилию на газетной полосе. В их суждениях не было ничего нового, своего, выстраданного. Из письма в письмо кочевали пространные заемные рассуждения, давно превратившиеся в общие места. С серьезным видом, а порой и с горячностью, утверждалось, например, что «курение и нарочитая грубость подростков еще не свидетельствуют об их мужественности», что «увлечение косметикой лишает девушек обаяния юности», что «стремление некоторой части старшеклассников иметь джинсы свидетельствует об их низком культурном уровне», что «истинная дружба предполагает нечто большее, чем совместное времяпрепровождение в дискотеках», что «не правы юноши и девушки, считающие классическую музыку скучной и предпочитающие ей эстрадную»... Было неясно, надеялся ли корреспондент, что после опубликования его «рекомендаций» великовозрастный лоботряс уедет работать на таежную стройку, а любитель детективов засядет вдруг за серьезное чтение? Все это было и в письмах Таи. Я читал их со смешанным чувством: в конечном итоге газетный штамп бумерангом вернулся к газетчику. И в моих публикациях трескучих фраз хватало. Как ни вымарывал их редактор, общий выпренный тон оставался. Стоило поблагодарить Гурия за то, что он дал мне возможность увидеть со стороны собственную публицистическую беспомощность...

Как же отвечал девушке мой «двойник»? Так я назвал про себя Геннадия. Его задача была не из приятных: опрометчиво решив отождествить себя со мной, он был вынужден принять в нагрузку все мои творческие недостатки и по мере сил оправдываться в них. Кроме того, «двойник» не знал, как и о чем я собираюсь писать следующую статью, не будет ли она слишком явно противоречить тем мыслям, которые он только что высказал в письме.

Поначалу он подшучивал над Таинным эпистолярным зудом, читал ей морали, более или менее сносно защищал мои опусы. На месте девушки я бы, конечно, сразу же догадался, что «двойник» — самозванец, но она ведь была еще такой наивной, и, кроме того, ей, очевидно, нравилась переписка.

Да, дела... Ему нравится, ей нравится, а мне-то каково?! По сути дела, два незнакомых мне человека обсуждали каждую мою строчку, а сам я не только не мог вставить в эту полемику ни слова, но даже и не догадывался о ней. Кроме того, авторское самолюбие было задето — мне хотелось крикнуть: да что вы знаете о моей работе, о том, каких трудов она стоила, сколько километров приходилось порой оттопать, прежде чем подготовить для редакции очередную корреспонденцию?!

Нельзя сказать, что читатели баловали меня своим интересом: я всего лишь средний газетчик, рабочая лошадка, безотказно исполняющая любое поручение. Счастливы, кому удастся «застолбить» за собой определенную тему и заниматься только ей одной! Им легче со временем привлечь к себе внимание. Мне же приходилось освещать самые разные проблемы, и мое верхоглядство было очевидно.

Постепенно «двойник» стал проявлять самостоятельность в суждениях, отодвигая меня самого на задний план. Со временем он научился аргументировать, логически обосновывать свои доводы, письма становились грамотней, даже «профессиональней». Чувствовалось, что и в Таинной душе произошел какой-то перелом. Геннадий заражал ее заинтересованным отношением к происходящему вокруг. Общая нахватанность и поверхностные рассуждения обо всем на свете сменились серьезным, вдумчивым разговором о конкретных вещах.

«Самозванец» буквально наступал мне на пятки. Все очевидней становилась разница между его письмами и моими публикациями. Вот тут-то и задала она ему, то есть мне,

самый трудный вопрос: «Почему Вы в письмах совсем другой?» Геннадий предпочел ответить на него статьей в «Строителе». Боже мой, каким ликованием был встречен его первый самостоятельный материал!.. Я почувствовал себя задетым. Среди писем оказалась и вырезка из газеты: очерк о монтажниках дышал правдой, глубоким знанием предмета, написан был легко, интересно, не понаслышке.

Выход, который нашел «мой двойник», создал, однако, еще большие трудности: я-то ведь писал по-старому... Последовали упреки в криводушии.

Я вспомнил, что вскоре Тая поступила в институт и Геннадий, перепугавшись, предложил прекратить переписку. Очевидно, девушка до сих пор не знает о его гибели.

Кончив читать, я глубоко задумался. Тая все больше нравилась мне. Я еще раз взглянул на фотокарточку. А в самом деле, почему бы не повидаться с ней? Но должен ли я сразу выложить всю правду и сказать, что того человека, который писал ей, больше нет, или вести себя так, будто бы ничего не произошло, а я и есть тот самый Геннадий? Постепенно я склонялся ко второму варианту. Мне казалось, что, поступи я иначе, девушка просто не захочет разговаривать. Действительно, что же получается? С одним Геннадием Степановым она дружила, а он оказался обманщиком. Теперь появляется другой Геннадий Степанов — человек, в сущности совершенно посторонний, разоблачает первого, говорит, что тот умер, и предлагает уже свою дружбу. Можно ли во все это поверить? Дикость какая-то!

Была полночь. Выкурив за вечер целую пачку, я порядком надымил и открыл окно, чтобы проветрить комнату. Долго ходил я из угла в угол, дожидаясь, пока синие облачка табачного дыма не вытянет на улицу прохладный ночной ветерок.

«Интересное дело,— размышлял я,— мы с братом Гурия словно поменялись местами. Если раньше ему приходилось краснеть из-за моих журналистских неудач, то теперь я должен выдерживать его тон, а заодно как-то объяснить девушке, почему он, то есть я, не захотел продолжать с ней отношения. При этом я уже сам превращался в «двойника». Ну, да все равно. Что будет, то будет...»

2

Собираясь в студенческое общежитие, где жила Тая, я принарядился: надел новую рубашку, принял душ, побрился.

Погода стоит отличная. Пройдя два квартала, чувствую — кто-то шагает рядом, стараясь не отстать. Поворачиваю голову — Люда. Шагает важно, задрав подбородок, и делает вид, что не замечает.

— Я в новой рубашке, — говорит Люда словно про себя, — получил сегодня письмо от любимой девушки.

— Перестань паясничать!

— Я злюсь, потому что кто-то сказал правду, — не унижается девчонка.

— Да замолчишь ты наконец?!

— Погода мне очень нравится. На небе — ни облачка.

«Господи, что за напасть: в то время, когда мне так нужно собраться, появляется этот бич, горюшко мое луковое...»

«Горюшко луковое» вдруг перебегает на противоположную сторону, остановившись возле мусоросборочной машины, что-то весело говорит водителю, потом вприпрыжку, размахивая из стороны в сторону смешными косичками, догоняет меня и идет рядом.

— Хорошее общество нашла — мусорку, — не удерживаюсь я от упрёка. — И долго ты еще собираешься меня преследовать?

— До свиданья, сердитый дяденька, — смеется озорница, — завтра увидимся!

Настроение она мне все-таки испортила: все мысли, все слова вылетели из головы.

Тенистый, прохладный садик на площади. Сажусь на скамейку, закуриваю. Посредине сквера — огромная клумба. Сладко пахнет мелкими, невзрачными на вид белыми цветочками-медоносами.

На противоположной скамейке — группа студентов. Хохот, веселая возня, подтрунивание друг над другом... С симпатией присматриваюсь к соседям. Журналисту, как и актеру, необходимо «вжиться» в атмосферу чужой жизни, лишь тогда получится хороший разговор с собеседником. А мне сейчас именно это и нужно. Дух студенчества удивительно стоек. Надо же, ничего существенно не изменилось с тех пор, как я окончил университет. Обычно в группе есть свой лидер, его слушают, ему подражают. Необязательно, кстати, чтобы у него было семь пядей во лбу, иногда заводила — отпетый двоечник, а отличники и дисциплинированные подчиняются ему. Есть еще тип «одиночек» — прямой антипод всеобщему любимцу. «Одиночка»

замкнут, серьезен, и у него-то как раз те самые пресловутые «семь пядей». Интересная особенность: когда начинается практическая жизнь, то, как правило, пасуют перед ней «лидеры»-краснобаи, а тихони, наоборот, проявляют себя принципиальными, часто конфликтующими, неуживчивыми людьми. Я, честно говоря, отношу себя к отряду «общей массы». Интересно, какая Тая?

Общежитие педагогического института я хорошо знаю, не раз бывал. Оно на окраине, стоит на перекрестке. Здание старинное, деревянное. Стены — толстые, бревна в обхват — потемнели от времени, но совсем не потрескались. Большие, высокие, на старый манер, окна с массивными, несколько грубоватыми резными наличниками затенены столетними липами.

Когда-то я писал об этом доме как об образце архитектуры второй половины прошлого века, обращая внимание читателей на то, что фасад здания возведен из камня, что белые кирпичи, проступающие на фризе и над дверью, похожи на редкие зубы. Из-за этих «зубов», помнится, произошел спор между мной и редактором. Я сгоряча обозвал его «суховеем», он пожал плечами и согласился оставить «зубы» («этот перл») на моей совести.

Я толкнул дверь, над которой находилась «аркатура из трех окон». За столом в вестибюле сидели две девушки-дежурные.

— Добрый день,— поздоровался я и вытащил из кармана редакционное удостоверение, перед которым, обычно, отворяются любые двери.

— Сейчас,— с любопытством стрельнула глазами одна из дежурных, когда я попросил ее вызвать такую-то студентку.

Тая долго не появлялась. Я устал расхаживать по чисто вымытому и тщательно натертому полу, цитируя по памяти самого себя: «...паркет богато инкрустирован различными породами дерева и имеет высокую художественную ценность...»

Дежурная уже успела вернуться, стенные часы, тоже очень старые, напрасно торопили время — Тая не выходила.

— Да она, может, не в общежитии? — усомнился я, теряя терпение. — Вы сказали, что я из газеты?

— Сказала.

— А она что?

— Выйдет. Наверно, одевается.
— Кто одевается? Уже три часа дня...
— Да вы не поняли,— смутилась дежурная.
— А-а,— наконец дошло до меня,— принаряжается, что ли?

Мы не успели досплетничать, как в вестибюле показалась девушка...

В жизни Тая оказалась еще лучше, чем на фотографии. Теперь я мог судить об ее внешности не только по одному лицу: стройная, тоненькая; походка легка и упруга. Хороша! Одета она была в модное приталенное платье, легкие складки свободно ниспадали до колен. В этом наряде девушка была похожа на голубой июньский колокольчик. Серые, опущенные недлинными, но необыкновенно густыми ресницами глаза контрастировали с темными волосами и оливковым, смуглым цветом кожи.

Подавая руку, Тая пытливо взглянула на меня:

— Это вы? Геннадий?

У меня чуть было не сорвалось: «Геннадий, но не тот, за кого вы меня принимаете».

«Дурак! — мысленно обругал я себя. — Сейчас все провалишь...»

— Выйдем отсюда,— нашелся я,— здесь не очень-то удобно разговаривать.

Как она двигается! Подол ее голубого платья кружится в такт непринужденной поступи.

На улице мы на минуту задерживаемся на тротуаре.

— Куда пойдем, вверх или вниз?

Не отвечая, Тая спускается по пологому склону улицы, тень от деревьев рисует на платье причудливый орнамент, еще более усиливая впечатление воздушности всего ее облика. Солнце будто пытается остановить приближение вечера, ставит между домами светлые ограды...

Я не смею взглянуть в лицо этой красавице и лишь краешком глаза слежу за ней, не в силах вымолвить ни слова.

«Вот и получай, болтун несчастный, логик двухкопеечный,— ругаю себя мысленно,— встретил красивую девушку, и все... Пропал ты, Геннадий, пропал!»

Чтобы как-то разрядить неловкость, спрашиваю:

— Нравится вам общежитие?

— Нравится. Я ведь его еще в школе узнала по вашему описанию.

— Ах да,— спохватываюсь,— да, конечно...

— Теперь каждый раз, как вхожу, смотрю вверх, на «зубы». Действительно, похожи. Но все-таки, по-моему, образ должен быть не только точным, но и эстетичным.

«Батюшки,— екнуло сердце,— начинается! Сейчас уж не на бумаге, а в жизни станет меня разносить».

— Согласен,— отвечаю миролюбиво,— нашему редактору, кстати, тоже тогда не понравилось, как и вам. Помню, сказал, оставляю, мол, этот перл на вашей совести.

Тая звонко смеется, повторяя «перл». Я иду рядом и радуюсь.

— Как учеба? — задаю старый, как мир, вопрос.

— Нормально,— слышу старый, как мир, ответ.

О чем еще говорить? Если не касаться сейчас всего, что стоит между нами, то можно замечательно провести время. Меня так и распирает от гордости: никогда в жизни еще я не гулял по улице с такой привлекательной девушкой. Интересно, как выглядел покойный Геннадий? Если он был похож на брата, то я вполне бы выдержал конкуренцию... Хоть я далеко не красавец, но держусь определенного стиля, свойственного нашей профессии — несколько иронического, самоуверенного. Одеваюсь соответственно: спортивная куртка, джинсы, на ногах легкие туфли. Ей должно быть не стыдно с таким кавалером. Но когда наши глаза случайно встречаются, сердце мое замирает от страха: я по-прежнему чувствую себя самозванцем.

Можно подумать, что нас выпустили на сцену играть спектакль без репетиции. Движения наши скованны, взгляды напряженны, и снова мертвеют.

Тая, видно, ждет от меня какого-то очень важного разговора. Как жаль, что нет сейчас перед глазами ее последних писем, что никто не может «просуфлировать» забытый текст... Попробую симпровизировать легкую, ни к чему не обязывающую отсебятину. Только было приготовился начать фразу, как вспомнил, что малейшая пошлость может вспугнуть эту чуткую девушку. Рискую все-таки пригласить ее в филармонию. Так и есть, Тая изумленно глядит на меня:

— Сезон кончился, вы забыли?

— Ах да, конечно.

— Кроме того, у меня последний экзамен через неделю, надо готовиться. Завидую, вы уже специалист, а мне...

— Можно подумать, что вам не нравится учиться.

— Трудно,— просто отвечает девушка.— Сажу в библиотеке каждый день до самого закрытия.

— Не скромничайте.
— А вы не лакируйте действительность.
— Старый упрек,— смеюсь я,— вы не раз об этом писали.

— Мало ли что я раньше писала...

— Отрекаетесь от своих слов?

— Нет, но... давайте отложим нашу беседу до конца сессии,— вдруг предлагает она.— Вижу, мы еще не готовы.

— Бойтесь «завалить»? — отчасти я даже доволен тем, какой оборот принимает это щекотливое дело.

Мы прощаемся на троллейбусной остановке. Тая меня провожает.

— До встречи,— говорю я и кидаюсь в спасительную дверь. Троллейбус трогается.

«Ух,— вздыхаю облегченно, садясь на сиденье.— Бывают странные свиданья! Но ничего, за неделю что-нибудь придумаю. Ах, этот Гурий, Гурий, да и я тоже хорош!»

Тоненькая девичья фигурка уплывает, отодвигается все дальше и дальше, а потом и вовсе исчезает за поворотом. Мне становится грустно. Я закрываю глаза, отдавшись плавному движению.

«До чего же быстро женщины осваиваются в непривычной обстановке! Трудно поверить, что еще год назад Тая была простой деревенской девчонкой. Вот и Люда... При чем здесь Люда? Она как была, так и осталась «козой-егозой».

Мысли о Люде настраивают меня на веселый лад: смешливая, добрая и открытая девочка. Конечно, она — не Тая: нос курносый, фигурка еще совсем детская, угловатая. Не так развита, звезд с неба не хватает, но я привык к ней и чувствую себя ее старшим братом. А что я, в сущности, знаю о Тае? Ничего. Письма? Так бумага ведь все стерпит...

...Придя домой, долго разглядывал себя в большом зеркале, висевшем в прихожей. Нет, красавцем не назовешь: росточка среднего, волосы светлые, а скорей, даже просто рыжие, нос толстоват, глаза неопределенного цвета. Ну и что? Таким я родился, теперь не исправишь. Если кто и понимает меня, принимает со всеми недостатками, в том числе и такой неказистой внешностью, то лишь одна Люда. Хоть и называет «дяденькой», но гордится, нарочно подчеркивает наши с ней добрые, почти родственные отношения. Когда мы идем рядом, весь ее вид говорит: «Смотрите и завидуйте, какой необыкновенный человек дружит

со мной, простой девчонкой». Где надо и не надо, Люда громко зовет меня по имени, стараясь обратить внимание прохожих. Смешная... Я и не заметил, как привык к ней. И если не вижу пару дней, то начинаю скучать и беспокоиться.

Как-то мне в руки попала замечательная книжка канадского писателя Фарли Моуэта, она называлась «Не кричи, волки!» Особенно поразил меня рассказ о вдове-волке, который прибил к «семейной паре» и воспитывал вместе с ними молодых волчат. Писатель дал ему человеческое имя — дядюшка Альберт. Да и по заслугам: вел себя матерый волчище как заботливый наставник, самоотверженный и верный.

Мне кажется, по отношению к Люде я веду себя эдаким Альбертом... А сердце? Я обиделся на него и прочно запер на ключ.

— Слышите, Тая, — произнес я вслух, — на ключ.

Я опять засел за письма, видя и слыша в воображении этих двух почти незнакомых мне людей, столь странным образом вторгшихся в мою жизнь.

С первых строчек последнего письма, которое мой тезка почему-то не дописал и не отослал, я сразу же почувствовал силу его любви, а ведь с тех пор, как Тая приехала в город, он мог видеть ее довольно часто: мало ли какой человек шел за ней по улице, сидел рядом в кино... Воображаю себе муки влюбленного, который не может признаться в любви!

«После полутора лет молчания, — писал мой «двойник», — зачем, Тая, ты опять растревожила мою душу? Я хотел забыть тебя, потому что ты для меня теперь не просто девчонка, как это было сначала. Я хотел как лучше: напишу тебе резкое письмо, ты обидишься, и все — конец... Думал, девичья гордость не позволит тебе больше писать, но ты проявила широту души и смелость сердца. Как можно мне теперь отказаться от тебя? Если бы только знала, если б знала, какой я низкий, лживый человек! Не дай бог в жизни никому оказаться в моем положении: не отвечу — потеряю, отвечу — потеряю вдвойне... Любой человек имеет право плюнуть мне в глаза. Я виноват не только перед тобой, но и перед тем, чье имя взял напрокат из дурацкого представления, что быть журналистом — дело престижное. Но что из того? Какое я имел право копаться в душе человека без его согласия? Это подло. Труд газетчика вовсе не так легок, как обычно кажется. Тебе понра-

вился мой очерк в «Строителе», но, поверь, легче весь день простоять со щитком, сваривая металлические швы, чем написать статью размером в пять-шесть страниц машинописного текста. Я знаю, что надо предпринять: сорву с себя маску и стану тем, кто есть на самом деле».

На этом обрывалась исповедь Геннадия. Может быть, именно смерть помешала ему осуществить свое намерение.

3

Мы встретились, как и договорились, через неделю. На этот раз Тая не заставила себя долго ждать. Красное платье шло ей не меньше голубого, оттеняя смуглость кожи и придавая ей немного цыганский вид. Густые волосы были завиты и падали на плечи волнистым каскадом — вылитая Кармен.

Я был спокоен и хорошо знал свой «текст». Значит, так: они поссорились; Геннадий отказался от встречи, когда она приехала, по известной причине. Теперь я должен извиниться и дать приемлемое объяснение, почему так поступил.

Встреча получилась холодноватой: Тая хмурилась, я, готовясь к объяснению, был чересчур серьезен.

Как и в прошлый раз, мы тотчас вышли на улицу для «откровенного разговора, который здесь не получится».

— Во-первых,— начал я, когда мы прошли несколько шагов, удаляясь от общежития,— вы должны меня простить за то, что так невежливо отклонил нашу встречу.

— Можешь не извиняться. Ведь мы по-прежнему на «ты», или что-нибудь изменилось?

— Ничего, ровным счетом, ничего. Это я от смущения. Понимаешь... не привык еще.

— Понимаю, еще как понимаю.

— Ах, дорогая Тая, если бы только знала, как я тебе благодарен за все эти три года.

— Два,— поправила девушка,— ты давно уже мне не писал. Впрочем, не трудно догадаться почему: одно дело — пишет из глухого угла какая-то взбалмошная девица, вообразившая себя великим критиком. Другое — когда этот «критик» оказывается в одном городе, а у тебя может быть семья, дети и прочее. Нет, я не обиделась, только ругаю себя за самонадеянность.

— Все вовсе не так, милый критик, нечего себя унижать. Ты — молодчина, только не надо представлять меня

каким-то особенным. Я всего лишь средний человек. Когда-то, признаюсь, были великие мечты. Когда-то считал себя личностью незаурядной. Верил, что есть на земле задача, решить которую под силу лишь мне одному. Скоро, однако, наступило прозрение. На мою голову посыпались неудачи — и творческие, и личные. Я обманывал себя долго, все ожидал того счастливого часа, когда «запишу», но проходило время, и ничего не изменялось. Как я завидовал талантам, часто бывая несправедливым к по-настоящему выдающимся произведениям. Искал в них недостатки, радовался, если удавалось испортить кому-нибудь впечатление...

Ты слушай, слушай, не перебивай. Знаю, хочешь напомнить очерк в «Строителе». Так это не мой — по манере, по общему стилю. Он не в счет.

Печально признаваться, но то, что некоторым дается с легкостью, за один присест, требовало от меня неимоверных усилий. Я измотался, душевно состарился раньше времени. И примирился. Примирился с тем, что некрасив, бездарен, никому не нужен. Закрыв сердце на ключ. Я хотел устроиться так, чтобы меня никто не тревожил, гнать строчки — и баста!

Я понимаю, что наговариваю на себя, сгущаю краски. Нет, я бы не стал зря марать бумагу, если бы не верил в свое трудное, подчас изменчивое «газетное счастье». И мнения о себе, как о бездаре, не потерпел. Нашел бы другую работу. Однако мне почему-то хотелось поплакаться на судьбу. Почему? Очевидно, потому, что эта почти чужая девушка принимает мои излияния слишком близко к сердцу. Я не мог отказаться от дружеского участия. Его мне так не хватало!

Тая страдальчески морщилась, порываясь что-то сказать, но я не давал и слова вымолвить. Так мы дошли до площади и оказались на скверике, том самом. Здесь опять одуряюще пахло медом, а на скамейках веселились студенты.

Одна лавочка оказалась незанятой, мы присели.

— Это исповедь? — спросила Тая. — Только почему такая запоздалая? В письмах ты ни разу не пожаловался. Почему?

— Не все можно объяснить, — ответил я, взяв ее за руку, — не все...

Тая тихонько высвободила ладонь. И тут я понял отчаянно и ясно — ей неприятно.

— Я тебе не нравлюсь?

— Не нравишься,— ответила она, глядя прямо в глаза,— вернее,— поправились девушка,— один человек в тебе нравится, другой — нет. Сама не пойму, как это происходит: раздваиваешься, что ли? Когда читала твои письма, видела близкого человека; когда газету — чужого. Думала, встретимся — разберусь, но оказалось еще труднее: вас двоих нельзя совместить... Мистика какая-то.

— Знаешь что,— предложил я,— чем голову ломать, выясняя кто есть кто, пойдем-ка лучше в театр. Видела афиши? Приехал на гастроли Саратовский драмтеатр. Там, говорят, хорошие силы. Согласна?

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас! — Мне неожиданно стало очень весело.— Одеты ты, по-моему, вполне на уровне, а нашему брату — лишь бы джинсы да чистая рубаха...

Спектакль оказался скучным. В антрактах Тая оставалась сидеть в зале, а я все выбегал: то покурить, то выпить пива. Сколько я ни упрасивал ее сходить вместе в буфет, она наотрез отказывалась.

«И зачем только мне взбрело в голову тащить ее сюда?» — думал я удрученно.

Выйдя из театра, мы вяло обмениваемся впечатлениями, ругаем спектакль.

— Зритель,— замечаю я,— так же жесток, как и читатель. Никому нет дела, счастлив или несчастлив автор или режиссер. Кому интересно знать, может, у главного героя перед спектаклем зубы болели или жена ушла?

— Талант потому и талант, что для него нет уважительной причины, чтобы не состояться.

— Это ответ на исповедь?

— Понимай как хочешь,— жестко отвечает Тая, поводя плечами.

— Что, холодно? Можно взять тебя под руку?

— Можно.

Так мы и идем до общежития: на вид обыкновенная влюбленная парочка, но между нами неловкая, холодная отчужденность. Почему она обиделась? Кто в этом виноват?

Тая молчит всю дорогу, о чем-то думает.

— Когда увидимся? — спрашиваю, останавливаясь у двери.

— Когда-нибудь. В одном городе живем.

- Тогда до свидания.
- Мне надо тебе одну вещь сказать...
- Говори.
- Нет, не сейчас... Потом.

Она уходит. Алым всполохом мелькнул подол ее красного платья и потух, исчезая в темном провале двери.

До чего муторно на душе!

А вот и сквер. Тянет меня сюда.

Уже давно стемнело, на соседней скамейке едва различимы две девичьи фигурки. Сидят себе спокойно, болтают ногами. Ни забот, ни тревог — никаких вопросов! Счастливое времечко — юность. Прислушиваюсь, так, по привычке. Мимо проходят парни.

— Эй, красотка, — начинает один, приостанавливаясь у скамейки, — взгляни-ка на меня! Какие глазки... Гибну, гибну! Как тебя зовут? Марина? Галя?

— Первый раз угадал: Красотка.

— А где ты живешь?

— Там, где меня нет.

— А работаешь?

— Там, где не работаю.

Вопросы и ответы кажутся им необыкновенно остроумными, так и заливаются смехом. До чего нетребовательный народ — все им смешно!

Скоро скамейка пустеет. Постой-ка, кажется, я слышал Людкин голос. Неужели? Вот уж, если не ошибся, задам ей трепку! Может, это тот парень, с которым она тогда любезничала? Я ей покажу «глазки», я ей покажу «красотку»!

Однако я порядком проголодался. Не зайти ли в ресторан поужинать?

В ресторане полно, но я здесь свой человек, все меня знают и быстро находят свободное место.

Но, к сожалению, поесть мне так и не удастся, и все из-за нее, из-за «горюшка лукового». Только уселся, откупорил бутылку нарзана, вижу — сидит моя красавица за соседним столиком, и не одна, с кавалером.

Я подозвал знакомого официанта.

— Сколько тебе должен вон тот клиент?

Пока официант возился со счетом, подымаюсь, подхожу к Люде, кладу на салфетку деньги.

— Хватит?

Не глядя в ее сторону, направляюсь к выходу, она семенит рядом.

— Только одну рюмочку выпила,— канючит девчонка жалобным голосом,— только одну красного и винегрет...

На улице я даю волю своим чувствам...

— С каких пор ты стала такой? По ресторанам шатаешься, знакомишься на скамейке...

— Чего это вы такой злой? Спектакль не понравился?

— Ах, ты еще и в театре была?

— Не вам одному культурно развлекаться,— дерзит в ответ Люда.

— Сейчас же бегом в общежитие! — приказываю я.

...Ух, наконец-то кончился этот сумбурный день.

4

Воскресенье. Республиканский праздник песни.

Лакреевский лес шумит, но не листвою, а тысячами человеческих голосов.

Народный хор выстроился на площади. Хористы, страдая от жары, обмахиваются самодельными бумажными веерами. Зрители разместились в тени столетних дубов.

Народ все прибывает и прибывает.

Журналисты ожидают начала праздника в полной боевой готовности, особенно деловиты фотокорреспонденты — суется, выбирая «точки», «ракурсы», «освещение» и прочее. Нам, конечно, проще, наши орудия — всего лишь чистый блокнот и шариковая ручка с новым стержнем.

Из радиокомитета тоже здесь: техники устанавливают аппаратуру, редакторы рассаживаются за пультом.

Я люблю эту сутолоку, мне нравится чувствовать себя причастным к некоему священнодействию, на которое с любопытством и уважением взирает непосвященная публика.

Праздник начинается. Сколько раз, слушая выступления сводного хора, я оказываюсь захваченным настроением огромной поющей толпы. Шесть тысяч голосов сливаются в один, кажется, поет единое существо, могучее и величественное. Это — народ, сплоченный одной верой, одной надеждой, одной любовью. Мороз пробегает по коже, слезы восторга наворачиваются на глаза... Моя родина, моя родная Чувашия! Пусть гремит твоя песня, выражая в звуках душу природы, душу людей, живущих среди твоих просторов...

Когда объединенный хор кончает свою программу, зрители, растроганные, как и я, долго аплодируют и с сожалением...

нием покидают открытую эстраду. Но впереди у всех еще много разных развлечений.

Особенно людно возле аттракционов.

У «чертова колеса» неожиданно сталкиваюсь с Гурием.

— Ба! — восклицает он обрадованно, — Геннадий Михайлович! Погода-то какая... Как по заказу! Есть предложение — посидим?

Мы выбрали местечко поуютней, на опушке. Там, под вековым дубом, был поставлен огромный стол, вместо стульев — дубовые кругляки.

Как же все-таки здорово сидеть в тенечке и потягивать холодное свежее пиво! Гурий где-то раздобыл две воблины.

— Видел вас в театре, — сообщает он как бы между прочим.

— Ну и что? Как мы смотрелись?

Он старательно обсасывает рыбий плавник и не торопится с ответом.

— Что-то вид у нее был не очень веселый. Рассказывали?

— Не решился, — признался я. — Показалось, что Тая еще не готова. А расстроилась она из-за того, что я почему-то захотел перед ней исповедаться. Наговорил бог знает какой чепухи. Сейчас самому неловко. Просто они, эти славные ребята, душу разбередили. Если бы ваш Геннадий был жив, мы бы с ним подружились.

— Помните, не хотели ввязываться? — усмехнулся мой приятель.

— Да, да... Болван, форменный болван!

— Не преувеличивайте. Журналисты народ увлекающийся.

— Но я вполне искренне, поверьте. Представьте, если тонет утопающий, а его хватают за волосы и вытаскивают на берег... И вдруг он начнет ругать спасателя за то, что тот ему больно сделал. Так вот письма вашего брата и Таи мне здорово помогли, дали возможность взглянуть на себя со стороны, на свое дело, на свою жизнь. Не скрою, вычитал про себя много обидного, нелестного, иногда хотелось завопить: «Братцы, что вы со мной делаете?» Но в конечном счете все оказалось мне на пользу.

— Значит, не обижаетесь на меня?

— Какой там! Спасибо говорю.

— Как она к вам?.. Вы ей понравились? — протянул Гурий смущенно.

— Да нет же. Нисколько.

— Неужели? Не может быть! Такой интересный человек... начитанный, с университетским образованием. Трудно поверить...

— Да не с энциклопедией же жить, а с человеком! Она, умница, догадалась-таки, что я хоть и «Федот, да не тот».

— То есть?

— Очень просто: несколько лет девушка вела переписку с незнакомым человеком и создала себе о нем определенное представление. Может, и умозрительное, но для нее вполне живое. И вот он появляется перед ней. Она бросается навстречу и вдруг видит... Что Тая увидела — это для нас с вами тайна. Но я догадываюсь, что «ее Геннадий», которого она прочла между строк, был ближе и симпатичней, чем я сам со всем моим «университетским образованием», «начитанностью» и прочим.

Гурий заметно вздрогнул:

— Вы не ошибаетесь, Геннадий Михайлович?

— Да какой же вы Фома неверующий! Полюбила она вашего братца, полюбила! Что из того, что ни разу в жизни с ним не виделась? В народе говорят в таких случаях: «Душа душе знак подает». Они, наверно, созданы были друг для друга. Я бы вам советовал познакомиться с девушкой. Если вы похожи на Геннадия, то, может быть...

Я не расслышал, что возразил мне Гурий. С десятков репродукторов, установленных на разных игровых площадках и открытых сценах, несли в эфир шумную разногласицу: то народную песню, то эстрадный шлягер, то классику; к ним присоединялся гул людских голосов. Продолжать беседу скоро стало совсем невозможно.

— Пошли прогуляемся, — предложил я.

— Еще один вопрос, — остановил меня Гурий. — Как вы считаете, почему человек выбирает из тысячи людей именно одного, единственного?

— Знаете, — рассмеялся я, — об этом сам премудрый царь Соломон не ведал... Тайна. Тайна сердца, которое выбирает только свое. Не хорошее, не красивое, не умное, не доброе, а — свое, только свое. Тайно сердце выбрало «своего» Геннадия.

И тут я заметил, как он вздрогнул и побледнел.

— Что с вами, Гурий?

— Ничего, пройдет. Немножко захмелел, наверно.

— Тогда спешно покидаем эту площадку. Ведь мы о

вами сюда пришли гулять, петь, танцевать, а не разговаривать на серьезные темы.

Настроение у меня было прекрасное. Да и все вокруг веселились. Особенно студенты. Их видно и слышно за версту: громче всех кричат, громче всех хохочут.

— А вон и наша Тая,— говорю я своему молчаливому спутнику. Он один почему-то не разделяет общей радости.

— Тая! — зову я.

Она оглядывается, видит меня, и беззаботное выражение ее лица сменяется унылым вежливым вниманием.

Беру мрачного приятеля за локоть, подвожу к девушке, чувствую сопротивление его сильной руки.

— Может, не надо? — слышу его шепот.

— Надо, надо,— отвечаю тоже шепотом.— Не трусьте! Познакомьтесь, Тая,— мой друг Гурий Степанов.

Гурий протягивает ладонь, она заметно дрожит.

У девушки в ответ удивленно вздрагивают ресницы:

— Однофамилец?

— Представьте себе. Забавно?

— Да...— Она смотрит на него очень и очень пристально, так, что мне и Гурию становится неловко.

— Ну я пойду, ребята ждут,— вдруг говорит девушка и бежит туда, где собрались ее товарищи.

Как черная галка среди воробьиной стайки, выделяется в толпе студентов чья-то долговязая фигура. Кого-то она мне напоминает...

— Генка, ты? — оборачивается в нашу сторону «галка». — Сколько лет, сколько зим! Рад тебя видеть, старина.

Встреча не из приятных — Хонов. Когда-то вместе учились... Он окончил университет раньше меня на год. Работал в «молодежке», потом «его ушли» — было, говорят, какое-то шумное дело.

— Где трудишься? — спрашиваю больше из вежливости, чем из интереса.

Хонов называет районную газету. Смеется, ерничит, видно, хочет показать, что неприятности по службе ему как с гуся вода. Мне этот тип несимпатичен, особенно претит его манера разговаривать. При своем высоком росте Хонов вынужден наклоняться во время беседы, его длинный нос буквально клюет тебя. Мне, при моей близорукости, никогда не удастся хорошенько рассмотреть его лицо, оно всегда видится словно в тумане — размытое, растянутое, как отражение в зыбкой, вечно тревожной воде...

Впрочем, и характер у этого человека такой же неспо-

койный и неопределенный: неизвестно, чего можно ожидать.

Начал накрапывать мелкий дождик.

«Этот гусь лапчатый,— с неприязнью подумал я,— и погоду испортил и настроение».

— Откуда ты этих девчонок знаешь?

— Студенток? Да это же землячки, мои протеже. Приезжали от вас, из столицы, отбирали способных, попросили помочь. Ты же меня знаешь...— цинично хохотнул Хонов.— Я, конечно, помог. Хорошо время провели. Мотоцикл у кандидата наук наличествовал. Повеселились от души!

Гурий при этих словах совсем помрачнел и стал прощаться.

— Скажи,— неожиданно спросил Хонов, когда мы остались вдвоем,— Люда — твоя сестра?

— Люда? Откуда ты ее знаешь?

— Не задавай дурацких вопросов. Большое дело — познакомиться с девчонкой на улице. Кстати, за мной — должок: десятка, которую ты тогда в ресторане на стол шваркнул. Тоже мне — гусар!

— Ах, это, оказывается, был ты? А я думал мусорщик.

— Какой еще «мусорщик»,— вскинулся обидчиво Хонов.

— Да у нее есть знакомый шофер мусоросборочной машины.

— Не обижай, не обижай, браток, старых друзей. Девочка — просто огонь! Познакомились в скверике, разговорились. Оказывается, Люда работала раньше машинисткой в редакции. Как она тебя высоко ставит! Утверждает, что на всю республику только ты один настоящий газетчик. Красивая, чертовка...

— Да она еще совсем девочка,— возразил я.— Помоему, Тая гораздо интересней.

— Тайка?.. Да она — зануда! Умничает больно. Эх, коллеги, есть у меня против тебя один камушек за пазухой, только я об этом пока — молчок...

— Иди ты подальше,— с досадой отвернулся я,— вечно темнишь.

— Остынь, я же пошутил. Айда ко мне. Понимаешь, на семинар пригласили. Знакомый аспирант приютит в общежитии. Посидим, потолкуем, молодость вспомним.

Идти к нему не хотелось, но сработала журналистская

привычка — не отказывать, когда приглашают: авось подвернется что-нибудь интересное.

Интересного, к сожалению, ничего не случилось. Протолковал с Хоновым до позднего вечера и убедился, что ни годы, ни жизненный опыт не изменили этого человека — каким был, таким и остался.

По дороге домой я утешал себя лишь тем, что наша встреча окажется последней, но я ошибался...

5

История с письмами вконец изменила тот распорядок, к которому я привык. Не хотелось больше ни убирать в квартире, ни готовить — всякая хозяйственная забота теперь вызывала у меня протест.

Если не было срочного редакционного задания, я отправлялся бродить по улицам и частенько, сам того не замечая, оказывался у заветной двери с «аркатурой из трех окон». Но Таю со дня праздника в Лакреевском лесу так и не посчастливилось встретить.

Сегодня мне повезло.

— Привет! — крикнул я обрадованно, заметив девушку, выходящую на крыльцо общежития.

— Это вы?

— Почему опять «вы»? Я бы предпочел пушкинский вариант: «Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвись, заменила».

— А я, выходит, сделала наоборот. Не обижайтесь, «вы» для меня — не пустой звук. Я вас очень уважаю. Да что мы стоим на ветру? Если согласны подождать, то я мигом — оденусь только потеплее, и пойдем погуляем. Хорошо?

Я кивнул головой, невольно любуясь девушкой.

Скоро Тая вернулась.

— Куда приглашаешь? Надеюсь, мне можно говорить по-старому «ты»?

— Конечно, — засмеялась она. — А приглашаю на пристань — там наши, едут на строительство химкомбината по призыву областного комитета комсомола. Вы ведь в курсе — это по вашему молодежному профилю.

— По-прежнему газетой интересуешься?

— А как же? Все материалы читаю от корки до корки, особенно ваши. В этом смысле ничего не изменилось.

— Изменилось в другом, не правда ли?

— Правда. Знаете, мне почему-то кажется, что мы играем в каком-то спектакле. У вас есть преимущество — вы-то знаете текст...

— Что ты говоришь, Тая?

— Да, да, я чувствую...

— Скажи, откуда ты узнала мой адрес?

— Хонов дал. Постойте, постойте, — девушка вся встрепнулась, — вот я и раньше все удивлялась: вы ничего не помните... Почему? Конечно, вам ведь были неинтересны мои школьные каракули. Они наивные, глупые — знаю. Мне очень стыдно, — и она вдруг отвернулась, кусая губы.

Тая вдруг сильно побледнела и пристально взглянула на меня. И тут, видя, что я стою, растерянно уставясь на нее, усмехнулась. Во мне рос страх от неперменного убеждения, что сейчас, в эту минуту, кончу все дело.

Но, вместо того чтобы открыться, я засмеялся:

— Ты... ты говоришь неизвестно что!

Она прошептала:

— Вы — не он, вы... чужой. Я не знаю, как это вышло, но это так!

Мы уже почти дошли до пристани — миновали городской парк, сейчас будет Волга... Не сказав ни слова, ничего больше не объяснив, Тая побежала от меня прочь.

Когда я наконец сообразил, что произошло, то хотел было кинуться вдогонку, но не стал этого делать. К чему? Ведь и так все ясно: чужие. Я был собой недоволен за то, что перелистал письма этой девушки торопливо и небрежно, пробегая глазами, не вчитываясь, как простенький роман, где за каждой фразой угадывается последующая.

Так куда же теперь торопиться? Что можно было теперь изменить?

Ветер рвет листья краснотала, над головой пролетают речные чайки. Уходящее солнце золотит окна домов на Чебоксарской горе.

Смешно... Я медленно возвращаюсь. Городской парк. Ярко горят лампочки — их множество. Липы, попав в светлый плен, не знают, куда спрятать свои тени — подняли вверх и держат над зелеными кронами, как арки.

Сажусь на скамейку. Все-таки немного обидно: могла бы вести себя повежливей. Какое зло я, в сущности, ей причинил?

За спиной зашевелились кусты сирени. Нет, это не она, не Тая, это Люда.

— Ух! — пугает девчонка, делая страшные глаза.

— Чего ты бродишь в такую пору? — ворчу я недовольно.

— Со смены возвращаюсь. Вижу — сидишь...

— У тебя сегодня вроде выходной?

— Я так... Станок чистила.

— Что-то частенько ты его «чистишь», вруша.

— Чистила, чистила, честное слово, не обманываю, — она старательно выскабливает из вафельного стаканчика остатки мороженого.

— И откуда только берутся такие сластены? Ведь, по-ди, все ларьки сейчас закрыты.

— Кто ищет, тот всегда найдет. А ты чего такой невеселый? Или опять ей не угодил?

— Кому это «ей»?

— Сам вруша! Я все видела.

— Что мне с тобой делать?

— Ругай. Ты всегда ругаешься со мной. Все не так, все не эдак! Ну, ладно, не злись, пожалуйста. Посиди, отдохни, успокойся, я пошла. Завтра увидимся.

Стаканчик, недоеденный, брошен в урну, пальцы вытерты белоснежным платочком, вид — довольнехонький. Чего она так радуется, эта пигалица? Но от последней Людиной фразы, действительно, я вмиг успокаиваюсь.

6

Сегодня мы пируем — товарищ вернулся из отпуска, привез обещанные «Красный» и «Желтый камень» из масандровских погребов. Настроение слегка взвинченное. Сидим, потягивая ароматное вино, и разговариваем — так, ни о чем.

Внизу Волга, наполненная движением судов и гулом моторов. После каждого лайнера река ударяет волной о берег, словно желая вырваться из бетонного плена.

Слева, горкой — мыс, образованный глубокими оврагами, по нему змеится узкая тропинка, над тропинкой — береза. На противоположном берегу — заволжские леса. Почти прямо под кафе расположена водная станция. Уйма лодок. Сверху они кажутся крохотными башмачками, оставленными у входа в дом.

Пошел грибной дождь, над водой встала радуга.

Если верить примете, что человек, прошедший под радугой, становится счастливым, то мне сейчас в самый раз выбежать ей навстречу...

Не я один люблю природой. Кто-то за моей спиной громко восхищается радугой. Оглядываюсь. Замечаю Гурия с Хоновым, они о чем-то горячо спорят.

Ни за что бы не подошел, но Гурий... Гурий мне сейчас нужен. Он единственный человек, с кем можно поговорить о Тае. Наша последняя встреча не выходит из головы.

Спор, очевидно, начался давно — Гурий мрачно мусолит край пивной кружки.

— Любовь...— тянет Хонов, пренебрежительно шурясь.— Пустяки все это. Вера в любовь такой же атавизм, как вера в бога. Оставь ее, браток, классике. Кто в наше время из-за любви помирает? Что-то давненько не слышал такого. Сейчас каждая девчонка, молоко, как говорится, еще на губах не обсохло, может прекрасно имитировать классические «вздохи при луне». Секс — и боле ничего!

— В своем репертуаре? — спрашиваю я, присаживаясь на свободный стул.— Да ты, любезный, циник. Классический.

— Страшные слова говорите,— поддерживает меня Гурий,— товарищ Хонов.

— Страшные?.. А чего в них страшного? Ведь не станете вы проливать слезы из-за того, что в реках, по утверждению науки, нет никаких русалок; в домах — домовых, а леших — в лесу? Так и любовь — миф! Нет ее, не водится. Брось все эти глупости, милый друг Гурий.

— О чем это вы?

— Да так,— усмехается Хонов,— случайно разговорились про бескорыстные чувства. Не надо, мужики, не надо! Больше всего девчонки хотят «сходить» замуж. Непонятно только, для чего это им надо? Хозяйки они сейчас никудышные: ни готовить, ни шить, ни ухаживать за мужем, как в старину, не умеют. Детей тоже не хотят. Изменяют направо-налево. Кругом нечестность, кругом обман. Согласен, мужики нынче такие же прохвосты. Может, она вечно была, эта «борьба полов», но ныне, однако, слабый пол нас теснит. Вы, конечно, как хотите, но я не поддамся. Как бы не так... Им поддайся — с потрохами проглотят, слабенькие эти.

— Об тебя-то зубы поломают!

— Это точно, старина Геннадий. Вот докажи ты нашему идеалисту, что я прав. Докажи, вспомни, как ты чуть не погорел на одной из таких «слабеньких».

«Уже разнюхал про меня этот тип,— подумал я в серд-

цах,— не постеснялся, не пощадил, вынес, как говорится, на всеобщее обозрение».

— Нам с товарищем не до дискуссий, ты уж извини. Гурий, пошли, дело есть.

Мы вырвались от Хонова вовремя: еще одна его хамская реплика — и мой друг не выдержал бы. Вид у него был грозный: лицо покраснелось, глаза потемнели от гнева.

— Геннадий Михайлович,— начал Гурий, как только вышли из кафе,— ну почему ваш знакомый такой гад? Я ему чуть не врезал, спасибо выручили.

— Не стоит благодарности. Сам жалею, что смолчал. Он ведь и со мной поступил непорядочно. Кстати, Тая сказала, что Хонов и дал ей мой адрес. А я и не знал...

— Как не знали? Она же писала, в первом письме.

— Вот оно что?.. Значит, потерялось... Да, неприятная вышла история,— и я принялся рассказывать ему все, что произошло по дороге на пристань.

Гурий шел молча. Нет, недаром он так напряженно слушал. Странная догадка вдруг возникла у меня, настолько странная, что я не решался даже признать ее за догадку.

— А дело было так,— вдруг заговорил Гурий, словно мысленно преодолевая невидимый барьер,— диспут был в Тайной школе. Обсуждали подборку читательских писем в вашей газете на тему: каким должен быть облик современной девушки. Ваша статья шла заключением. Помните? Очевидно, школьное руководство раззвонило по району об этом. Приехал корреспондент из местной газеты — Хонов. Скорей всего, в порядке саморекламы этот спесивый индюк заявил, что вы его лучший друг. Тая попросила адрес. Он дал, только, по своей безалаберности, перепутал номер дома.

— Ох и влип я, Гурий, здорово влип. Она ведь подумала, что я просто несерьезно отношусь к ней, что всю эту переписку считаю пустяком, глупостью. Она такая гордая, такая самолюбивая. Она мне ни за что не простит.

— Где сейчас Тая? В городе?

— В том-то и дело, что нет. Собиралась вместе с ребятами на строительство химкомбината. Сейчас, наверно, уже уехала.

— Стройотряд из пединститута, знаю, и сейчас работает,— произнес Гурий задумчиво,— это от нас рукой подать. Приезжайте, я должен вас помирить. Я обязан это сделать.

— Хорошо, постараюсь. Ты только скажи, где тебя искать.

— Мы монтируем арматуру. Вот адрес...

Я опять уловил в его поспешности, с которой он со мной распрощался, тревогу и... необъяснимую радость.

«Неужели Гурий доволен нашей ссорой? А может, доволен тем, что представилась возможность доказать свою дружбу?»

7

Командировку я выбил довольно легко. Редактор как раз собирался давать на первую полосу материал о строительстве нового химкомбината.

...Когда я увидел железную арматуру, я еще больше проникся уважением к Гурию и его работе. С виду она оказалась похожей на легкий мост — висит, покачивается в воздухе и кажется почти невесомой. Однако сооружение это довольно внушительное: сверху арматура закреплена восемнадцатью балками, каждая длиной в двенадцать метров.

Ветер раскачивает «мост» как игрушку, даже страшно смотреть! Там, наверху, сверкают голубые искры электро-сварки. По словам старшего инженера, работы осталось немного: покрыть сверху плитами и поднять керамзит.

Гурия я нашел сразу: он вместе со сварщиками спускался, закончив смену.

Я подгадал приехать к концу дня, чтобы побеседовать с монтажниками, не отрывая их от дела.

Видно, Гурий меня очень ждал: он радостно поздоровался и тотчас потащил в вагончик, стоявший примерно в полкилометре от объекта. В вагончике вместе с Гурием жил его товарищ, но он после ужина тут же улегся прямо на полу, уступив мне свое спальное место.

Одним словом, нам никто не мешал. Сначала я выпросил Гурия обо всем, что касалось моего задания, потом разговор, как всегда, перешел на нашу любимую тему — об отношении к жизни, о любви.

— Как вы только, Геннадий Михайлович, можете дружить с этим подонком?

— Хонов, согласен, неприятный тип. Но что-то меня в нем настораживает. Знаете, «чистый подлец» — это примитивная характеристика. Я к нему присматриваюсь много лет, и, кажется, частенько человек на себя лишнее наговаривает. Да и все мы, честно говоря, невольно выделяем в

себе какую-то одну черту и стараемся убедить в этом других: один считает себя добрым, другой — слабым, третий — простым. А Хонов, например, — циником. Мне думается, это бравада. Человеческая личность — штука сложная, много в ней намешано разного, противоречивого, хотя, возможно, какое-то качество в ней преобладает. В Хонове я чувствую — как бы это сказать? Вы только не смейтесь... Стыдливость, что ли? Он как будто намеренно борется в себе с человеком, «приятным во всех отношениях», может быть, из страха быть непонятым.

— А отчего он так презирает любовь?

— Значит, он еще ее не встретил, значит, кто-то сумел посеять в его душе недоверие. У меня, Гурий, тоже произошла в жизни такая подмена: думал, нашел близкого, родного человека, а вышло... Знаете, первое время я тоже озлобился на всех, терзался, мучился... Чуть не запил, да обошлось, отвлекся работой. Всякое случалось — я ведь не старик и не монах. Не хочу вас обманывать, было и такое, о чем вспоминаю со стыдом. К сожалению, подмены эти случаются часто. Вот и Тая не моя судьба, это ясно...

— Похоже, вы жалеете об этом?

— Жалей не жалей... Но от дружбы с ней я бы не отказался, очень уж она мне симпатична. Кстати, хорошо бы повидаться: мне и для очерка надо со студентами потолковать. Вы ведь говорили, они тут неподалеку работают?

Гурию явно не хотелось вдаваться в мои журналистские хлопоты.

— Получается, — вернулся он к прежней теме, — я счастливей вас с Хоновым. У меня любовь без ответа, но с тех пор, как она появилась в моей душе, я живу красиво, без скуки, в полную силу. Я ведь с детства обделен любовью: мать умерла рано...

— Вот как? Значит, вы с братом — сироты?

Гурий покраснел.

— Ну да, мы с братом, — продолжал он с какой-то неловкостью. — Скоро появилась «новая мама». Я к ней привязался, любил по-своему, но чувство неполноты осталось надолго. Потом, когда я знакомился, ухаживал за девушками, опять возникало то же самое ощущение: «не моя», «не то». Вот вы однажды сказали, что сердце хорошо знает, когда встречает «свое». Но не всегда же взаимно это чувство? Я, может, знаю, что этот человек «мой», а он и не ведает... Так ведь тоже бывает.

— Бывает. Один мой приятель заявил: настоящая лю-

бовь — любовь безответная. Не будь ее — не было бы и Петрарки.

— Говорить легко...

— Не унывайте, Гурий, еще полюбит. Как узнает вас поближе — разберется. Ну, давайте спать!

Гурий тяжело вздохнул.

«Кто их поймет, этих девчонок, — подумал я. — Иной раз влюбится в хмыря, алкаша, а мимо умного, порядочного человека пройдет и не заметит».

Я заснул быстро, и казалось, проспал всего минут сорок, но меня разбудили голоса: это Гурий поднимал своего напарника. Было около шести утра.

— Вить, Витек, да проснись ты! Слышь, позвякивает?

— Чего? — спросонок заворочался тот, натягивая одеяло на голову.

— Да наша арматура... Ветер. Боюсь, как бы не грохнулась!

— Ветер вроде не сильный, — засомневался я, — чего волноваться?

Гурий не ответил мне.

— Я пошел. Витька, тебе говорят, кончай дрыхнуть, догоняй! Кажись, две балки уже полетели...

Когда хлопнула дверь вагончика, Виктор вдруг вскочил на ноги:

— Где он? Вот напасть — никак не могу выспаться! Как мертвый валюсь, и точка... Надо бежать: если Гурий забеспокоился — дело плохо!

Оставшись один, я решил немного подремать — все равно успею. Однако уснуть так и не удалось: на душе было тревожно. Я следил, как на спинке кровати играют фиолетовые жучки, отсветы от электросварки: сначала один, потом другой, — значит, Виктор тоже успел подняться на арматуру.

Минут десять — пятнадцать я любовался огоньками, потом все-таки встал. На аккуратно застеленной койке моего приятеля белел конверт. «ТАЕ ГРАЧЕВОЙ» — было написано на нем большими печатными буквами.

«Значит, — подумал я, — Гурий решил ей написать. Очень интересно... Почему же он вчера не сказал об этом? Выходит, мне предстоит стать почтальоном? Что же он пишет?» — я с недоумением повертел в руках письмо, потом спрятал его в карман.

Ветер действительно был не очень сильный, но довольно холодный. Шофер редакционного «газика» еще спал,

согнувшись на переднем сиденье. Мне стало жаль его будить, и я решил пройти пешком, но не успел отойти от машины на каких-нибудь метров пятьдесят, как увидел бегущего мне навстречу какого-то человека. Это был напарник Гурия.

— Что случилось? — спросил я, пораженный его видом.

— Там... — задыхаясь от волнения, проговорил Виктор. — Давай гони машину! Скорей! Гурий разбился...

— Да как же это?

— Потом все расскажу, — отмахнулся сварщик.

Гурий лежал на земле без памяти, мы осторожно внесли его в машину и на самой максимальной скорости, которую мог выжать наш мотор, погнали в больницу.

— Не повезло парню, — глухо проговорил Виктор, склоняясь над товарищем, поддерживая руками его голову. — Доведем ли?

— Дорогу знаешь?

— Тут недалеко.

— Только без паники. Сколько метров высота?

— Порядка десяти.

— Да... — протянул я, — высоковато.

— А крови не видать.

— Может быть и шок, и внутреннее кровоизлияние. Врачи определяют. Чего гадать? Как он там?

— Стонет... Кажись, приходит в себя.

— Вези осторожней, — попросил я водителя.

— Стараюсь, — откликнулся тот, — только ведь это не «скорая», сами понимаете...

...Положение оказалось серьезным. Медики долго и подробно расспрашивали Виктора о происшествии.

А дело вышло так. Балки, как и предполагал Гурий, треснули, и труд высотников, тяжелый долгий труд, мог в любую минуту пойти насмарку, а гигантская конструкция превратиться в бесформенную грудку железа... Если это сооружение смонтировано качественно, то оно выдерживает любой, даже шквальный ветер, но при малейшей трещине и слабый ветерок вызывает вибрацию и может стать причиной катастрофы.

Гурий опытный высотник, конечно, знал, какой опасности подвергается арматура, вот и решил сделать несколько сварок, чтобы предотвратить беду. Однако ему не повезло: торопясь достигнуть аварийных балок, он случайно потерял защитную маску — пришлось работать с открытым лицом. Кончив работу и уже спускаясь на землю,

сварщик вдруг почувствовал головокружение. Так, во всяком случае, показалось его напарнику.

«Я,— рассказывал Виктор,— только увидел, как Гурий зашатался и тут же сорвался вниз. Помочь ему я уже не мог».

В приемном покое пострадавший открыл глаза и, заметив меня, скривил от боли губы:

— Письмо нашли? — произнес он с трудом. — Передайте...

— Передам, не волнуйся.

— Если я... Надо, чтобы знала правду...

Гурий получил серьезные увечья, медики опасались за его жизнь, но моя помощь ему была не нужна, и я поспешил в стройотряд...

Таю удалось разыскать быстро и легко. Она не обрадовалась моему неожиданному появлению, да, впрочем, и мне не до того было. Я молча протянул девушке конверт.

— От кого? — спросила она.

— От Гурия Степанова.

Разглядев почерк, Тая вдруг бессильно опустила руку с белеющим листком. Глаза у нее стали огромными.

— Он? — прошептала девушка. — Он?.. А вы?

— Ты меня, Тая, прости,— сказал я, не понимая, в чем дело, чему она так поразилась,— сейчас не время разбираться. Гурий в больнице — несчастный случай. Я поехал.

8

На следующий день я попытался прорваться к больному, но меня не пустили. Так же безуспешна оказалась попытка Виктора. Санитарка наотрез отказала нам:

— Нет, нет, даже не думайте, не пушу... Никаких гостей! До гостей ли ему, бедняге? Бредит и все зовет какую-то Таю. Может, знаете, кто она — жена, сестра, невеста?

— Не жена и не сестра — это точно.

— Значит, невеста, — утвердительно кивнула головой нянечка. — А то кто же? Посторонними бредить не будешь.

— Посторонняя, вернее, просто знакомая, — я с сомнением покачал головой, — а придет или нет — не знаю. Я

вчера с ней виделся, она про Гурия знает. Значит, не считает нужным его навестить...

Со вздохом отвернувшись к окну, я вдруг встретился с серыми, полными слез и тревоги глазами. Ох, до чего мне стало стыдно за свое недавнее сомнение!

Узнав меня, Тая спросила одними губами: «Как он? жив?»

Честно говоря, я не ожидал увидеть ее такой, нежной, любящей, полной тревоги.

Нянечка спросила: кто такая, к кому — и с укоризной взглянула на меня:

— А еще говорили, что не невеста! Да ты не дрожи, успокойся, — уговаривала она Таю, выдавая халат. — Доктор велел тебя пустить. Жениху-то полегчало. Смотри только не расстраивай его. Минутку посиди — и назад. И чтоб — ни слезинки. Слышишь — ни слезинки! Он еще слабый.

— Будет жить?

— К такой красавице кто угодно с того света вернется. Ну, с богом, ступай!

Я не стал дожидаться возвращения Таи. Есть такие минуты, когда человек имеет право побыть со своим чувством наедине, без свидетелей.

Да и мне самому тоже было полезно подумать обо всем, что произошло, и, честно говоря, я не пожалел, что в суматохе последних месяцев как-то забылось намерение сочинить рассказ о моем двойнике. Что значила бы стопка исписанной бумаги в сравнении с захватившими меня такими яркими, невыдуманскими событиями?

Я понял, почему до сих пор не удавались мои беллетристические опыты: я невольно жил вымыслом и проходил мимо живых людей, не обращая на них внимания, в надежде на какой-то особенный, небывалый сюжет. И вот вышло: рассказ не написан, зато какой-то период моей жизни прожит, и прожит, как я думаю, не напрасно.

...Не помню теперь точно, сколько времени прошло, — может, месяц, может, полтора. Гурий поправился, выпи-сался из больницы. Они с Таей навестили меня дома. Вечер, как я и ожидал, прошел очень сердечно. Мы от души повеселились над тем, как Гурий разыграл с нами настоящую «комедию ошибок», да так ловко, что даже я — человек искушенный в литературных жанрах — попал впро-сак!

Скоро все пошло своим чередом: я по-прежнему работал, ездил в командировки, «отписывался», но ощущал при этом какой-то душевный подъем. Вот только с Людой долго не удавалось увидеться. Мне казалось даже, что она намеренно избегает меня.

Однажды, гуляя по набережной, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Неудивительно, что я сразу узнал, чей он — кто еще может смотреть так настойчиво и неотрывно?

Обычные слова, обычные подтрунивания друг над другом — таков устоявшийся стиль наших отношений. Но сегодня мне почему-то стало досадно — на Люде такое же красное платье, в каком была Тая, когда мы с ней так неудачно сходили в театр. И прическа такая же — косы острижены, черные волосы лежат на плечах.

— Который час хочешь знать? — спрашивает Люда и глядит на запястье, где ярко поблескивают новые часики.

«Глупышка, — думаю я, — совсем еще глупышка! Часы, видно, только что из магазина. Хочет похвастаться, что она уже неплохо зарабатывает».

А все-таки выросла. Совсем взрослая девица. Люда смотрит на меня выжидательно, но, не прочтя на моем лице ни удивления, ни восхищения, отворачивается и смотрит на Волгу.

— Прогуливаешь? — спрашиваю строго.

— Не угадал. У меня больничный.

— Вот как? А я и не знал. Почему не звонила?

— А так, — говорит Люда независимо, — целую неделю пролежала.

— Прости, пожалуйста...

Замечаю, что в ее вечно озорных, насмешливых глазах — слезы.

— Что с тобой? — спрашиваю, встревожившись не на шутку.

— Ничего. Скажи, тебе нравится моя прическа? — и она встряхивает головой, рассыпая по плечам густые, мягкие волны.

— Господи! — восклицаю я растроганно. — Какой же ты еще ребенок!

— Я не ребенок — зачем ты себя обманываешь? Зачем ты так? Я ведь... — Она не договаривает, обидчиво дрожат ее губы.

И тут я догадываюсь... Странное чувство охватывает меня.

Пока я, ошеломленный, стараюсь разобраться в себе, Люда вдруг поворачивается и бежит без дежурной своей фразы: «Завтра увидимся».

Но я знаю, знаю наверняка, что увидимся, и от этой мысли сердце мое замирает. Жизнь уже изменилась и, как говорит Гурий, стала красивой и нужной. Нужной мне и ей — моему «горюшку луковому», «моей козе-егозе», моему счастью.

ДОЛГ

В один из на редкость прохладных июньских дней по проселочной дороге неторопливо шагал молодой человек лет двадцати трех, одетый в телогрейку, ватные стеганые брюки, на ногах грубые башмаки. Он с непокрытой головой — старая замасленная кепка давно выброшена в кусты, на дно оврага.

Парень среднего роста, но кажется ниже — из-за увесистой котомки, оттягивающей плечи и словно прижимающей его к земле. Только густая, пышная русая шевелюра выдает его истинный возраст. А так он выглядит гораздо старше своих лет. Лицо обветренное, прокаленное солнцем, худое и изможденное, старят глубокие морщины, пролегающие от крыльев носа к подбородку.

По всему облику видно, что парень немало перенес и долго жил в обстановке, научившей его быть сдержанным, скрывать свои чувства и мысли...

Однако, как в зимний день выглянувшее из-за туч солнце неожиданно оживит своим веселым светом безжизненные просторы, затеплит стылую синеву снегов, рассыпав мириады искр по снежной пороше, так и угрюмое лицо парня постепенно светлеет, оттаивает от звона жаворонка в вышине, от беспричинного хохота пролетающей мимо сойки, от шаловливой возни легкого ветерка в густой траве...

Чувствовалось, что каждый шаг приближает путника к хорошо знакомым местам. Он то убыстрял, то замедлял шаги, часто останавливался, к чему-то прислушивался, приглядывался.

Кругом было тихо и пустынно. Безмятежно шуршали головки желтеющего овса, да расстилалась необозримо изумрудная гладь ржаного поля...

Смутные чувства охватили его: хотелось поскорее добраться до дома, и в то же время что-то удерживало. Совсем не такими представлялись ему в воображении эти

минуты и этот путь, впрочем, сейчас не стоило углубляться в свои переживания.

Молодой человек возвращался домой из исправительно-трудовой колонии, в которой пробыл четыре года.

А вот и деревня.

Он не сразу нашел деревенские ворота: несколько лет тому назад их перенесли в другое место, почти к самой вершине склона.

Обойдя ограду, парень отворил низенькие дверцы.

На улице — ни души. Никто не спешил к колодцу, не было видно стариков, обычно сидящих на завалинках и покуривающих самосад, не шумели дети.

Медленно и неуверенно он сделал несколько осторожных шагов, часто оглядываясь. Потом вдруг заспешил вниз по улице, жадно всматриваясь в облики знакомых домов. Но свой, родной, не сразу удалось обнаружить... Перед старым домом выросло новое добротное строение, оттеснив «старика» в глубь усадьбы. Из двух ив-близнецов уцелела лишь одна, да и та была неузнаваема: ветки обрублены и вершина спилена; от второй остался лишь черный пенек.

Парень обратил внимание, что новый дом построен года три назад: бревна и тес на крыше успели слегка потемнеть.

С трудом удалось отворить калитку, пришлось разыскивать лазейку для того, чтобы просунуть руку вовнутрь и попытаться отодвинуть массивную железную задвижку.

Двор, широкий и пыльный, пахнувший скотиной: молоком и навозом, тоже поразил своим размером. Все говорило о достатке хозяина.

Парень недовольно поморщился: новое, непривычное, воспринималось с трудом, резало, как фальшивая нота.

Мечтая о возвращении, как-то не думалось о тех препятствиях, которые обнаружились сразу же, пусть хоть и мелкие, но все же... В темных сенях пришлось блуждать, пока нашлась дверная ручка: пальцы то нащупывали мох между бревнами, то натыкались на прислоненные к стене грабли, лопату, вилы. Лампочка, видно, перегорела.

Наконец, больно стукнувшись лбом о косяк, он вошел в избу и сразу же ощутил родной, неповторимый запах. От удара все еще слегка гудело в голове.

Из кухоньки вышла старушка, с широкой скамьи, стоявшей вдоль стены, приподнялся старик, видимо недавно прилегший вздремнуть...

— Саша! Сынок...

Она бросилась навстречу, вытянув руки как слепая, и чуть не упала.

У чувашей не принято обниматься и целоваться при встрече. Саша осторожно и бережно обнял мать за плечи и виновато улыбнулся, когда она, заплакав, уронила ему на грудь свою маленькую седую голову.

— Ну, мама, ну... Не надо...

— Ах, сынок, сыно-о-ок, — она подняла глаза, посмотрела сыну в лицо и громко запричитала: «Затем ли я тебя родила, затем ли грудью вскормила, чтобы ты... на чужбине... горе и беды... сыно-ок?!»

С лавки отозвался старик:

— Будет тебе, старая... Перестань. Вернулся ведь, чего теперь голосить?

Легонько отстранив мать, Саша шагнул к отцу, поздоровался с ним за руку. Тот степенно и сдержанно ответил на сыновье крепкое рукопожатие, затем отвернулся и принялся шарить по лавке чуть дрожащими руками.

Сын молча прошел в спальню, снял с плеча котомку, положил ее на пол возле кровати и стал раздеваться. Стаскивая с плеч пропотевшую рубаху, он поморщился, вдыхая запахи той жизни, которая осталась теперь позади и о которой не хотел больше вспоминать — ни минуты, ни секунды. Поскорей бы сбросить с себя вместе со старой одеждой всякую память о прошлом...

— Мама, — позвал сын, — умыться бы с дороги.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась старушка, — айда на волю: поплескаешься сколько хочешь.

Отец тем временем, потирая затекшую поясницу, закрихтел, закашлялся, поднялся с лавки и закружился по избе, что-то ворча себе под нос:

— Старуха, нечистая сила! Где мой чубук?

— Чубук? Ах ты, слепая сова! Да во рту у тебя торчит, голова соломенная!

Саша, посмеиваясь, взял кусок хозяйственного мыла и полотенце, вышел во двор. Мать несла за ним ведро воды, чистой, колодезной.

Сын снял майку, подставив тело под ледяные струи, которыми мать обливала его из ковшика.

— Эту змею, — услышал он над собой ее тихий, удивленный голос, — там сделали?

— Что? — не понял Саша. — Какую змею?

— Вот эту, — и мать осторожно прикоснулась пальцами к синей татуировке.

— Там, там...

— Ты уж ее людям-то не показывай. Эка страшнящая! Она опять заплакала, но уже без причитаний, горько и тихо.

Саша промолчал, только скрипнул зубами, а затем нарочито бодро и весело скомандовал:

— А ну, тащи сюда мои пожитки!

Мать поспешно скрылась в доме.

Умывшись и только теперь почувствовав, что он наконец избавился от докучливых запахов, Саша с наслаждением поводил крепкими плечами, словно птица, пробуя занемевшие крылья...

Гардероб сильно устарел: пожелтевшая от времени белая майка, рубашка со слежавшимися складками, четырехлетней давности, были уже тесны и едва налезли на поплотневшие, огрубевшие руки и плечи. Но костюм, раньше немножко великоватый, оказался как раз впору. Из кармана выпали два билета: один в канащинский кинотеатр, другой — на автобус от деревни до райцентра. Саша вздрогнул, вспоминая что-то давнее, полузабытое, но волнующее и важное.

Скоро на столе появился кувшин пива, яичница, творог, уйран¹ и пирог с луком и яйцом...

Саша ел молча, мать, продолжая тихонько всхлипывать, примостилась на углу стола, отец присел напротив, на скамейку, и время от времени подливал сыну пива. Разговор не клеился.

— Пиво так себе... Только цвет... Старовато. Выдохлось... Но ничего — все не пустая вода, — проговорил отец. — Вот, сын. Новый дом построил. Старый починил, нам со старухой сойдет. Как женишься, будешь жить здесь. Почему не говоришь, нравится ли?

— Хорош дом, ничего не скажешь, — ответил тот, закуривая папиросу.

Мать вздохнула и принялась стелить сыну постель:

— Поди, устал с дороги, ложись, отдохни.

За четыре года Саша отвык от сдержанности и тактичности, которыми отличаются его земляки при общении друг с другом, ему вдруг показалось, что в родном доме чего-то

¹ Уйран — пахта.

не хватает. Во всяком случае, отец держится с ним чересчур холодно и как-то отчужденно.

Саша снял костюм и, не выпуская изо рта папиросы, растянулся на кровати.

Отец молча следил за ним взглядом и тоже немилосердно дымил трубкой.

Стараясь не встречаться с ним глазами, парень устался в потолок, но скоро усталость и нервное напряжение последних дней сделали свое дело — он крепко уснул...

Безмятежный сон его был долог — проспал до полудня. В окно, не задернутое занавеской, ярко светило солнце.

Резким движением Саша разогнал вялость, оглянулся, словно ожидая окрика, слабая улыбка промелькнула на его лице — он дома.

В избе тихо и тепло. Родители куда-то ушли. Саша умылся, причесался и сел завтракать. На столе мать оставила чугунок с вареной картошкой, уйран, свежий домашний каравай и зеленый лук. Картошку, чтобы не остыла, она заботливо укрыла плотным льняным полотенцем.

До чего же хорошо! Ел с аппетитом, наслаждаясь полузабытым вкусом свежей, здоровой еды.

...Деревенская улица полна утренних звуков. Горланят петухи, где-то фыркает лошадь, скрипят колеса телеги, кто-то грубо ругает скотину.

Саша неуверенно спускается с крыльца, с досадой отмечая, что только дома, когда он один и никого рядом нет, чувствует себя спокойно. Ему вдруг захотелось выйти на улицу, повстречаться с земляками, но стоило только выглянуть за ворота, как накатил волна необъяснимой тревоги, и он захлопнул калитку.

Ух! — даже лоб покрылся испариной.

Медленно, как старик, волоча ноги, пошел он в глубь двора; зашел в хлев, поднялся на сеновал, походил по огороду, ища для себя какого-то занятия.

«Чего я боюсь? — спросил он себя. — Что мне могут здесь сделать плохого, ведь все свои: родственники, знакомые...»

Однако с соседями ему видется расхотелось. Минувя грядки, Саша прошел весь огород, перелез через редкие жердины, перешел вспаханное поле, топкий лужок и направился к лесу. Всю дорогу он то и дело оглядывался — не следит ли кто, не идет ли следом?

Прохладная тень, шорох зеленых листьев, треньканье синиц и свежий живой воздух постепенно восстановили душевное равновесие. Он выбрал самый красивый, живописный пригорок посредине поляны, опустил на мягкую траву и долго сидел, вслушиваясь в шум леса, бездумно следя за игрой солнечных лучей на вершине ближайшего к нему дерева.

Пожалуй, сейчас он ни о чем не мог думать, кроме одного — на свободе!..

Все теперь позади. Как тяжелобольной, пролежавший на больничной койке много месяцев, получает наконец возможность ощутить радость светлого дня, возвращения к здоровой, нормальной жизни, хмелеет, делая первые шаги, преодолевая слабость, так сейчас и Саша... опьянел от вновь обретенной свободы — не хотелось ни двигаться, ни думать, ни говорить...

И вдруг... Показалось, нет, не показалось, он ясно и отчетливо расслышал в лесной тишине, как хрустнула ветка под чьими-то шагами.

Как холодной водой окатило. Гулко забилось сердце, во рту пересохло. Он резко оглянулся, весь собранный, напряженный.

Между деревьями мелькнула легкая фигура — женщина в белом платочке и цветастом светлом платье.

Он не двинулся с места, пытаясь успокоить забившееся сердце.

Краешком глаза Саша продолжал следить, но женщина вдруг пропала, словно растаяла в древесной тесноте. И опять наступила тишина.

Усиливающаяся полуденная жара клонила ко сну, располагала к истоме. Он опять успокоился и задремал. Из приятного забытья его вновь пробудил треск сучьев, и вновь появилась женщина, проплыла мимо, как привидение.

Остаться на этом месте больше не было смысла. Саша поднялся с земли, чувствуя досаду и злость — нет ему нигде покоя, даже в лесу...

По дороге домой он случайно столкнулся с учителем Семеновым, человеком малознакомым. Учитель приехал в деревню как раз в тот год, когда Сашу посадили. Саша сделал вид, что не заметил его, а Семенов, наоборот, уставился на парня во все глаза и долго еще оставался на тропинке, провожая Сашу долгим взглядом...

К Сашиному приходу отец и мать уже были дома.

— Где был? — спросила мать.

— Да так... Прошелся.

Отец выжидательно молчал, но чувствовалось, что вот-вот его прорвет.

— Как собираешься жить дальше? Что молчишь? — раздраженно спросил он, кипя непонятым для сына раздражением. — Приехал, и ни гугу.

— Да я и сам еще не знаю, — вяло отозвался Саша.

— Неужели за четыре года не поумнел, не научился жизни?

«Отвяжись! — хотелось крикнуть. — Чего торопишь? Что ты знаешь о жизни? Дай хоть очухаться!»

Но он промолчал, однако раздражение против отца неожиданно успокоило его — атмосфера натянутости и недоговоренности разрядилась.

— Работать надо, — заявил Кузьма Петрович, — механизаторы колхозу нужны. Ступай в правление, трактор проси али комбайн. Женись, будешь жить как человек, а не так, как всякое барахло!

— Не шуми, батя, — примирительно усмехнулся сын, — наслушался я криков, да не таких, как твой, похлеще! Давай ладом: пойду, конечно, попрошу. Ты-то все там же, в райпо?

— Тама, где ж еще...

— Значит, все ревизии производишь?

— На то она и торговля — за ней глаз да глаз нужен. А тебе не нравится, что на жулье есть закон? Защищаешь?

«С чего это он завелся, — подумал Саша, — ничего обидного я вроде не сказал».

— Ну, уважил, сынок! Побеседовали... — протянул отец и недобро усмехнулся.

— Чего шумишь на парня, старый, — вступилась мать, — пусть отдохнет, привыкнет...

— Привыкнет! А чего ему привыкать-то? Там, может, лучше было? Герой какой! Не с фронта, поди, вернулся, не с медалью за отвагу! Ах ты, заступница...

Сын знал, что мать в их семье — человек подневольный и не станет долго перечить отцу. Хотел было возразить резким словом: чему-чему, а уж этому-то он научился за четыре года.

Но тут раздался стук в дверь, и чей-то мужской голос вежливо попросил разрешения войти.

— Заходи, заходи, — радушно откликнулась хозяйка.

Появление этого человека удивило всю семью: отец так и застыл, крепко сжимая зубами неизменный чубук, мать поднесла к губам фартук — жест, означавший ее крайнее смущение, а Саша хмуро опустил голову.

— Говорят, сын ваш вернулся, соседи. Пришел попрощаться, — сказал учитель, вешая на гвоздь кепку...

Разговор не ладился. Он напоминал костер, сложенный из мокрых веток — не горел теплым пламенем взаимной симпатии и интереса, а чадил принужденной вежливостью, неловкостью, натянутостью.

Семенов попытался было разговорить молодого хозяина, но тот отмалчивался.

— Вы никого возле нашего двора не встретили? — спросила как бы невзначай старушка.

— Нет... — ответил гость, помедлив, — никого. А что?

— Да кружит под окнами какая-то женщина. Который день...

Учитель нервно передернул плечами, затем спросил:

— Кузьма Петрович, не знаешь, почему это ларек наш до сих пор закрыт?

— Продавщицу никак не найдем.

— Чего же так?

— Не идут, боятся растраты.

— И правда, место словно заколдованное.

— Не знаю, заколдованное или нет, но только уже четвертая проворовалась.

Саша, искоса наблюдавший за отцом, заметил, что тот встревожен, словно чего-то побаивается.

Поговорив еще минут пятнадцать, гость стал прощаться.

— Желаю здравствовать, Кузьма Петрович, — обратился он почему-то лишь к хозяину и усмехнулся, добавив: — А домик-то вы себе славный отгрохали...

— И зачем только приходил? — удивлялась мать, запирая на крючок дверь. — Никак в толк не возьму.

— Куриные твои мозги, — сверкнул глазами отец.

— Бать, — подавляя неловкость, спросил Саша, — а та продавщица... Нина... Где она сейчас?

— Нина? Какая еще Нина?

— Да та... ну, которая растрату тогда сделала. Шестисот рублей недостача. Четыре года назад...

— Запомни раз и навсегда — никакой недостачи у нее

не было. Никакой. Честный человек, порядочный, замужем давно.

— Как замужем? Когда же она вышла? За кого?

— Да почитай, уже года три, как поженились,— вступила в разговор старушка, жалостливо поглядывая на сына,— это ее мужик и был — Семенов.

— Семенов?!

— Тот живет, кто не ворует, — съязвил Кузьма Петрович, — тот и женится, строит семью и работает, как все порядочные люди.

Саша лег на кровать и закрыл глаза.

Родители долго молчали. Каждый думал о своем. Тяжелая, гнетущая тишина воцарилась в избе. Наконец мать не выдержала:

— Чего ты, старый, все налетаешь на родную кровь? Али тебе не жаль его?

Кузьма Петрович ничего ей не ответил. Он долго и мрачно шагал из угла в угол, взвинченный, злой. Почему? Никто из домашних не знал.

У Саши были свои переживания, все те же, от которых, как и прежде, закипала в душе обида. Если бы знал отец... Если бы знали те люди, которые смотрели на него на улицах как на преступника...

* * *

Окончив после средней школы курсы механизаторов, Саша всю весну проработал в соседнем колхозе трактористом и лишь на десять дней в начале лета вырвался домой.

Красивое было время... Все цвело, все зеленело. Цветущие черемухи, похожие на огромные белые букеты, наполняли воздух волнующим горьковатым запахом.

Молодость... Расцвет жизни. Кровь стучит в висках, ширится сердце... Что бы ни случилось, кто бы ни встретился в это время, кажется — на всю жизнь!..

Ему недавно исполнилось девятнадцать — первые самостоятельные шаги, первая работа и... первая любовь. Именно в то время, приехав в отпуск, он и познакомился с Ниной. Если бы он только знал, чем все это для него кончится...

Но тогда, счастливый и беззаботный, чувствуя себя вполне взрослым, юноша зашел в ларек, чтобы купить папирос.

За прилавком стояла девушка — при виде ее у Саши тревожно вздрогнуло сердце, кровь прилила к лицу...

Такой красивой он еще никогда не видел.

И в деревенской тиши, в начале цветущего лета, под торопливый стук жаждущего любви сердца, она показалась ему единственной мечтой, сказкой, счастливым сном...

— Вы, — начал он несмело, весь красный от смущения, — здесь недавно? Я вас ни разу не видел. Откуда приехали?

Девушка засмеялась:

— Так и я вас не видела. Значит, надо познакомиться. Меня зовут Ниной, я из соседнего села.

— Меня — Сашей, я здешний. Кончил курсы механизаторов, работал трактористом. Вот приехал домой, в отпуск...

— Выходит, тоже молодой специалист? Как и я.

Нина говорила весело, просто — без жеманства и кокетства, сразу же поставив между ними знак равенства: оба получили одинаковое образование, оба начинают жизнь, оба сельские, оба молодые.

— Отпуск у вас больно маленький, — с сожалением вздохнула девушка, — не разгуляешься...

— Да, — согласился Саша, почувствовав вдруг, какой коротенький срок отпущен ему — всего десять дней он может видеть ее.

— Я тоже скоро уеду. Вот ревизия пройдет, и рассчитаюсь. Буду поступать в кооперативный техникум.

— С вашим лицом я бы не в кооперативный, а в театральный поступал.

— А вы сами почему не поступили? Вы, может, скорее подошли бы. И лицом, и фигурой больше на артиста похожи, чем на тракториста, честное слово. А какие у вас волосы! Любая девушка позавидует. И красить не надо и завивать...

— Нашли чему завидовать, — вспыхнул Саша, — да меня с самого детства за эти кудри «девчонкой» прозвали.

Они весело расхохотались.

Саше раньше никогда не встречалась такая. Подумалось: «У Нины что на уме, то и на языке. Такая простая, хорошая, будто век знакомы, будто выросли вместе, на одной улице».

— Вечером выйдете?

— Куда же денусь? Скучно дома сидеть такой порой.

И опять Саша обрадовался про себя: как она искренне отвечает. Не хихикает, не опускает глаза, изображая притворное стеснение.

Из ларька юноша вылетел как на крыльях и никак не мог дожидаться вечера, когда вся молодежь высыпает на улицу.

И опять Нина вела себя необычно. Она, самая красивая, самая нарядная из девчат, держалась как бы в тени, не пела, не смеялась громче остальных, не играла пустыми словами, стараясь обратить на себя внимание. Для каждого, кто бы к ней ни обратился, девушка находила приветливые, вежливые слова, улыбалась открыто и доверчиво.

Это даже несколько встревожило юношу — неужели он ей совсем безразличен?

Провожая ее домой, Саша попытался было обнять девушку, но та решительно отстранилась:

— Не надо этого, прошу.

Чем чаще они встречались: то в кино, то на танцах, то на посиделках, тем больше юноша убеждался — завоевать эту красавицу нелегко. День проходил за днем, а между молодыми людьми душевной близости не возникало — одни разговоры.

Сашино чувство между тем росло, как молодой на небе, и делалось все заметней и заметней. Он похудел, осунулся, даже сон потерял и, как в песне поется: «Семь раз просыпался за короткую ночь».

Так пролетела неделя. Бедный влюбленный совсем извелся, но Нина, казалось, ничего не видела.

«В следующий раз, — решил Саша, — возьму, наконец, и все ей скажу... Времени у меня в обрез. Согласится — женюсь...»

В тот злополучный день он отправился в ларек с самого раннего утра, но молоденькая продавщица на этот раз не хотела его впускать.

— Нина, — прошептал Саша взволнованно, — мне надо тебе одно слово сказать... Отвори на минутку.

— Ты меня прости, — выглянула из-за двери девушка, — душа не на месте... Ревизия. Не мешай, я хочу сперва сама все пересчитать. Про этот ларек худая слава идет — никто отсюда по своей воле не уходил — у всех недостача... Ой, так боюсь, так боюсь, — она прижала ладони к щекам, горевшим ярким, лихорадочным румянцем.

Саша понял, что его заветные слова прозвучали бы в эти минуты впустую...

Вечером девушка не вышла, как обычно, на улицу. Не вышла и на другой день. Ларек стоял закрытым — там шла ревизия, а наутро на дверях появился здоровенный замок.

Кузьма Петрович все время ходил какой-то странный, что-то обдумывая, прикидывая про себя. Саша хотел было спросить его, как прошла ревизия, — отец был главным проверяющим в райпо, — но не решился: по лицу было видно — лучше не приставать...

Утро того дня не предвещало ничего плохого, все шло как обычно. Саша встал позже всех: когда он проснулся, никого в доме уже не было — отец уехал в район, а мать спозаранку отправилась на ферму.

Дом был хоть и старенький, но теплый, уютный: кухня с русской печкой и небольшая комната, где стояли две кровати. Конечно, жилось тесновато, и если бы он женился, то пришлось бы строиться.

А все-таки хорошо в родном углу! Жаль уезжать. И с Ниной не удалось объясниться — ревизия, как на грех... И что она, глупая, боится? Честная, грамотная — такая не обсчитается и других не обманет. Все обойдется, все будет хорошо...

В огороде какая-то пичужка тянула свое бесконечное: «И-у-ук! и-у-ук!» В траву закатились крупные, как кукушкин глаз, росинки. Низко над горизонтом привольно растянулось синее облако. Далеко по лугу неторопливо текли, перемещались сизые клубы утреннего тумана. Воздух благоухал хмельным настоем трав, цветущих кустов и деревьев — черемухи, яблонь, сирени.

Благодарать... Разве можно долго грустить в такое чудесное утро?!

Земля переполнена невидимой животворящей силой. Под ногами чувствуется странный ток. Он поднимается от ступней, потом все выше и выше — до самой макушки. Этот ток жизни — радостное свидетельство единства человека со всей окружающей его природой, проснувшейся к созиданию...

От нечего делать — уезжать надо было во второй половине дня — Саша вышел погулять. Прошелся по улице, постоял с приятелем, Мишкой Тороповым, тоже механизатором, перекинулся с ним двумя-тремя незначительными фразами.

— Уезжаешь? — спросил Мишка.

— Да, — вздохнул Саша.

— А как зазноба?

«Надо бы самому зайти к ней», — подумал парень.

Нины дома не оказалось, и Саша, вздохнув, отправился в лес.

В лесу тревога за девушку, за свою молодую любовь вспыхнула в нем с новой силой.

«Нина, Ниночка, — шепчут губы, — только ты одна, только ты... Неужели ты ничего не знаешь, не чувствуешь, не догадываешься?»

Как хотелось ему сейчас увидеть любимую, заглянуть в ее глаза, взять за руку и... Много слов томится в глубине сердца... Очень много, как звезд на небе! Только нет ее рядом. Черные тучи, чувствует, сгустились над ее головой, такой ясной, светлой, доверчивой.

И вдруг... Вдруг впереди мелькнуло и исчезло за деревьями белое платье.

Это — Нина! Что она делает здесь, в такую пору, когда нет ни ягод, ни грибов? Ноги сами понесли его навстречу, но готовый было сорваться с губ окрик замер. Видно, девушка его не заметила.

Конечно, отслеживать, высматривать — нехорошо, но что поделаешь? У любви свои, особые права...

Прячась за толстые стволы, Саша осторожно приблизился.

Нина торопится, что-то ищет, поминутно подымает голову у самых высоких и крепких деревьев.

Теперь, когда до нее остается каких-нибудь десять шагов, он приседает на корточки. Из-за раскидистой лещины Саше видны лишь оборка на широкой юбке да ноги.

«Зачем я здесь? — пронеслось в голове. — Почему не могу просто подойти и заговорить? Ползаю по лесу, караулю как какой-нибудь сыщик!...»

Однако что-то все-таки удерживало, и он не трогался с места, прислушиваясь к непонятным звукам и шорохам. Вот девушка подпрыгнула, стала на пенек, подтянулась на цыпочках.

«Что она собирается делать?»

Прошло пять томительных минут. Потом затрещали ветки, закачался куст, словно вздрогнув от какого-то неведомого страха.

Саша не выдержал и поднялся во весь рост...

Нина забрасывала суконный пояс на толстый дубовый сук. Увидев парня она испугалась, побледнела, потом неожиданно покачнулась и упала прямо на его вытянутые руки. Девушка была в глубоком обмороке...

Саша осторожно уложил ее на траву. Что делать? Искусственное дыхание?

Сначала, казалось, его попытки вернуть Нине сознание были безуспешны, надо было нести ее в больницу. Но Саша боялся остановиться и все подымал и опускал вялые, безжизненные руки.

Однако через некоторое время появилось слабое дыхание, кожа слегка порозовела, и девушка наконец открыла глаза.

Но какой ужас он прочел в этих расширенных зрачках, какую ненависть к себе.

Он был счастлив, безмерно счастлив, что вернул ее к жизни. А она?

— Все будет хорошо, дорогая, милая, любимая... — в каком-то забытии шептал Саша, целуя теперь уже без страха, без опасения, что она может прогнать, оттолкнуть, эти бледные губы, эти холодные щеки, — поженимся. А? Ты согласна?..

Нина отвела глаза.

— Постой, я помогу тебе подняться. Вот так. Ну что, голова кружится? Ничего, пройдет. Посиди, отдохни...

Девушка молча принимала Сашины заботы, позволила ему усадить себя на пенек и долго сидела с закрытыми глазами.

— Теперь все равно, — произнесла она с трудом, касаясь рукой шеи, и болезненно сморщилась, — теперь все равно...

— Нина, Ниночка, что ты надумала?.. — «Она не успокоилась, она может повторить эту страшную попытку», — пронеслась в голове ошеломляющая догадка. — Ну что ты, ну что?..

— Не подходи ко мне, — с пугающим отвращением произнесла девушка, — ненавижу тебя, ненавижу!

— За что?!

— Я прокляну тебя на всю жизнь, если опять помешаешь!

— Что хочешь делай, но не отступлю я от тебя. Смотри, какое солнце, какой чудесный белый свет, а ты...

— Не уговаривай, что ты знаешь о белом свете? Что? Он гадкий, отвратительный!

— Ну хорошо, хорошо, но меня?.. Разве меня тебе не жалко? Добрых людей много...

— Особенно таких, как твой отец!

— При чем здесь мой отец?

— При том, что ты его сын! Сын, сын... — повторила девушка и вдруг истерически разрыдалась.

Саша обнял ее за плечи, но Нина не успокаивалась и продолжала плакать, долго, безутешно. Потом подняла голову и прильнула мокрым, измученным, несчастным лицом к его груди...

Он не мешал ей и терпеливо ждал, пока кончатся эти горькие слезы. Нина всхлипывала как малый ребенок.

— Погубил ты меня, Саша, — сказала она наконец. — Погубил совсем.

— Я?!

— Ты...

— Да мне жизни своей не жалко... Все отдам, все сделаю... Только, ради бога, объясни, что произошло?

— Недостача... Твой отец проверял, не хватает шести-сот рублей.

— Только и всего? Только и всего? — обрадовался Саша. — Так это из-за такого пустяка?!

— Ах, Саша, Саша... Может, для вашей семьи это действительно пустяк, а для меня... Я же сирота. Не знаешь? Сирота я. С дедом и бабушкой живу, потому и работать пошла. Где мне этот «пустяк» взять? Дом продать? Куда же старики денутся? Нет. Лучше... так. Тюрьма страшнее, я не выдержу.

— Да ты просто ненормальная! — воскликнул Саша. — Почему со мной не посоветовалась? Да найду я тебе эти деньги — сегодня же, сейчас же!

...Никто не мог одолжить Саше такой крупной суммы. Механизаторы, конечно, народ, как говорится, с деньгой, но... Все-таки парень молодой, из чужой деревни, кто его знает?

Одним словом, все произошло как по-писаному: волей случая, волей судьбы выходило, что Саша должен пострадать за свою первую любовь.

В тракторном парке стоял новехонький запасной мотор к автомашине ЗИЛ-150. Он приглянулся кому-то из соседнего колхоза. Колхозный «толкач», разбитной малый, из кожи лез, чтобы приобрести для своего хозяйства этот самый мотор, но председатель колхоза, как на грех, куда-то

отлучился. Конечно, у него и в мыслях не было расставаться с такой дефицитной вещью.

Саша продал мотор сам, долго не раздумывая. Заветные шестьсот рублей он получил от «толкача» без проводочек. Он и грузить помогал, а потом, через час, довольный собой, спешил в деревню к ней, к Нине...

Что с ним может произойти потом, Саша в эти минуты и не думал вовсе.

Мать с отцом очень удивились, когда он оказался дома, но сын соврал, сослался на какую-то несуществующую причину. И опять все делал легко, не задумываясь, словно в уши ему шептал кто-то, учил действовать без ошибок, с пугающей точностью.

Наградой этому безумству была ее улыбка, ее счастливый смех. В тот же день Нина рассчиталась и уехала домой. А вечером Сашу забрали...

На допросе Саша не стал отпираться, что, самовольно продав мотор, присвоил шестьсот рублей, но для чего он это сделал и куда девал сумму — не признавался. При обыске денег не нашли.

Четыре года! Четыре года... Самые молодые! Жизнь исковеркана в девятнадцать лет... Теперь ему двадцать три, но выглядит значительно старше. Ничего не осталось: ни детских припухлых губ, ни ясных голубых глаз, ни гладкой светлой кожи. Да, теперь, наверно, Нина не назвала бы его красивым, не посоветовала бы поступать в театральный... Пожалуй, ни время, ни страдания не коснулись одних лишь волос. Они по-прежнему такие же густые и выющиеся. В колонии Саша работал на стройке, мускулы накачал крепкие, но они не красили его: изможденное лицо как-то не вязалось с могучими бицепсами.

Завтракать опять пришлось в одиночестве, но одиночество давно перестало тяготить его.

Отец вошел в избу как раз в тот момент, когда сын ловко и сноровисто, как это умеют делать мужчины, долго жившие без женской заботы, прибрал со стола.

— Поговорил,—начал Кузьма Петрович прямо с порога,—с председателем уже поговорил. Нужны ему механизаторы. Трактористы нужны, шоферы. Выбирай что хочешь. Сказал, может отдохнуть денек-другой, а потом пусть выходит. Вот и уладили одно дельце. Попотчуй, сынок, отца за работу пивком. Плесни малость.

Саша молча принес из сеней прохладный глиняный кувшин, налил пива в тонкий, чисто вымытый стакан.

— Ну, доволен? — спросил отец, со смаком делая первый глоток.

— Спасибо, батя, — сдержанно поблагодарил сын. — Работать хочется, скучно так... Пойду-ка схожу в правление.

— Погодь, председатель будет после обеда.

— А я в гараж. Техника теперь, поди, новая. Перезабыл все, погляжу, что к чему...

— Да ты мать не обижай, пообедай сперва. Она скоро придет, дождись... Не видишь, смотрит на тебя, словно ты с того света вернулся.

— Ладно, уговорил. Тут книжонку у тебя нашел занимательную, читаю.

— А чего в избе читать? Жарко, да мухи. Шел бы лучше куда-нибудь на вольный воздух. Отвык от нашей природы? Там климат какой? Говорят, не ахти...

— Климат неважный. Ветра, степь кругом. Деревьев почти не видал.

— Вот-вот. А я о чем говорю? Ступай. Никто тебя за это не осудит. Понимает народ...

«Понимает, как же! Мне теперь с этим тавром всю жизнь ходить и по сторонам озираться», — подумал Саша, но промолчал.

Он долго блуждал по знакомым местам, все кружил и кружил по лесу.

В лесу, казалось, ничего не изменилось за эти долгие годы. Вот и пенек. На нем сидела Нина тогда, в тот ужасный день...

Сейчас здесь было тихо. Отшумело, отгремело все, чему было положено — свершилось.

Он присел на пенек. Закрыв глаза и ощутил, как на его лице играет двойной свет: один, идущий с высоты, — солнечный, яркий, теплый, веселый; другой — от пруда, отраженный его гладкой поверхностью, — холодноватый, приглушенный, несущий забвение и покой...

Что выбрать?

Саша открыл глаза, принимая мир таким, каким он явился перед ним в эти летучие мгновения. Прутья молодого ивняка — белесые, словно их посыпали тонкой белой мукой: проведешь пальцем — открывается нежная зелень. Под ольхой и осиной — сухие сугробчики опавших сережек.

Рядом с пеньком, прямо под ногами, живой струйкой текут мураши — это тропа, ведущая к муравейнику. На ней

оживленно, как на настоящей городской улице. Куда они спешат, эти трудяги? Душно. Солнце печет, побеждает своим жаром прохладу близкой воды.

Крупные зеленые мухи жужжат томно и противно, как пьяный гармонист, что не в силах уже попасть пальцами на кнопки гармонии, а только растягивает и растягивает, чуть ли не до самой земли хрипатые мехи...

Нет покоя в мире: все куда-то спешит, звенит, жужжит, действует. А ему, Саше, спешить некуда. Живет словно по привычке: надо. Кому? Зачем?

И опять показалось — ходит кто-то, все время ходит за ним. Кто бы это мог быть? Никому он, кажется, ничего не должен. Расплатился. Вполне расплатился. И за любовь в том числе.

Но это белое платье... Опять оно!

Саша с досадой подымается: нигде нет покоя. Чего ей от него надо? Не станет же он, в самом деле, бежать за бабой по лесу, узнавать, зачем это она следит за ним. Прах их всех поberi...

Вечером, после ужина, сидя у окна с потухшей папирсой в зубах, он опять увидел белую фигуру и вздрогнул. Нет, видно, не отвязаться, кто-то упорно хочет повидаться с ним, а для чего — непонятно.

Накинув пиджак, вышел за ворота. От колхозных клетей кинулась навстречу какая-то женщина.

— Саша,— услышал он тихий, прерывистый шепот,— Саша...

— Кто здесь? — спросил он. — Что надо?

— Это я, Нина...

— Нина!

— Тише, не кричи, услышат. Я тебя уже который день хочу встретить. Хочу и боюсь...

— Боишься? Почему?

— Ты стой так, не подходи. Слушай... Как тебя отблагодарить? Я ведь все знаю.

— Что ты знаешь?

— Про мотор и про то, что ты из-за меня... пострадал.

— Когда ты замуж вышла?

— Тогда, сразу же. За нашего. Как вернулась домой, как узнала, что тебя посадили... Переживала очень. А он, учитель, на каникулы приехал, стал ухаживать, глаз не спускал. Боялся, как и ты, что я с собой что-нибудь сделаю. А я и сама не знаю, как все это вынесла и жить осталась...

— Любишь мужа?

— Люблю, только... знаешь, я все для тебя сделаю. Ведь ты тогда жениться на мне хотел. Брошу мужа, сына только оставлю...

— Не надо, Нина. Четыре года прошло, ничего не воротишь.

— А как же я? У меня сердце разрывается... Что я могу? Скажи только, все сделаю!

— Поздно, милая, поздно. Поезд давно ушел... Живи спокойно. Не надо мучиться, видно, так мне на роду было написано. Да и мужа пожалей — он-то ни в чем не виноват.

— Не отталкивай меня, не говори так! Что они с тобой сделали? Ты какой-то другой стал, на себя не похож.

— А ты все такая же — «отзывчивая», «добрая». Спокойной ночи, Нина. Иди домой.

— Теперь ты никуда не уедешь?

— Никуда. Еще увидимся.

— Может, передумаешь?

— Ох, девочка, чего я только не передумал... Иди, поздно, муж хватится.

На следующий день Саша столкнулся с ней на улице. Был солнечный ветреный день. Нина несла коромысло с полными ведрами, шагала осторожно, мелкими шажками. Широкий подол ее платья так и рвал, так и завивал вокруг ног озорной ветер.

Проходя мимо, она тихонько шепнула:

— Не здоровайся со мной, муж смотрит.

Саша обернулся и увидел Семенова.

— Есть время? — спросил тот. — Поговорить надо...

«Чего бы ему приспичило?» — подумал Саня. Не любил он такие вступления: жизнь научила осторожности. Часто эта фраза предшествовала драке. В таких случаях он всегда внутренне собирался, сжимался пружиной, готовясь к защите, а то и к нападению. Но в голосе учителя не было угрозы. Наоборот, тот чувствовал себя как-то неуверенно: рассеянно смотрел в сторону, разминая между пальцами и так уже полупустую папиросу. «Уж не о Нине ли разговор затеял? Самое время...»

— О Нине, — словно подслушал его мысли Семенов, — и о тебе тоже.

Саше стало жаль учителя. Топчется, мнется, с объяснениями лезет. А что объяснять-то? Скорей всего, не шибко любит его жена, и ничего с этим не поделаешь — пойми

и стерпи, если сможешь. Силясь заглушить проснувшуюся жалость, где-то в глубине, под ложечкой, нарастала досада, закипала ключом злость.

— Ну, говори, послушаю.

— Ты хоть понимаешь, из-за чего срок отсидел?

— Ну, это не твое дело.

— И мое тоже. Думаешь, не знаю, что деньги те, за мотор, ты все до копейки Нине отдал? Знаю. И молчи, не перебивай, мне и так нелегко... Да, наделал дел твой отец, заварил кашу...

— А он-то тут при чем? Работа его такая.

— Работа... Неужели не догадываешься? Конечно, деталей я не знаю. Нина уверена, что с самого начала товара в ларьке было меньше, чем числилось в приемном акте, который он ей подsunул. Говорит, мол, и не считала как следует — боялась обидеть недоверием уважаемого человека. Так, больше для вида, накладные просматривала. И то сказать, много ли она разобрала в них, никогда прежде не торгуя?

Учитель бросил наконец выпотрошенную папиросу, полез в карман за другой. Закурил.

— Худо-бедно, работает Нина. Кузьма Петрович заходит, справляется, как идут дела. И вдруг заявляется с ревизией. Стали считать — недостача, и не чепуховая, а шестьсот рублей. Что делать? День проревела девчонка, а вечером все свое «состояние» — сотни не набралось — понесла твоему отцу. Может, присоветует что. Боялась тебя встретить, чтоб не подумал ты о ней худого. Но обошлось, дома был только отец. Он усадил ее за стол, налил чаю. А Нине не до угощений, бумажки свои ему протягивает. «И это все?» — «Все». — «Ах, Нина Матвеевна, Нина Матвеевна, что мне с вами делать? По закону должен я был еще днем ревизионный акт в район отвезти, а там уж пусть ОБХСС, а не я голову ломает, откуда такая недостача появилась». Одним словом, еще больше напугал, а заметив это, предложил в долг шестьсот рублей, да еще в придачу «добрый совет»: составить акт на кондитерские и бакалейные товары, якобы нуждающиеся в пересортице из-за долгого хранения. Продавать же их Нина должна была по старой цене и за счет этой разницы вернуть ему деньги.

— Очевидно, — продолжал учитель, — подобным образом Петрович вовлек в свои аферы и тех девчат, что работали в ларьке раньше. И хотя Нина это вдруг поняла, деньги

все же пришлось взять, чтобы внести в кассу недостающую сумму. А шесть сотен, которые ты принес, тут же отдала твоему отцу — вот и построил он на них новый дом. Нина же до сих пор чувствует себя в долгу: теперь уж не перед ним, а перед тобой. Напрасно ты это за любовь принял. Жалеет она тебя...

— Ну, ее жалость мне тоже известна,—усмехнулся Саша.—О том, чтобы пойти к следователю и рассказать, как было дело, она и не подумала. Я понимаю: своя рубашка ближе к телу. Ей и раньше в голову не приходило спросить, где это я так разбогател,—сама рассчиталась, и ладно, слава богу. Говорит, потом переживала из-за меня, да только за все четыре года не нашлось у нее времени и письма мне написать... Считаешь, отец виноват во всем? Может, ты и прав. Уеду я отсюда, надоело все,—видно, и дома покоя не найду...

Вернувшись домой, Саша вытащил из-под кровати свою котомку, стал собирать немудреный скарб: пару чистого белья, рубашку. Костюма не взял.

Матери дома не было. Отец молча следил за сыном.

— Куда собираешься? — спросил он наконец.

— Свет велик,—сурово ответил сын.

— Надолго?

— Навсегда.

— Тогда будь здоров,—с издевкой произнес Кузьма Петрович,—встретимся на базаре, как выйдем продавать петушков.

Сын молчал.

— Ты,—не выдержал отец,—ты заставил меня поседеть! Я всю жизнь работал не покладая рук, дом новый построил для тебя. Хлопотал перед председателем: пусть, думаю, трудится, заводит семью — человеком станет порядочным...

Саша взялся за ручку двери и только тогда поднял глаза на отца — посуровевшие, чужие. Не прошли даром эти четыре года: радовался ли, злился ли — ничего нельзя было прочесть на его лице.

— Ну, я пошел,—произнес он по-прежнему спокойным, ровным голосом.—Что было, то прошло, не вернуть ни любви, ни молодости. Не имею на тебя сердца, но жить в этом доме, после того как я все узнал, не хочу. Живи сам, если можешь...

— Кто насплетничал? Кто встал между нами? Нинка? Так я ей покажу...

— Ничего не надо, батя, не грехи на старости лет. Хватит. Прощай.

Когда дверь за сыном захлопнулась, отозвавшись тихим эхом в глухих равнодушных стенах, Кузьма Петрович медленно поднялся с лавки, подошел к окну.

— Сынок,—позвал он слабым голосом,—сынок... Пой, вернись, прости меня, старого дурака! Посидим, поговорим...—причитал он почти в беспамятстве, глядя через оконное стекло на удаляющуюся фигуру сына.

Володя вышел из автобуса и, легко подхватив нетяжелую сумку с не бог весть какими гостинцами, двинулся в сторону родной деревни.

Он не был дома давно — целых три года. За это время Володя успел закончить институт, получить распределение, устроиться на работу и жениться, но ни разу ему так и не удалось навестить мать. Она сама приезжала к сыну: в первый раз ей «хотелось познакомиться со сношенькой»; во второй — «просто соскучилась».

И писала мать часто, и посылки посылала: то почтой, то с оказией. Сын искренне считал, что им с женой некогда аккуратно отвечать на письма и отправлять в деревню ответные гостинцы нет никакой возможности — времени в обрез: оба заняты на производстве. Молодожены отделывались лишь поздравительными открытками к праздникам. В летние месяцы, из-за отсутствия официальных торжеств, деревянный ящик для писем, заботливо прибитый к забору младшим братом Санькой, оставался пустым до ноября.

Кроме Володи, в городе жили еще два брата: Илле и Сидор, но и они — редкие гости в родном доме.

Ничего худого нельзя было сказать про старших сыновей Полины-инге: порядочные, степенные люди, должности занимают приличные... Однако и они жаловались на «уважительные причины»: «Не успеваю — то работы много, то заболеешь, то отпуск. Что поделаешь — такая нынче суматошная жизнь».

О матери, конечно, помнили, но больше, как говорится, в душе. Пока жива, здорова, хозяйство есть, Санька помогает. Старушка еще бодренькая, не жалуется, иногда подбрасывали ей дефициты — то колбаски сухой, то рыбки копченой. У жен, между прочим, тоже родня. На всех не угодишь. Рвешься, стараешься, а в результате оказываешься перед всеми в долгу.

Этим летом Володя не выдержал, решил: «Поеду». Совесть замучила, да и мать стала часто сниться.

Теперь ему казалось, что трудности, рисовавшиеся в воображении, когда он думал о поездке — сутки поездом, три часа на автобусе да еще километра два пешком, — на самом деле сущие пустяки.

Идти по тропинке, словно корытце наполненной тонкой пылью, было сплошным удовольствием.

На лугу тропинка твердеет. Сколько лет этому древнему пути? Может, по нему ходили не только деды, но и прадеды? Испокон лет никто не ремонтировал — каким был сотню лет назад, таким и остался. Настоящий живой памятник. Сколько же может быть на нем невидимых следов? Не меньше, наверное, чем звезд на небе.

Так, размышляя и радуясь встрече с родными местами, Володя дошел до деревни.

У деревенских ворот, «полевых», как их принято называть в здешних местах, стоят бочки, пахнет соляркой, керосином и дегтем. На ограде висит то ли кем-то забытая, то ли выброшенная за ненадобностью старая, засаленная телогрейка.

Приезжаем сразу же бросается в глаза, что домов за три года прибавилось. Нет двора, где бы не велось строительство: чуть ли не возле каждой старой избы — новый сруб, значит, односельчане живут хорошо, зажиточно.

Володя с любопытством осматривается. Ну и дела... Сколько перемен. Ему становится немного обидно: кто-то другой, а не он сам заботится, чтобы росла и хорошела его деревня.

Но у матери, кажись, все по-прежнему. Та же старенькая избушка; здесь прошло детство, пролетела беззаботная юность. Одним словом, дом родной. У кого не сожмет сердце от этих слов?

Чтобы продлить минуты встречи с давними счастливыми временами, Володя особенно не спешит, внимательно присматривается к каждой мелочи: вон и черемуха, когда он приезжал домой, перед защитой диплома, чтобы «подкрепиться», была совсем маленькой, а теперь вытянулась чуть ли не до самой крыши. Пушистые ветки все в белых цветах, словно окутаны туманной пеленой, и зыбкий, вырвавшийся из очага дымок растворяется в них и становится почти невидимым. Под деревом устроена летняя кухня.

Он заметил мать сразу, как только распахнул калитку:

маленькая, сухонькая, в белом платке и белом платье с сатиновым передником.

— Илле никак приехал? — сперва не узнала, а потом обрадовалась она; старший брат все-таки выбрался, в прошлом году приезжал, а Володька только обещался целых три года и вот, пожалуйста, прибыл. — Уй, да это кто! Надумал-таки проведать старушку?

Встреча вышла немного неловкой, потому что городской сын забыл старинный обычай и полез целоваться. Бурное проявление чувств не принято у чувашей: и горе, и радость, считают они, человек должен нести с достоинством.

Бедная старушка зарделась от смущения, как девушка, и стараясь не обидеть, тихонько высвободилась из крепких сыновних объятий.

— Руки, постой, мокрые. Свинье болтушку варю. Айда, в избу заходи. Есть тут у меня один поросенок несчастный, хворый да слабый, вожусь с ним целыми днями, как с малым дитятей.

— Ух, — вздохнул Володя, ставя на лавку сумку.

— А сношеньке, чай, все недосуг?

— Да отпуск не дают, по графику только зимой получают.

— Служба, гляди, еще и разведет вас. Разве хорошо по своей воле оставлять молодую жену?

— Э, мать, теперь у всех так: один — в командировку, другой — в отпуск.

— Жалко мне вас, ох как жалко, детки! И понимаю все, а ничем помочь не могу.

— Да ты не расстраивайся, не все так мрачно. Все нормально.

Мать на кухне опростала кувшин из-под пахтанья.

— Ты раздевайся, я сейчас, — сказала она и торопливо вышла в сени.

Володя снял галстук, вытащил из брючного кармана пачку папирос, положил ее на подоконник и осмотрелся.

Родные стены... Гладкие, словно отполированные бревна, местами в длинных продольных трещинах. Пол — белые доски, истертые мытьем до синевы. Посредине избы — горелая подпалина, очевидно, зимой здесь стояла железная печурка. Чистые оконные стекла отсвечивают зеленцой. В углу громоздится огромная печь, загнеток задернут ситцевой цветной занавеской.

Все осталось таким, как было и при нем, разве что по-

явился телевизор, судя по всему, самодельный, собранный по какой-нибудь схеме, предложенной в научно-популярном журнале.

«Санькина работа, — подумал снисходительно Володя, — сколько помню, вечно ковырялся с железками».

— Не скучаешь? — спросила мать, появляясь в дверях. — Хозяйство хоть и плохонькое, а замучилась с ним.

— Что так?

— Не приживается у меня скотина. Давеча купила двух поросят, один подох. Двух овец приобрела, осталась лишь одна. Корова в этом году не обгулялась, яловая. Утята осиротели, ястреб утку унес.

Она поставила на стол миску, доверху наполненную варениками, принялась разводить очаг.

— Перекуси-ка, сынок, чем бог послал, а я мигом обед сварю, небось проголодался. И пиво подогрею.

— Чего его греть? И так сойдет.

— Холодное?

— Мы вообще пиво в холодильнике держим.

— Э-э, разве можно. Не боитесь? Поди, помереть можно, да и в ноги шибко ударяет, если не подогреть.

Беседа, робко и несмело поглядывая на сына, мать сняла с огня пустой котел, влила в него из ведра пиво. Шикнув, пиво поднялось над котлом белой пузырчатой шапкой. Тем временем Володя открыл сумку, выложил на стол колбасу, батоны белого хлеба, рыбу и бутылку «Столичной».

— Значит, так и поживаете.

— Живем помаленьку.

— А Санька где?

— Или письма не получали? — удивилась мать.

— Да было что-то, — уклончиво ответил Володя, припоминая: а ведь действительно было письмо от младшего брата — чего он надумал в такую даль?

— Молодежи-то хочется по воле погулять, надоело со старухой в деревне куковать.

— Чем он здесь занимался?

— Да всем, чего не попросят, не шибко ученый, не то что вы, старшие.

— Хоть бы в механизаторы пошел, он ведь башковитый, к технике тянулся, помнится, с малых лет.

— Не дотянулся, видно. Пиво-то не холодное?

— А сама что?

— Не откажусь. Как не выпить немного с сынком до-

рогим. Ну, чтоб до следующей встречи быть живым-здоровым, — наклонив стакан к столешнице, старушка чуть плеснула пиво на клеенку, — и стариков покойных не забыть, — добавила, чтя старинный обычай поминания предков.

— А не хочешь покрепче? — предложил сын, откупоривая бутылку.

— Можно, — просто откликнулась мать.

— Как здоровье? Позволяет?

— Здоровье, конечно, старушечье. Куда деваться? Тут болит, там болит. Того не хватает, этого. Переживания...

— Ты уж меня прости, ничего путного не привез — очереди такие, полдня надо простоять за какой-нибудь ерундой.

— Как такую уйму народа прокормить можно? В городе, я же сама видела, у людей нет ничего своего, за всем в лавку беги. А-ай, если это выпить, — мать поднесла ко рту рюмку, — помереть можно, глаза ест... Вы на нас не сердчайте, что осенью, как овцу кололи, ничего вам не послали. Санька все времени не мог выбрать, а погода стояла теплая, пришлось самим съесть. Весной собирался отвезти мешок картошки — опять не вышло, надумал уезжать. Хорошо ты теперь сам приехал. Возьмешь?

— Маленько можно, у нас магазинная — мелкая, неразваристая, не сравнишь с вашей.

— Картошки полно, не съем, поди, одна...

Немудреные разговоры, тепло избы, тихое потрескивание прогоревшего в очаге хвороста, материнское ласковое лицо — какое счастье сидеть вот так за столом, ощущать покой и знать: будь он удачливым, неудачливым, счастливым или несчастливым, больным или здоровым, молодым или старым — здесь для него всегда открыто сердце, всегда наготове ласковые, верные материнские руки...

«Может, плюнуть на все, остаться, погостить? Вон и помочь надо, она, конечно, не скажет, не попросит. Небось думает, что мы и так заботимся — не забываем посылать в месяц по двадцатке. А что ей наша двадцатка? Пожалуй, один Санька поступает по совести; отказал себе во всем, даже в учебе, ради нее. Не для того, чтобы «на воле погулять», он завербовался на Север, а для матери, не хватает им наших «двадцаток» да «десяток»...

Проснувшись утром, Володя решил, что задержится в деревне. Вышел во двор, деловито осмотрел немудрящее материнское хозяйство, взял было в руки топор, походил, примериваясь. Дел, действительно, неспорно: надо было и изгородь поправить, траву выкосить — ишь поднялась чуть ли не по самую грудь...

Траву Володя скошил, а для изгороди нужны были жерди.

— Санька не припас жердей-то?

— Какое? — откликнулась мать. — Да ты никак задумал чинить? Отдохни, сынок, сходи-ка, погуляй. Чай, соскучился по родным местам.

— Заодно и погуляю.

— Коли так, не держу. Нынче в лесу рубили много, можно с лесником договориться, хорошие жерди, березовые.

Лес от дома — рукой подать. Володя отправляется после обеда — мать все не отпускала, все жалела городского «ученого» сына, не могла наглядеться на него.

Как будто не было этих суматошных лет, и время побежало назад, в детство, в счастливые, беззаботные годы. Вот он мальчишкой пасет с ребятами стадо...

Светит солнце. Время созревания ягод. Пацаны гонят в лес коров. Полянка. Перед ней — овраг, там, внизу, заросли: орешник, дикая яблоня, рябина, осина. Травы по макушку. Тает, млеет на солнцепеке луговая клубника. Жара... Жужжат пчелы, стрекочут кузнечики, мухи гудят... За оврагом — дубняк. Какая-то птица грустно выводит свое бесконечное: «У-улдык, у-улдык, у-улдык». Галдит ребятня.

Теперь знакомый лесок значительно поредел, то тут, то там кучки срубленного березового подростка. Володя деловито осматривает материал — мать права: отличные жерди!

К обеду Володя вернулся. Мать, радостная, оживленная, хлопотала возле очага, стряпала его любимые кушанья.

— Лесником-то кто нынче у нас? — спросил сын.

— Да Миккуль.

— Мишка, что ли?

— Он, в техникуме лесном учился три года.

— Порядок! Дело, считай, улажено. Может, еще кое-чего подкинет по старой дружбе.

— Да ты отдохни, сосни чуток.

— Некогда, некогда, пойду, пока руки чешутся.

Мишка, старый приятель, жил на краю деревни. Володя сперва не узнал знакомого двора: дом, новенький пятистенник, стоял в окружении молодого сада. Голубые ворота, украшенные разноцветными ромбиками, напоминали детскую игрушку «пирамида». Чувствовался во всем не только недостаток, но и современный вкус хозяина.

— Хозяева дома? — спросил Володя, входя в чистые сени и берясь за дверную ручку.

— Кто там? — ответил сонный голос.

— Выходи погляди, — улыбнулся гость, узнавая знакомый голос и предвкушая Мишкино удивление.

И действительно, босой, в мятой рубашке, заспанный Мишка, нехотя, досадуя на то, что кто-то нарушил его послеобеденный сон, вышел из спальни и при виде Володи протер глаза, словно не веря самому себе.

— Ты? — протянул он.

— Я.

Приятели обнялись. Мишкин сон слетел, как и не было. После первых суматошных расспросов: «когда приехал?», «как живешь?», «а ты?», «а он?», «а они?», «женился?», «есть дети?» — решили отпраздновать встречу.

— Да я к тебе по делу, — занкнулся было Володя.

— Потом, потом. Какие могут быть дела. Если от меня зависит — все будет в полном порядке.

— Да матери хочу помочь подремонттировать кое-что.

— Я и говорю — сделаем! О чем речь?

Пришла Мишкина жена, учительница.

— Извините, что в таком виде встречаю, — вежливо поздоровалась она с гостем, указывая на испачканные землей руки, босые пыльные ноги, — полола. Мы, учителя, как Лев Толстой: то пишем, то пашем. Стираем грань между умственным и физическим трудом.

«Где он такую грамотную откопал?» — удивился про себя Володя.

А «грамотная» оказалась и во всем остальном смысловой: быстро соорудила необходимую в таких случаях снедь — салаты, закуски и, конечно, домашнее пиво.

Молодые люди переглянулись между собой и пошли к двери.

— Мы сейчас, Люда, мигом, — предупредил Мишка, — ты давай тут шуруй.

В деревенском ларьке торговали подсолнечным маслом, хлебом, сахаром, консервами. Тут же, за соседним прилавком, продавались промтовары и табак. Мишка мигнул продащице, та вытащила из-под прилавка прозрачную, отливающую чистым кристаллом «сорокаградусную».

— Да никак Володя? — в свою очередь удивилась продащица. — Надолго?

— Не знаю, как получится.

— Ты не торопись в город-то, побудь с матерью, она теперь одна осталась. Жалко ее, в возрасте.

— Да я бы и рад, — начал было объяснять Володя, но Мишка решительно тронул его за плечо:

— Чего бабам надо? Не пойму. Все им объясни, разложи по полочкам, одна трепотня — не по рассуждениям все выходит, а по случаю, по жизни. Вот и моя, хоть и учительница, а простых вещей не понимает. Пошли.

Сели за стол, выпили, закусили. Начались разговоры. Обычные, застольные: не пересказать. Мишка то жаловался, то восхищался, то ругал порядки, то хвалил. Володя тоже пытался объяснить что-то из своих производственных трудностей. Учительница Люда понимающе кивала головой, снисходительно улыбалась, как улыбаются взрослые расшалившимся детям.

Гостя решили оставить ночевать.

— Не уходи, завтра утром съездим в лесничество, оформим, лошадь закрепим за тобой на весь день, — уговаривал Мишка. — А мать подождет. Чего ей волноваться? Поди, в родной деревне сын, у друга, что может худого приключиться? Понимать должна.

Утром отправились в лесничество. Выяснилось, что дело оказалось не таким простым — начальство куда-то укало, Мишка возмущался, клял порядки, но пришлось все-таки ждать до обеда. Когда все необходимые формальности были соблюдены, кончился рабочий день.

Ужинали опять у Мишки, и опять Володя не попал домой.

Лежа в постели, он вдруг вспомнил о матери: «Ждет, наверно, нехорошо получилось, надо было хоть зайти, предупредить». Но раскаяние длилось недолго, и неприятный осадок вскоре исчез совсем: «Для нее же стараюсь, мне, что ли, это все надо?»

Мишка сдержал слово: на следующее утро друзья отправились в лес, и скоро весь двор Полины-инге был завален самым что ни на есть «дефицитом».

Мать то и дело всплескивала руками — удивлялась и хвалила сыновью расторопность, она и словом не обмолвилась о том, что тот два дня не ночевал дома.

Володя чувствовал себя уверенно, хозяином положения. «Вот что значит оперативность, — думал он удовлетворенно, глядя на добротный (сами выбирали) стройматериал, — а Санька, вместо того чтобы делом заниматься, с железками возился! На кой старушке телевизор? Небось она его и не смотрит. Вот приведу все в порядок, пусть глядит, пусть учится, как надо помогать».

Заниматься ремонтом Володя решил тут же, не откладывая дел в долгий ящик. Прикинул, что на все работы пойдет примерно недели две, значит, управится как раз к концу отпуска. Может, еще недельку удастся сэкономить, чтобы и у себя дома что-то сделать, а то жена вечно жалуется: «И гвоздя забить не можешь, а еще деревенский человек». Он покажет, на что способен!

Первые два дня Володя и вправду работал не покладая рук, но потом вдруг стал остывать: то ли отвык от таких занятий за годы городской жизни, то ли просто выдохся, потерял к ней интерес. Во всяком случае, «грань между умственным и физическим трудом», как выразилась Мишкина жена, стиралась с большими потугами, и мышцы болели, и скука одолевала.

Берясь за топор или рубанок, Володя, сам того не замечая, все поглядывал на улицу, не идет ли кто из знакомых. А знакомых было полно, и каждый из них, проходя мимо, останавливался, чтобы пожелать «бог в помощь», что-нибудь посоветовать, похвалить, одобрить Володино усердие. Перекуры да перерывы с каждым днем удлинялись, учащались.

Мишка тоже проявлял заботу — постоянно затаскивал друга в гости.

Проходили дни, а дело почти не двигалось, удалось поправить только изгородь. Мать, казалось, все понимала и не торопила. За это время она как-то оживилась, помолодела и больше не жаловалась на «хворую скотину», да и скотина вдруг перестала истошно визжать, жалобно мычать, истерически кудахтать.

И вот наступил день отъезда.

Полина-инге наготовила гостинцев — три больших пирога, пять тяжелых сырков, круглых, как полная луна, испеченных в осиновых обручах. «Жена пусть пиво сварит, — приговаривала она, укладывая в сумку солод и хмель, —

свое вкуснее магазинного». В придачу насыпала целый мешок красной картошки: «Хватит ли, сынок?»

— Да ты, мать, никак собралась все хозяйство разорить? Не дотащу.

— Вестимо, не дотащишь на руках, так я уже с соседкой договорилась, подвезет на лошади к автобусу.

— Ай да быстрая ты у меня, — улыбнулся Володя, обнимая мать. «До чего она худенькая, — пронеслось в мыслях, — может, болеет чем? Надо было вместе к доктору сходить. Эх, дурак я, дурак, ничего не сделал, сколько времени зря потратил».

— Ты чего, сынок, загрустил, — встрепелась мать, — может, на что обиделся?

— На себя.

— Уй, — улыбнулся в ответ милые, все понимающие материнские глаза, — не расстраивайся, пес с ним, с ремонтом! Санька вернется, докончит. Спасибо, что приехал, побыл со мной. Проверь, может, забыл что, а я побегу, утят посмотрю, не забрели ли куда?

Мать не возвращалась, Володя с полчаса ходил по избе, но не выдержал, вышел во двор, затем в огород.

По картофельной борозде, истошно вопя, ковылял утенок.

— Эй, — крикнул Володя соседской девчонке, с любопытством выглядывающей из-за забора, — не видела Полину-инге?

— Она на луг побежала, — ответила девчонка, — а сама плакала.

— Плакала?

Володя промчался через весь огород, спустился по крутому склону оврага в маленькую осиную рощицу, выбежал на луг. Никого. Где же мать?

Полина-инге сидела на крыльце, когда сын, запыхавшись, вернулся назад, гоня перед собой все того же заполошного утенка, который так и не мог выбраться из огорода, застряв в высокой картофельной ботве.

— Мама? Где ты пропадала? Утята нашлись?

— Сами вернулись.

— Ты никак плакала. Из-за утят?

— Уй, — сконфузилась мать, — не говори глупости. Вот и соседка с лошадьёю приспела, зови в избу. Пивом угощу на дорогу.

Пока сидели за столом, пили пиво и вели пустячные

разговоры, Володю грызла совесть: что-то он все-таки сделал не так, чем-то он все-таки обидел мать, раз она плакала — или, может быть, скучает по детям. То был полон дом, а теперь одна осталась с утятами да поросятами. Но что с этим поделать? Не бросать же работу, не возвращаться сюда! Не для того он институт кончал...

— Ну, инге, — словно подслушав его мысли, сказала соседка, — счастлива ты в детях, ребята у тебя все такие умные. В деревне родились, в деревне выросли, а нынче ученые, в городе, да еще на каких должностях! Скучно, конечно, без них, но как может мать не понимать — дети свою жизнь строят, что поделаешь, если не по-нашему, не по-деревенски. Кому какая судьба...

— Да, — откликнулась Полина-инге, — старшие все в люди вышли, младшего не удалось выучить. Теперь вот уехал...

— Да он тоже паренек неплохой, старательный. Мать уважает, теперь редко кто из молодых так относится к родителям. Скоро ли вернется?

— Кто его знает? Как понравится.

Проводы были недолгими. Володя посмотрел на часы, до автобуса оставалось минут сорок.

— До свидания, мама.

— Когда теперь навестишь?

— Да ты не горюй, постараюсь бывать почаще. Слово даю.

— Ты только не кори себя, не уезжай с тяжелой душой.

Мать вдруг повеселела:

— Поеду-ка с тобой, — взяв вожжи, она легко вскочила на телегу и принялась понукать коня.

До полевых ворот Володя шел пешком, потом тоже сел рядом с Полиной-инге. На душе было беспокойно. Доехали до опушки. Остановились, выгрузили вещи и стали ждать машину.

— Эх, летняя благодать, — вздохнула мать, — здесь бы и похоронили меня...

— Да ты что? — кольнуло в сердце. — Скажи правду, мама, как здоровье? Если что надо — ведь у нас в городе большие возможности, все для тебя сделаем.

— Что надо, ты уже сделал, сынок. Погляди, хороша наша сторонushка, правда? Где еще есть такая?

Володя осмотрелся: действительно — красота! Лес сто-

ял кругом дороги, пахло сосной, травой, цветами. Звонко трещали кузнечики, и вдруг грустно и печально заворковал вяхирь: «У-улдык, у-улдык»¹.

Мать встрепелулась:

— Знаешь, о чем поет лесной голубь?

— Нет, — признался сын.

— «У-улдык, у-улдык, и сына родила, и дочку, только нет их со мной, куда улетели?» — вот на что жалуется. Так в народе говорят.

Подошел автобус. Остановка была «по требованию». Володя торопился погрузить в машину свою довольно-таки увесистую поклажу, на долгое прощание не осталось времени. Он только успел помахать рукой из-за закрывающейся двери: пока, мол!

Мать понимающе кивнула в ответ головой. «Чего уж там, сынок, поезжай, счастливой дороги», — говорили ее глаза.

Так и осталась она в памяти: сухонькая фигурка рядом с подводой и понурой лошадей на обочине лесной дороги.

Вернулся он в хорошем настроении: как бы там ни было, а долг сыновий исполнил. По приезде Володя сразу же черкнул домой и дал себе слово, что будет писать регулярно, однако жизнь скоро закрутила, завертела его и благое решение так и осталось неосуществленным. Как-то не сразу заметили, что от матери вдруг перестали приходить весточки. Правда, и эти тревожные признаки поначалу не очень его волновали — ну, не пишет, значит, некогда, занята своим «хворым» хозяйством, мало ли что...

Прошло полгода, на Новый год Володя отправил в деревню красивую новогоднюю открытку, специально долго выбирал ее в киоске, хотелось, чтобы зимний пейзаж был похож на тот, запомнившийся при последнем их прощании — дорога, уводящая в дубовую рощу.

После Нового года пошла в отпуск жена, решили никуда не ездить, а заняться домашними делами, и хоть не сезон, начали ремонт: белили потолки, меняли кафель на кухне и в ванной, переклеили обои, одним словом, мысли о деревне отошли на второй план. Потом у Володи был отчет, сопровождавшийся нервотрепкой. Освободился он от суеты и неотложных дел где-то в начале весны. И тут на-

¹ У л — сын.

конец пришло коротенькое письмецо с извинениями, что долго не писала, прихворнула маленько.

«Так я и знал, — защемило сердце, — болеет она, надо бы посоветоваться с братьями».

Он тотчас позвонил Сидору, тот повздыхал, неопределенно пообещал подумать, но ничего конкретного не предложил. Так же примерно откликнулся и Илле.

«Чего мне, больше всех надо? Да и в конечном счете ведь она не одна, Санька, поди, уже вернулся со своего Севера».

И вот в начале лета пришла телеграмма: «Умерла срочно выезжайте похороны Саша».

Сидор и Илле поехать не смогли — и у того, и у другого нашлись причины. Володя отправился один. Дорогой он ужасно злился на младшего брата, почему не попросил помощи, почему не сообщил конкретно, чем больна, серьезно ли? В глубине души он, конечно, понимал, что Санька здесь ни при чем, что прежде всего надо винить самого себя, но горе требовало облегчения, и Володя не видел лучшего выхода, чем упреки и обвинения.

И все-таки ему не верилось, что это непоправимое случилось. Но прислоненная к стене сеней крышка гроба убеждала в горькой, непоправимой утрате.

Володя зарыдал, уронил на нее голову и застыл на месте в течение длинных, раздирающих сердце минут, пока его наконец не увидели односельчане, пришедшие проститься с Полиной-инге.

— Почему? Почему не написали заранее? Какая дикость. Мы в городе... Есть возможности... Могли спасти...

— И-и, не убивайся, парень, не ищи виноватого. Не хотела она тревожить никого, всех вас жалела, всех понимала. Угасла, как свеча. Одну заботу имела, чтобы умереть до летней страды. Так и скажет, бывало: «Помирать надо такой порой, чтобы людей от работы не отрывать».

— Особенная женщина была покойная, — вспоминали соседи, — такая тихая, жалостливая, никогда не обругает никого, все ей было ладно, все хорошо.

— Терпеливая. От рака-то померла. Сама слышала, как доктор Саньке говорил: «Сила воли у вашей матушки была, как у космонавта, такие страдания перенесла и — ни стоны, ни жалобы. Уму непостижимо!»

— Да... до последней минуты работала, все по дому

хлопотала. Уж отходила, а все жалела, что не успела пол подмести, как, мол, помру, а мусор на полу оставлю.

— Санька приехал, как знал, еще застал ее живой.

Соседские пересуды он почти не слышал. Материнское лицо, строгое и ясное, не виделось ему мертвым, застывшим, потерявшим выражение, наоборот, казалось, только теперь он увидел его по-настоящему.

«Вот ты какая, мама! — подумалось о ней в настоящем времени. — Всю жизнь прожил рядом и не знал». Володя прикоснулся губами к холодным рукам, сдерживая рыдания, прошептал: «Прости». На мгновение ему показалось, что лицо матери озарила слабая улыбка. Он поднял голову и вдруг успокоился — даже на смертном одре она сумела утешить сына, послать ему последнее материнское благословение, простить и понять.

Брата дома не было, ушел хлопотать насчет похорон, соседки успели уладить все домашние дела и чинно сидели вдоль стола, где лежала Полина-инге, тихонько переговариваясь между собой, поминая усопшую добрым словом.

Володя прошелся по комнате, подошел к окну и увидел на подоконнике старый забытый конверт, зачем-то повертел его в руках, вынул измятый листочек и принялся читать. Письмо было от Саньки, с Севера.

«Здравствуй, мама, — писал брат. — Как живешь? Как здоровье? Не беспокоит ли желудок? Волнуюсь за тебя постоянно. Мука, купленная перед моим отъездом, наверно, уже кончилась? Прошлый раз ты написала, что корова почти не доится. Как же ты живешь, ведь тебе без молока совсем нельзя? Бери у соседей, деньги высылаю, получил тридцать рублей. Двадцать тебе — десятку мне. Надо купить телогрейку. Не беспокойся, я еще получу, и много. Думаю, хватит, чтобы крышу покрасить, бревна сменить на фундаменте. Как братья? Пишут ли? Не переживай, у нас с тобой, сама понимаешь, надежды на них быть не может».

Володя с трудом дочитал последние строчки, дрожащими руками вложил письмо в конверт.

Вышел во двор. «Стройматериал», который он в прошлом году добыл у Мишки, валялся под открытым небом. За зиму кора на кругляках успела погнить, под корой, оставшей от стволов, гнездились букашки, жучки, начавшие точить древесину. Теперь разве что на дрова годился этот «дефицит». Под навесом, возле толстого иссеченного чурба-

на, лежала куча хвороста — последний знак трудолюбивых материнских рук.

...Гроб везли на подводе, как раз на той самой, и по прежней дороге. Последней волей Полины-инге было похоронить на опушке леса, на краю кладбища. Знакомое место. В прошлом году здесь они и попрощались. И опять где-то, невидимо спрятавшись в ветвях, проворковала горлица: «У-улдык, у-улдык... сынок, сынок».

ВАСЯ-ПЕВЕЦ

1

Солнце еще не взошло... Заря, разгораясь, заиграла на небе малиновым цветом, ее живые, радостные краски коснулись оврага, окруженного с трех сторон лесами, крайних домов небольшой деревеньки.

Туман, поднявшийся над землей, тоже стал розовым, не поместившись в глубине ложбины, он разлился по улицам, румяня оконные стекла и деревенский пруд.

Расположенный между двумя низкими берегами, пруд, остывший за ночь, светлым, умиротворенным глазом смотрел на конюшню у берега и большую старую иву.

Поверхность утренней воды была гладкой — лишь одни жуки-плавунцы оставляли на ней свои легкие, едва заметные следы, да расходились круги от плывущей лягушки.

Пустынность и одиночество заревого утра нарушала неподвижная фигура какого-то паренька. Паренек сидел под старой ивой и внимательно следил за поплавком черными глубокими глазами. Лицо у него было открытым, с решительными, немного резкими чертами, фигура крепкая, атлетическая.

Деревня еще не проснулась. Коровы, выпущенные хозяевами с вечера, всю ночь паслись сами и теперь отдыхали, лежа на земле.

Одна из них поместилась как раз за спиной рыбака на небольшой куче соломы. Временами он слышал позади глубокие коровьи вздохи.

От колхозной конюшни вдруг испуганно шарахнулось овечье стадо, неся за собой запах навоза и пыли.

Капли росы падали с веток и, попадая на спину, заставляли паренька зябко ежиться, поводить плечами. Неожиданно один из поплавков дернулся и резко пошел вглубь. Удилище согнулось, задрожало, как натянутая струна, застыло над водой. Рыбак тотчас вскочил на ноги, спокойно, не суетясь, дернул удочку обеими руками и резко подсек.

Карась с шумом взвился над водой, упал на землю и забился на влажном песке. Такая крупная добыча — редкость в эту пору: калина еще не успела расцвести. Брачные игры, во время которых рыба не думает о еде, исключает удачный клев. Однако пареньку, судя по всему, везло вопреки приметам.

Пока он снимал пойманного карася с крючка, почти у самых его ног забурилась вода: самец и самка — у него белое, у нее красное брюшко, — царапнув темными спинами воду, скрылись в глубине.

Когда с улиц потянуло запахом жареного лука, рыбак стал проявлять признаки беспокойства.

В это время на берегу появилась девушка — немая Унись.

— Хас, хас, — забубнила Унись, пытаясь отогнать корову, которая упорно желала спуститься в овраг прямо с плотины.

Немая остановилась в двух шагах от паренька и принялась мутить воду свежим березовым веником.

— Чего надо? Рыбу распугаешь. Чучело. И вечно она лезет куда не надо.

В ответ Унись удовлетворенно улыбнулась, подняла с земли небольшой камушек, швырнула им в рыбака, не долетев, тот угодил прямо в поплавок.

— Ах, ты так! — паренек угрожающе замахнулся на нее, но, заметив двух идущих к пруду женщин с тазами, полными мокрого белья, опустил руку. Однако его маневр был замечен:

— Ха-ха, Унись никак с Васей заигрывает?.. Смотри-ка ты на нее. А ты чего, кавалер? Не видишь, сохнет по тебе девка.

Унись что-то сердито пробормотала в ответ, Вася не понял.

— «Всю рыбу из пруда съел», — перевели женщины.

Скоро на берегу стал собираться народ, чтобы посмотреть на Васиного улова.

— Смотри-ка, на сковородке не уместится, — восхищались все золотистым, только что выловленным карасем.

— Царь-рыба! Подари мне, внучек, — прошамкал старый дед Николай, — век буду помнить.

В это время раздался громкий раздраженный голос:

— Вася-а! Айда домой. Хватит сидеть, поди, всю ночь с места не сдвинулся.

Паренек, с трудом отцепив водяную ящерицу, невесть

как попавшую на крючок, собрал удочки, подхватив в руки пустое ведро.

— И охота было всю ночь не спать? — удивилась мать. — Весь улов раздарил? Простой ты у меня парень. И то правда, надоел со своей рыбой, накормил — глаза не глядят. Давай собирайся на работу, бригадир велел сено возить. Лошадей надо пригнать, они еще в Передних оврагах.

Деревня проснулась. Из утреннего тумана выглянуло огромное красное солнце. Стадо уже выгнали в поле. На нижней улице какая-то женщина поминала заблудившегося и отбившегося от стада ягненка, старушка соседка гналась за поросенком, выскочившим из хлева на улицу:

— Хась, домой, хась, тебе говорю. Ы-хых, чтоб тебя черти побрали, какой непутевый.

Через полчаса, когда Вася уже подходил к Передним оврагам, он опять услышал тот же плаксивый голос, на этот раз старушка преследовала клушу с цыплятами.

— Кш-шу-у! Кша-а, — певуче выводила она и заканчивала громким: — Кша! Кша!

Вася поймал лошадь, сел на нее верхом, дернул за узду и неожиданно запел:

Ой, цветет черемуха белым молоком, —

дальше он не мог придумать слова и дотянул одним голосом:

Аа, аа, а-оа... легким ветерком.

Так и подъехал к дому с песней.

И опять это не понравилось матери.

— Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела, — недовольно проворчала она.

Вася пропустил замечание мимо ушей: то ли привык, то ли просто не расслышал, запряг лошадь, взял веревку, вилы и, не присев к столу, схватив лишь кусок хлеба, уехал.

Разлетелись цветики,

Смокли соловьи.

А-а, а-а,

Все слова твои —

зазвенело за околицей.

— Эх, все в облаках летает, мой соловей, — вздохнула мать и вдруг всполошилась: — Вася, Вася, погоди... Забыл ведь.

Но ей ответило лишь далекое эхо:

«А-а, а-а, все слова твои».

На маленьком полустанке с поезда сошла девушка. Стройная, в брючках, с большим чемоданом. Она растерянно оглянулась по сторонам, словно искала кого-то. Мельком взглянув на подводы, столпившиеся у здания крохотной станции, девушка разочарованно отвернулась — никого из знакомых. И вдруг она радостно вскрикнула, заметив парня, затягивающего супонь:

— Вася, сюда!

— Иду, — откликнулся тот и пошел навстречу, на ходу вытирая руки о замасленные брюки.

— Опять тебя послали, надо же! — звонко рассмеялась девушка, лукаво щуря глаза. — Другого не нашлось?

Парень смущенно улыбнулся, пожал плечами:

— Как всегда. Садитесь, — предложил вежливо, но отчужденно, задетый ее смехом, — вещи давайте сюда.

Боясь встретиться с этими бойкими глазами, Вася отвернулся к лошади, поправил сбрую, расчистил место на передке телеги, поставил чемодан и прикрыл его сверху домотканым ковриком.

— А ты почему в телогрейке? Разве холодно? — спросила Валя.

Вася молча снял телогрейку, измазанную мазутом.

— Обиделся?

— Нет. Если считаете, что некрасивая, то нам, деревенским, сойдет.

— Я тоже деревенская. Думаешь, забыла? Смотри, — и девушка ловко вспрыгнула на телегу. — Получилось?

— Поехали? — вместо ответа спросил парень, беря в руки вожжи. — Э-э-эй, застоялась, любезная! — Валя хотела еще что-то сказать, но не успела, лошадь тронулась, громко затарахтела телега, тогда девушка схватила парня за плечо.

— погоди минутку, остановись, — попросила она и, легко спрыгнув на землю, побежала обратно к станции. Через несколько минут Валя вернулась, держа за руку какого-то юношу.

— Подвезем? Он до Кагаси, наш студент.

— Пусть садится, места хватит, — недовольно буркнул возница.

...Как это все-таки получается? Всякий раз, когда Валя, сестра немой Унись, едет на каникулы домой или возвращается в Москву, он ее провожает и встречает. Кулининге всегда об этом просит только его. В прошлом году

даже сам бригадир послал на станцию. Валя — гордость всей деревни: учится в Московском университете. И сегодня, вот только собрался съездить за сеном, уже выехал за околицу — навстречу начальство, пришлось поворачивать оглобли.

— За такой девушкой, — рассмеялся бригадир, — я бы сам на край света поехал. Эх, жаль годы молодые. Ты, Васек, счастливый, у тебя все еще впереди. Давай гони, а то обидится ученая, если долго заставишь ее ждать. Да и Кулине-инге волнуется, соскучилась по дочке.

— На-кося, сынок, выпей пива на дорогу да пирожок съешь, — ласково улыбнулась Валина мать, сидевшая с бригадиром на бричке, и добавила: — В письмах она тебе каждый раз приветы посылает.

Уговоры оказались напрасными — Вася любит быструю езду, а что касается самой студентки Вали, то у него на этот счет есть свои соображения, о которых, как он думает, никто на свете не догадывается.

Последние слова Кулине-инге заставили сильно забиться сердце. Он заранее знает, что, как только девушка появится в деревне, они ни разу не увидятся наедине, если и встретятся случайно, то Вася, как всегда, постесняется заговорить первым. Только и слышит он этот милый голос при встрече и прощанье, только тогда ее слова, ее глаза обращены к нему самому. Редкие минуты счастья — иногда две, иногда четыре встречи за весь год...

Вася окончил только восемь классов. Отец умер, мать хоть и вышла на пенсию, но все еще работает в колхозе, и сына не пустила никуда, как ни уговаривали учителя, как ни объясняли ей, что Вася, мол, способный, особенно к музыке — мать как отрезала: «Будет колхозником, и все!» Сын не стал перечить, теперь сам привык и полюбил свою работу. Попытался было, на первых порах, выучиться на тракториста, но натолкнулся на упорное материнское сопротивление: «Если б хоть в нашем колхозе были курсы, разрешила бы, а так — и думать не смей! Никуда не отпускаю. Хворая я, мне помощь нужна».

Вася пожалел мать, не пошел на курсы трактористов, так и остался жить дома. Братья же в письмах все наказывали ему: «Смотри слушайся мать, а то приедем — уши надерем».

Конечно, всем в деревне было ясно, что Вася не простой паренек, про него говорили — «певец», так и прозвали «Вася-певец».

В обеденный перерыв Вася никогда не оставался в поле — все уходил куда-нибудь подальше от людей: к речке, если косили на лугу; к скирде, если убирали хлеб.

Парень был задумчив, мало шутил с девочками и держался замкнуто. Самым любимым занятием считал рыбалку. И еще за ним водилась одна привычка — за что и прозвали — любил петь, сочинять свои песни — и слова придумывал сам и мелодию. Петь Вася не стеснялся и пел при всяком удобном и неудобном случае. Эта привычка больше всего раздражала мать. Когда односельчане заводили об этом речь, то она сердито обрывала: «Нашли за что хвалить, баловство это одно, легкомыслие».

Однако все любили Васю за песни, особенно нравилась одна: «Распускаются листья». Поговаривали, что девушка, про которую поется, — Валя, дочка Кулине-инге. Правда, в жизни все было наоборот: не Валя любила Васю, а он ее. И об этом тоже всем было известно.

Парень и девушка знают друг друга с детства. Первая их встреча произошла, когда Вася еще не ходил в школу, тогда-то и появилась здесь семья Кулине-инге.

...Вася один гулял на улице — гонял по тропинкам ржавый обруч. Он гонял его уже давно, минут двадцать, и ни разу обруч не упал. Тропинка была ровной и гладкой, а Вася хорошо знал один секрет: если железку подхлестывать через равные промежутки времени, не давать ей менять направление и не сбавлять скорости, то она будет катиться и катиться себе, как хороший, послушный конь. Но стоит зазеваться и отстать, как обруч становится упрямым и строптивым: то вырвется вперед, то, наоборот, вильнет, замотается из стороны в сторону, притворится слабым и упадет на землю, тогда подымай и гони снова.

Вася доволен, что смог обуздать своего «ретивого» — «бегун» успел уже пробежать всю тропинку без остановки. Еще несколько шагов, и можно будет «распрягать». Перед обратным путем он, конечно, даст «коню» отдохнуть, полежать на земле, затем поставит его ровно-ровню, примерится и — хлестнет по бокам со всей силой, чтобы шибче бежал, «не баловал».

Но случилось непредвиденное: не добежав до назначенного места, обруч вдруг споткнулся о невидимую преграду. Мальчик взмахнул прутом и...

— Ой, больно!

Вася поднял голову и остолбенел, уставясь на невесть откуда появившуюся незнакому девочку.

Оказывается, это ей достался предназначенный обручу удар. На тоненькой ручке расплзался узкий след, который с каждой минутой вспухал и розовел...

Он думал, что она сейчас заревет, побежит жаловаться, и внутренне готовился к отпору, но девочка молчала. Глаза ее, наполняясь слезами, недоуменно смотрели на него. Не выдержав этого взгляда, Вася бросился домой и услышал ее громкий плач лишь тогда, когда оказался на сеновале. Там, уткнувшись в пахучее сено, он вдруг сам разрыдался...

Сейчас Вася вдруг вспомнил тот случай и оглянулся. Валя сидела рядом со своим знакомым и о чем-то весело болтала. Она то и дело наклонялась к нему, доверчиво и непринужденно касаясь губами его уха, тот в ответ кивал головой.

Сквозь грохот колес Васе удалось расслышать несколько фраз.

— Приеду, — обещал он.

— Обязательно, — настаивала она, — у нас помрешь от скуки... не с кем и слова сказать. Песни? Конечно, поют.

— Запишу.

— Ага. Спеть? Дорога — одни ухабы. Не расслышишь.

— Расслышу. Пой.

— Ладно. Что с тобой поделаешь? Эта наша, местная.

Сердцу моему невесело,
Душе моей нелегко:
Уехала моя милая,
Уехала далеко.
Мордвин ли ее обнимает,
Татарин ли руку жмет.
Ах, сердце мое не знает,
Душа моя не поймет —

пропела Валя, — а дальше не знаю, надо у Васи спросить. — Вася-певец, — обратилась девушка к молчаливому спутнику, — помоги, пожалуйста, вспомнить.

Но тот сделал вид, что не слышит, и вместо ответа так стеганул лошадь, что та резко рванулась, дернула телегу. От сильного толчка студент, обнимавший Валю за талию, опрокинулся навзничь.

— Ты что? — возмутилась девушка. — Сумасшедший. — И, помогая своему другу подняться, что-то зашептала ему на ухо. — Он такой, — донеслось до Васи, — он меня в детстве...

Но Вася теперь уже не прислушивался к их голосам — гнал лошадь что есть силы. Временами от обиды ему ста-

новилося так грустно, що хотелось остановиться, бросить парочку на дороге, самому убежать в лес, где так протяжно и жалобно кричал ястреб.

Он пришел в себя от настойчивого Валиного крика:

— Вася, Вася! — звала девушка. — Да остановись ты наконец, ему здесь сходить.

Смущенно улыбаясь, студент прыгнул с телеги, подхватил чемодан и, помахав на прощанье рукой, зашагал по дороге, сворачивающей налево, в соседнее село.

— Не забывай обещания, — крикнула ему вслед Валя.

— Ладно, — откликнулся он.

Через полкилометра, когда проехали лес Куканар, показалась их деревня.

Валя как ни в чем не бывало пыталась завязать с Васей разговор про деревенские новости, но тот все больше отмалчивался, отвечал неохотно: «Доедем — все сама увидишь и услышишь».

— А рыбы в пруду нынче много? — не унималась девушка, зная про Васину страсть.

Однако и этот недозволенный прием не сработал — Вася злился.

— Мне хватает, — буркнул он и насупился.

В таком расположении духа и прибыли они к дому Кулине-инге.

Обрадованная мать принялась причитать: «Хорошо ли, доченька, доехала, поди, устала?» Добрая тетюшка Кулине, заметив, что Вася не в настроении, принялась настойчиво приглашать его в дом:

— Зайди к нам, соседюшка, ты ведь как родной, вместе посидим за столом. Надо же тебя отблагодарить, безотказного.

— Некогда мне, Кулине-инге, — отнекивался парень, — и так потерял день.

— Правда, правда, — извиняющимся голосом поддакнула Валина мать, — бригадир обещал записать трудовень, так ты очень-то не переживай.

— Я и не переживаю, — выдавил из себя Вася, заметив, как при этих словах у Вали лукаво блеснули глаза.

— А то пообедаешь? Оставайся, — пригласила Валя.

— Нет, поеду.

Хлестнув лошадь, Вася вскочил на передок телеги и скоро скрылся за поворотом улицы.

— Ну, мама, — засмеялась девушка, — с Васей, видно, что-то случилось — не узнать. Такой злой стал.

— Да ничего, просто взрослеет. Сочинил песню, день и ночь ее распевает... Люди смеются, говорят, про тебя в этой песне поется.

— Вот как, — усмехнулась девушка, — любопытно...

3

Первый день Валя отдыхала, мать то и дело сажала ее за стол и потчевала «самым вкусеньким», но на второй, когда все было попробовано и в чулане и на огороде, девушка заскучала. В деревне действительно тоскливо. Знакомые девчата и парни, соученики, еще не возвратились: кто-то был на практике, кто-то на экскурсии. Почти все из Валиного класса разъехались: одни учились в институтах, другие завербовались на стройки. Осталась одна малышня, самые старшие — выпускники школы, сейчас они временно работали в колхозе, собираясь к осени покинуть родные места, чтобы, как предыдущее поколение, разлететься по стране.

От нечего делать студентка тоже пошла работать с деревенскими на сенокос. Валя была привычной к такому труду и обычно на каникулах всегда не упускала случая немного, как она говорила, размять косточки. Ловкая и сильная, с легким веселым характером, девушка нравилась своим односельчанам.

«Добрая девка, — говорили про нее, — вот и не гордится, что ученая».

Сегодня дочка Кулине-инге вместе со всеми косила сено. На лугу нынче было весело, кроме Вали работали и ребята, бывшие десятиклассники.

— А не спеть ли нам? — предложила Валя.

— Давай.

— Что будем? Современное или старинное?

— Современное, — зашумели ребята.

— А я хочу народное.

— Правильно, — отозвались старшие, — под наше, деревенское, веселей работать. Заводи, Валюша.

Травы цветут, кукушка кукует,
Стог за стогом растет в лугах.
Косы поют, и сердце ликует,
Спорится дело в сильных руках,—

запела девушка.

— Ай да песня, — удивились старики, — мы такой не знаем. Кто научил?

— Один человек, — отозвалась девушка, прерывая пение. — Понравилась?

— Уж не наш ли Вася сочинил?

— Куда ему...

— Не скажи, он тоже умеет. Хорошую песню недавно придумал: «Распускаются листья».

— Ну-ка спойте.

— Ты его лучше самого попроси.

— Да он со мной и разговаривать не хочет, не то что петь.

— Почему же?

— Поди, обиделся, что ты с чужим парнем в обнимку на телеге сидела, — ввернула востроглазая Тамара.

— А ты откуда знаешь? — удивилась Валя.

— Сорока на хвосте новость принесла.

— Беспроволочный телефон — никуда от вас не скроется. Штирлицы одни кругом!

— Какие еще такие Штирлицы, — удивились старики. — Уж не панклевские ли теперь так себя называют?

— Да нет, — засмеялась девушка, — фильм есть такой про разведчика нашего.

— Гляди, Тамарка, в разведчики тебя записали.

— А что, может, выучусь, поступлю в институт, если не разведчиком, то врачом стану.

— Сейчас, правда, все куда-то поступают, никто не хочет на земле трудиться, — недовольно проговорила Празук-кинем.

— Чего ворчишь, старая, на молодых? — отозвался дед Николай. — С ними и работа спорится. Гляди-ка, как Василий трудится.

— Во-во, на него одного надежды, он-то в город не сбежит.

Вася сгребал сено поодаль от всех остальных колхозников.

— Что-то молчит сегодня, не поет, — заметил кто-то.

— Стесняется девчат.

— Чего стесняется? Чем он хуже их? Что не ученый? Побольше бы таких «неученых». Вон какой работяга... Мать уважает и слушает. Нынче таких парней поискать.

— Больно смиренный.

— На ком жениться будет, как невесты разъедутся? Эй, Вася, — окликнула парня насмешница Угахви-инге, — ответь на вопрос.

Но Вася, не оглядываясь, направился к немой Унись.

— На ней и женится, — засмеялась Тамарка, — на ком еще? Сейчас только такие в деревне и останутся.

— Помолчала бы, сорока, — урезонил проказницу дед Николай, заметив страдальческое выражение на Валином лице.

Вале, действительно, стало обидно за свою несчастную сестру и... за Васю.

— Постой, — крикнула она ему вдогонку, — и я с тобой.

Но Вася, подняв на вилы самую большую кучу сена, так что под ней стало не видно ни лица, ни туловища — одни ноги, — уже забрасывал навильник на копну. Стоявшие наверху закричали:

— Что делаешь? Пупок надорвешь...

Немая Унись что-то залопотала, обращаясь к подбежавшей сестре. Валя нежно обняла ее за плечи:

— Не расстраивайся, он сильный, еще и не такое сможет сделать. Правда, Вася?

Но и на этот раз парень промолчал и отвернулся.

— Что случилось? Объясни.

Вася не ответил. Что он мог ей ответить?.. Конечно, обидно, обидно до слез, что так случилось в жизни. Не пара он этой образованной девушке. Ясно, не пара. Но сердце не хочет мириться, сердце почему-то надеется...

Работа приближалась к концу, на лугу уже не оставалось сена. Недавно еще такой цветущий, свежий, с травой и цветами, с бабочками и веселыми кузнечиками, он выглядел теперь пусто и осиротело.

Так же пусто и осиротело было на душе у парня. Он так и не подошел к людям, веселой ватагой направившимся к деревне, а повернул в противоположную сторону, к Сорме.

...Он долго сидел на берегу в полном одиночестве.

С высокого обрыва было хорошо видно, как река играла мелким гравием и ракушками, переворачивала их, тащила вниз по течению. Стайки мальков, выплывая из глубоких мест на мелководье, задержанные быстринной, застывали на одном месте, сопротивляясь воде растопыренными плавниками. На противоположном берегу паслись лошади. Отгоняя слепней и мошкарку длинными густыми хвостами, они были похожи на заядлых парильщиков, нещадно стегающих распаренные тела жаркими березовыми вениками. Тут же под обрывом сгрудились разомлевшие от солнца овцы. Одиноким стриж, перепархивая с места на место, жалобным писком оповещал о своем несчастье:

видно, коза, что-то разгребая в песке, разорила его гнездо.

Для юноши, сидевшего, пригорюнившись, здесь, на берегу родной реки, — это не случайно вырванные картинки природы — награда тихих минут одиночества. Это полное единение с окружающим. В ней, природе, растворяется все его существо, в ней он черпает свои силы, благодаря ей растет душа, ширится сердце, рождаются песни.

Он бы мог, наверное, просидеть так до самой поздней ночи, но внезапно вспомнил о матери — заждалась, поди, ругаться станет: мол, все люди как люди — после работы домой идут, а ты, непутевый, вечно где-то бродишь, поднялся на ноги. И тут на Васю спикировал чибис. Сердито крича, птица пролетела над самой головой, заставив парня наклониться и присесть к самой земле. Сделав круг, чибис улетел за реку, потом опять вернулся. Что ему надо от человека?

«И мои мысли о Вале такие же неотвязные, как этот чибис, — подумал Вася, — так и выются, так и выются».

...Возвращаться пришлось через густой орешник. Лицо стегали ветки, с треском обрывалась паутина, липла на щеках и губах. Колючки череды, «собачки», цеплялись к брюкам.

Пробившись наконец к лесу, оставляя за собой гибкие качающиеся ветки, Вася остановился и неожиданно запел. Так бывало всякий раз — каждое переживание заканчивалось для него одним — песней.

Ты, конечно, паренек что надо.
Знаю — я не пара для тебя,
Но сегодня сердце мое радо:
Первый раз взглянул ты на меня.

...Песня слышалась откуда-то со стороны молодого дубняка. Валя остановилась. Сердце замерло от предчувствия. Неужели Игорек сдержал слово? Но голос, кажется, не его, слишком сильный... Да и песня незнакомая. Кто же это? Может, панклевский? Девушка сделала несколько шагов в направлении голоса, но он внезапно стих. Стало слышно, как ветер шумит в листве. Валя присела на сухой пенек — как хорошо кругом... Она не жалеет, что не послушалась мать, не отдохнула после работы, а пошла гулять. Разве можно променять отдых среди живой природы на пуховую перину в душном доме? Сиди себе и слушай, вдыхай полной грудью свежий воздух, стараясь не пропустить ни единого мига в этой таинственной жизни. Все здесь, каждая мелочь полно скрытого, значительного

смысла. Даже муравей, бегущий по тропинке, даже зеленый кузнечик, выпрыгнувший из травы прямо ей на платье — все видимые и невидимые существа исполняют свои роли, ведомые лишь ему, лесу, владыке, хозяину этого мира.

И опять раздалась песня:

И не будь со мной таким, как прежде.
Нам свиданья первые нужны.
Распустилась листиком надежда,
Распустилась в глубине души.

— Да это же Вася, — ахнула девушка, — да как же я сразу не угадала! И песню поет ту, про которую давеча мама говорила «Распустились листья». Неужели про меня? Смешной парень...

4

Перед Валиным домом растет плакучая ива, раньше она была совсем маленькой и не закрывала окон, теперь, как назло, весь дом, по самую крышу, густо укрыт листвою.

Сам того не замечая, Вася то и дело поглядывает: кто вышел, кто зашел к соседям — такая уж выработалась привычка, если она на каникулах, он ни на минуту не может отвести взгляда от заветной калитки.

Сегодня зеленая ивушка не захотела скрыть своими ветвями молодую парочку, выходящую со двора на улицу. Это была Валя с тем парнем, которого они подвозили со станции. Парень вел велосипед.

«Значит, — заныло сердце, — он все-таки приехал. Смотри, как она рада, улыбается, смеется, смотрит на него с уважением, не то что на меня».

Дождавшись, когда молодые люди исчезли за поворотом улицы, ведущей за околицу, Вася вышел из дома и поспешил на работу, так и не пообедав.

...В колхозе уже второй день сеют озимую рожь. Вася работает сеяльщиком — дело нетрудное: надо проверять диски и сошники, смотреть и, чтобы не было затора, палкой расчищать скопившееся зерно.

Через густую пыль даже трактор виден смутно, дышать трудно, пыль проникает всюду — до легких, першит в горле.

И тут неожиданно забарахлила сеялка. Пока тракторист устранил поломку, у Васи выдалась свободная минута и он решил отдохнуть, проветриться.

...С дороги, на опушку леса, неожиданно свернула Валя

со своим знакомым. Видно, они вдвоем только что сошли с велосипеда.

Вася вздрогнул и хотел было спрятаться в кустах, но его заметили.

— Ой, кто это? — девушка не сразу узнала Васино запыленное лицо, попятилась и схватила студента за локоть.

— Не бойся, — ответил тот спокойно, — кажется, это наш старый знакомый. Привет, друг.

Но Вася не ответил ему, круто развернулся и зашагал обратно... к сеялке, которая уже заработала.

Вернувшись домой поздним вечером, он долго сидел у окна. Там, у Кулине-инге, пели и веселились те двое, разрывая сердце мучительной ревностью.

Поднялся ветер, молодая черемуха билась в окно, жалобно мяукала кошка, просившаяся в дом. Вася открыл форточку, впустил кошку, а сам пошел спать на сеновал. Как и много лет назад, он проплакал всю ночь, ища утешения в свежем, родном запахе сена, и лишь к самому утру успокоился.

На рассвете Вася проснулся, скинул вниз кудахтающую курицу, которая почему-то облюбовала для ночевки сеновал, спустился по лесенке во двор, выглянул за ворота. В доме напротив было тихо, улица пустынна, над ивой светлело небо.

По горизонту шла красная полоса, похожая на кайму свадебного полотенца, а над ней громоздились черные тучи.

5

После хоровода вся молодежь разошлась по домам, на скамейке остались только двое: Вася и Валя; сегодняшние сторожа охраняли, как заведено было в селе, колхозный амбар и улицу.

Молодые люди молчали. Когда водили хоровод, Вася-певец не проронил ни звука, и рука его, иногда касавшаяся Валиной ладони, была холодна как лед.

«Что с ним? — думала девушка. — Неужели из-за Игоря? Разве трудно понять, что она относится к студенту просто так, как друг, что ей с ним весело, легко, по-свойски. В деревне вечно какие-то сложности. Чуть что, уже и «жених».

Вася про себя старался выбросить из головы то тяжелое впечатление, которое произвел на него вчерашний вечер, избавиться от тоски и ревности.

«Я не виноват, что сижу здесь на лавочке, рядом с тобой,—хотелось объяснить этой недоступной красавице,—просто на мою и на твою долю выпало это дежурство. Потерпи маленько, ночь пройдет — и все».

Поздний вечер. Июньская теплынь пронизана тишиной, как ласковой влагой,—кажется, плывешь по теплой, нагретой за день реке. Валя мечтательно прикрыла глаза.

Свет луны дробится на мелкой волне уснувшего пруда, иногда на поверхности появляются пузыри.

— Что это? — спрашивает она. — Рыба играет?

— В это время рыба спит,—отвечает парень неохотно.

— Тогда почему пузыри?

— Не знаю...

— Знаешь, только не хочешь со мной разговаривать. За что обижаешься?

— Я не обижаюсь.

— Вот я уеду, тогда обижайся сколько влезет, а сейчас...

— Что сейчас?

— Смотри, какие звезды!..

Звезды, конечно, есть звезды. Красота их доступна каждому человеку. Васе кажется, что полная луна похожа на куриное яйцо, лежащее в сверкающем звездном гнезде.

«Она ведь и правда скоро уедет. А я завтра, после дежурства, пойду на луг, приведу лошадь, стану грузить на воз тяжелые снопы и возить их к скирде. Целый день одно и то же. Да что там день — целый год, целая жизнь все одно и то же. По утрам бригадир будет стучать в окно, приказывать: то съездить в Куганарский лес за дровами, то привезти солому на ферму — мало ли что. К осени листья облетят и станет хорошо видно, что творится в доме напротив, только ее, Вали, не будет».

Где-то совсем близко заржала лошадь, звякнула уздечка, животное испуганно шарахнулось, послышался стук копыта о прясла. Дикая утка, тревожно крикая, перелетела через лунную дорожку и скрылась в темноте. Домашняя, ночующая со всем семейством на берегу, проснулась, зашевелилась, прислушалась и, успокоившись, вновь закинула голову за спину, уткнувши клюв под перо.

Кругом опять стало тихо.

— Что напоминают тебе звезды? — спросила девушка, повернувшись к Васе лицом, залитым лунным светом.

— Не знаю.

— Опять он не знает! — возмутилась Валя и отвернулась.

Вася неловко застыл на скамейке. Что он мог сказать? Как ответить на ее вопрос? Разве уместно было сравнить луну с куриным яйцом, а звезды с гнездом? Ведь, поди, посмеялась бы она, эта «ученая»... Но что поделаешь: у нее свои слова, у него — свои.

— Не верю тебе, не верю! Я ведь слышала, как ты пел в лесу. Почему ты не учишься? Почему? Неужели братья не могли помочь? Ведь они взрослые люди... Как это с их стороны несправедливо! Сами образованные, живут как люди, а младший... Разве так хорошо? Тебе что, нравится жить в деревне?

— Нравится,— прошептал Вася, опуская голову.

— Не понимаю,— пожалала Валя плечами,— хорошо, конечно, приехать домой летом, вспомнить детство, родные места, помочь матери, хорошо даже и в колхозе поработать, но чтобы всю жизнь... Я бы не смогла.

— Если все уедут, то кто останется на земле?

— Ты не «все», ты «Вася-певец». Вон даже Тамарка-вертихвостка об институте мечтает...

— В этом году в армию ухожу, там на шофера выучусь.

— Видно, напрасно я с тобой завела этот разговор,— обидчиво проговорила девушка.— Поступай как знаешь.

— Я-то знаю,— вдруг упрямо и решительно по-мужски возразил он.

Девушка окинула Васю коротким внимательным взглядом — вот он, оказывается, какой этот Вася-певец... И тут, пожалуй, впервые за все годы она рассмотрела его по-настоящему: спокойное (нет, вовсе не тупое!), открытое лицо, резкие, мужественные черты, крепкая, сильная фигура. Теперь Вале показалось, что она вела себя с ним не так, как он этого заслуживает, слишком покровительски, обидно снисходительно. Да разве она вправе давать советы, жалеть этого человека? Излишне впечатлительный? Возможно. Мечтательный? Да. Малоразговорчивый? Может быть. Даже немного несуразный, чудной. Только не глупый, не темный, не жалкий...

Валя хотела что-то сказать, но в это время к скамейке подошла Кулине-инге.

— Иди, доченька, домой, я посторожу.

Если бы знала мать, как она не вовремя проявила свою заботу. Чтобы не вызвать подозрения, Валя поднялась, притворно зевнула:

— Ох и правда, спать хочется...

У Васи от этого явного притворства стало нехорошо на

душе: «Если она может так обманывать мать, то и меня может. Неужели все ее слова такая же правда, как и то, что ей сейчас спать хочется?»

Тетка Кулине сидела на лавочке и клевала носом, Вася поднялся, прошелся по улице, уговаривая себя не принимать все близко к сердцу.

Далеко на лугу раздалось квохтанье глухарихи — она, наверно, во второй раз за лето вывела птенцов.

«Надо бы проверить гнездо,— промелькнула мысль, мгновенно успокоившая его недавнее волнение. Привычный мир, привычные звуки.— Скоро все пойдет по-прежнему, как только Валя уедет...»

6

После той памятной ночи молодые люди случайно встретились в маленьком леске за деревней. Вася был одет по-праздничному.

— Ты чего такой нарядный?

— Так ведь спасов день нынче. Яблочный праздник.

— Праздник, а яблок-то нет. Чего повезу нынче в Москву? Девчонки разочаруются, привыкли, что мне мать полные сумки набивает овощами да фруктами. Нынче тебе повезло, повезешь меня на станцию налегке.

— А я нынче не повезу,— улыбнулся Вася.

— Почему?

— Да я в армию ухожу.

— А-а-а,— протянула Валя, внутренне радуясь, что именно по этой, а не по какой еще причине отменяется нерушимое в течение стольких лет правило.— Жаль, конечно. Только можно спросить: нормальные люди переживают, когда их служить забирают, а ты рад?

— Рад, и все тут,— решительно заявил Вася, сверкнув смеющимися черными глазами. Сделав кольцо из большого и указательного пальца, положив на него круглый лист орешника, он сверху сильно ударил ладонью. Раздался звук, похожий на выстрел.— Так будем служить, Валечка! Поняла?

Валя смотрела на него во все глаза — парень совсем преобразился: уверенный, спокойный, сильный. Неужели это он вспыхивал от каждого ее взгляда, дичился, стеснялся, вздыхал и сочинял песни, похожие на девичьи?

— Яблоками, если хочешь, я тебя все-таки угощу. Ну,

конечно, не сумку готовь, а ладони. Пару достану. Так и быть.

— Где ты их возьмешь, все деревья стоят пустыми.

— Моя забота. Хочешь на спор?

— Если проспорю, то что потребуешь?

— «Спасибо» скажешь.

— Условия простые — принимаю.

— Тогда засекай время, через пять минут вернусь...

Зашумели кусты, уступая дорогу бегущему человеку, и Вася исчез...

«Куда же он все-таки подался, этот чудак, — подумала Валя, — а не зря ли я затеяла эту историю с яблоками? Какой-то он сегодня необычный. Глаза горят, голос смелый. Ох, девка, смотри, доиграешься, — сама себе пригрозила девушка, но тут же отмахнулась: — Что он мне может сделать? Разве посмеет свой, деревенский, обидеть? Ему тогда старики голову оторвут».

И Валя успокоилась. Время шло, минутная стрелка подходила к назначенному сроку, а его все не было.

«Проиграет, — подумала девушка, — вот тогда я ему такое назначу».

Но парень появился на опушке точь-в-точь в назначенное время. Запыхавшись, сел на пенек, высоко подбросил яблоко и ловко поймал его на лету.

— Выиграл? А? Что скажешь?

— Спасибо, как и договаривались, — засмеялась Валя, — давай его сюда.

Вася отвел руку:

— За такое сладкое полагается еще кое-что.

— Что же?

— А вот что, — воскликнул Вася, вскочив с пенька. — Ты должна меня...

— Не тронь, — догадалась Валя, отступая к дереву.

Но Вася, как видно, не собирался оставлять своего намерения. Сделав два больших, решительных шага, он оказался рядом с испуганной девушкой.

— Закричу, — предупредила Валя.

— Не закричишь, — он обнял девушку за плечи, повернул к себе ее лицо и только было собрался поцеловать эти близкие манящие губы, как замер. Огромные, полные слез глаза смотрели на него обиженно, по-детски. Тогда он вдруг вспомнил тот далекий случай, свою первую встречу с маленькой нарядной девочкой. Руки разжались сами собой.

— Не плачь,— сказал Вася,— не надо мне ничего.

...В траве лежало яркое спелое яблоко. Они разошлись в разные стороны, так и не взглянув на него.

Со стороны леса приближался ветер, он сердито гудел, гневно заламывая ветки, пригибал к земле мелкий подлесок, ломал сучья больших деревьев, крушил листву. Листья, как пойманные бабочки, силились освободиться из цепких, безжалостных объятий, тревожно шумели. На вершине могучего дуба плакала горлица. Вдруг загредел гром, ветер мгновенно утих, пошел сильный, крупный дождь.

Вася остановился под дикой яблоней, пережидая ливень. На ветке, почти на уровне глаз, висело гнездо. Услышав под ногами какое-то шебаршенье, он нагнулся и увидел в траве птенца. Промокший, жалкий, со слипшимися от дождя перышками, птенец дрожал, таращил на человека испуганные глаза. Бережно и нежно Вася взял его на ладонь и осторожно опустил на мягкое, сухое дно гнезда.

— Вот так, не бойся, не такой уж я и страшный зверь,— сказал он и по высокой мокрой траве направился в сторону деревни.

7

Колхозники, чтобы не было простоя у комбайна (лопнул скат), молотят горох прямо в поле.

Машина шумит, захлебывается. Временами, не справляясь с нагрузкой, комбайн трясется и гудит, как сиплый дед. Тогда сверху раздается недовольный голос комбайнера:

— Сколько вас учить надо! Не кучами пихайте, а тербите.

После поучений, полученных сверху, машина гудит ровней, аккуратно выплевывая сухую ботву, ее тут же сгребают граблями.

Валя в черных защитных очках работает вместе с матерью — кидает на транспортер полову. Она то и дело поглядывает в сторону, где тетя Настя хлопочет возле сына.

Сегодня Вася еще не обедал — когда все отдыхали, во-зил к комбайну немолотый горох.

Девушка видит, как он неохотно, без аппетита жует сваренное вкрутую яйцо. Васина мать достает из глиняного кувшина огурец, разрезает его пополам, круто солит солью, затем трет две половинки друг о друга, пока не показывается белая пена. Одну половину она кладет перед

Васей, но тот, казалось, не замечает материнской заботы, смотрит куда-то в сторону и молчит.

— Вася,— зовет тетя Настя,— а Вася.

Сын молчит, не отзывается, тогда мать трогает его за плечо.

— Оглох, что ли! — кричит она так громко, что все поневоле оглядываются.

Вместо ответа сын подымается, стряхивает с колен прилипшие белые яичные скорлупки, хлебные крошки и, не обращая больше ни на кого внимания, садится на телегу, гонит лошадь в поле.

— Переживает парень,— сочувственно кивают головой люди.

— Не знаете, почему его в армию не взяли?

— Испортила Настя жизнь младшему. Держит у юбки.

— Да она, чай, больная...

— А что с ней?

— Нервы. Повредила баба, когда пришла похоронка на Сидора. С тех пор как расстроится — на землю падает и бьется.

— Васька на отца сильно смахивает, знать, оттого она его так любит...

...Третьи сутки колхозники работают без отдыха — торопятся закончить молотьбу до того, как заберут молотилку в другую бригаду. Ток освещают две лампочки. На платформу со скирды кидают снопы шесть человек, три девушки — внизу, три — наверху, подают на стол, подвигают к машинисту. Жадное чрево барабана поглощает все с неимоверной быстротой.

Вдруг молотилка остановилась.

— Что случилось? — кричат верхние.

— Не успеваем, людей не хватает,— отвечают снизу.

— Панклейские сбежали.

Соседей пригласили на подмогу, а они подвели, осталась лишь одна девушка из Панклеев.

— Чужие есть чужие, что им до наших дел. Тут и обижаться не стоит.

— А Вася где? Все переживает этот неудавшийся вояка?..

— Ему сегодня в ночь. Амбар сторожит.

— Так ведь он недавно дежурил.

— Кто его знает, почему так решил бригадир.

— Вон Валя трудится — девушка, да еще студентка, а здоровый парень дома сидит.

...Вася перед ночным дежурством отдыхает. Отдых вынужденный — его тянет на ток, там сейчас горячая работа. Скучно одному сидеть в избе.

Тусклый свет неполной луны освещает соломенные крыши, дома дают слабую тень.

Стекла в разошедшихся рамах чуть дребезжат в такт молотилке, словно упрекают за безделие.

Не в силах больше переносить одиночество он выходит из дома.

Напуганные шагами человека лягушки одна за одной прыгают в воду. От пруда идет тяжелый запах лыка...

Вася проверил замки на дверях амбара, кликнул охранника, но тот не отозвался.

Корявая ветка ивы, похожая на лошадиную ногу, все так же четко выделяется на фоне серебристой воды. Только от «золотого яйца» — луны — нынче осталась одна половинка, из нее вылупились страшные чудовища с оскаленными мордами, трехгорбые, гривастые, многорукие и многоногие, они медленно проплывают над деревней.

Парень подошел к скамейке, на которой он тогда провел всю ночь, присел и задумался.

Как получается в жизни — не хотел, а обидел. Ее, самую лучшую на свете. Зачем, почему он всегда поступает не так, как велит сердце? Вот и в детстве... Ненароком хлестанул прутом хорошую, добрую девочку. И как только Валя не обиделась на него на всю жизнь? Ведь потом как ни в чем не бывало и разговаривала, и шутила, и хороводы водила.

Теперь он опять не сдержался, опять обидел до слез... Она говорила, что на поэтов учатся. Не может этого быть, этому научить нельзя! Надо просто кого-то любить. Вот он, почему сочиняет песни? Потому что любит Валу, ее одну. Может, и песни его — лишь для нее? Хорошо ли, плохо — какая разница. И песни его — красивые или некрасивые, кому до них дело? Он не знает и не хочет знать им цену — поет, как скворец весной, зовет своим голосом милую.

Невезучий он все-таки: думал пойдет в армию, подучится там какому-нибудь делу, хотелось шоферскому, но не вышло. Сельский совет по ходатайству братьев представил в военкомат бумагу, что мать больна, вот и не взяли. Несчастья, говорят, по одному не ходят. А какой он счастливый был в тот, спасов день... Казалось, крылья выросли за плечами. Даже Валя заметила... Валя... Как получилось все плохо. Что теперь делать?

Вася обхватил голову руками, закачался из стороны в сторону, стараясь унять душевные муки.

А ночью через день случилась еще одна беда.

После сильного ливня прорвало верхний пруд. Освобожденная вода залила ближайший овраг. Вместе с ней ушла из водоема вся рыба. Золотистые карпы, караси и лини неслись по течению, застревали в густой траве. Все деревенские бросились собирать неожиданную добычу. Немая Унись гналась за жабой, поймала и начала страшить ею, людей, чтобы отогнать от беззащитной рыбы.

Скоро на месте верхнего пруда осталась одна тина, лягушки всю следующую ночь прыгали по улице — переселялись на новое место, на нижний пруд, который удалось отстоять.

«Теперь нашему рыбаку негде будет рыбку половить», — сожалели люди.

Сам Вася появился у пруда только один раз. Посмотрел, как ведрами тащат рыбу, ничего не сказал, только горько усмехнулся.

8

Валя шла по тропинке: с одной стороны раскинулось поле гречихи, с другой — проса. У гречихи красные стебли похожи на ноги иззябшего голубя, а головки проса — ну просто настоящие петушинные гребни.

«Странно, — подумалось девушке, — никогда не было такого со мной раньше». При самой малой неприятности обычно Валя бежала или к матери, или к Унись, немой сестре. Даром что сестра не умеет говорить, но зато она понимает дай бог каждому. В этом году Унись как-то особенно посматривает на Валу, а при виде Васи начинает хмурить брови и отрицательно качать головой. Что ей не нравится в нем? Однажды немая, указав на Васин дом и на сестру, закрыла глаза ладонями, как будто заплакала. Из невинного бубнения Валя поняла: «Не надо».

Унись так посмотрела на сестру, что сердце перевернулось от невыразимой жалости — как обидно все-таки, что нельзя поговорить с калеккой, такой доброй, такой чуткой. Валя обняла сестру, уткнулась ей в грудь и сама чуть не расплакалась. Унись гладила Валины плечи, тихонько мычала — так в далеком детстве она баюкала маленькую сестренку.

...Теперь, гуляя в поле, Валя вспомнила про случай с

яблоком. Отчего ей так беспокойно на душе? Ведь и не объяснишь никому — ни матери, ни сестре. Первый раз девушка осталась по-настоящему наедине сама с собой и только сама у себя просила разъяснения.

Вот и то место, где они в последний раз встретились с Васей. Пенек, на котором он сидел и играл с яблоком. Возле пенька лежит коричневый, гнилой плод, по нему бегут муравьи.

Рядом хрустнула ветка, из кустов вышел дед Филипп. На плече у деда свежая, только что срубленная дубовая жердь.

— А-а, это ты, касатка, — облегченно вздохнул он, заметив девушку, — думал лесник. Пришлось срубить незаконно.

Какой-то безобразник ограду в саду поломал — надо починить. Надо же, своровал одно-единственное яблоко. Лопнуло бы его брюхо.

— Да ты не ругайся, дедушка, может, кому захотелось спасов день отпраздновать.

— Мало ли кому что хочется. Пусть бы своим яблоком и разговелся. Колхозного — не тронь, на чужой каравай, знаешь, как говорят, рот не разевай. А ты чего здесь делаешь одна?

— Гуляю просто так.

— Скоро ли поедешь в Москву?

— Да скоро.

— Небось жалко с родными местами расставаться?

— Немного. Через полгода опять вернусь.

— Да, бедная Кулине-инге. Растила дочку, вырастила. Умная да красивая, чего уж там — правду говорю, а выучишься, ведь не приедешь в деревне жить? А? То-то. Останется мать с немой Унись.

— Жалко мне их, да что поделаешь.

— Ладно, не расстраивайся. Замуж выйдешь, детей родишь, некогда будет тогда жалеть.

...Случайный разговор с колхозным сторожем и вовсе разбередил душу, вдруг захотелось поскорее уехать в Москву, окунуться в привычную сутолоку студенческой жизни, где свои проблемы, свои трудности, свои огорчения, свои радости.

«Что мне, действительно, за дело до них до всех: до этого несчастного яблока, до этого деда Филиппа, до Васи, до его песен — не нужно мне этого ничего, зачем зря голову забивать?»

Но Вася, с его, как ей еще недавно казалось, серенькой, невыразительной судьбой, неотвязно стоял перед глазами. И вовсе не такой уж он серенький и невзрачный. Пусть Валя не была уже теперь деревенской девчонкой, но она все-таки выросла здесь, среди этих людей, и сама, хоть и хлебнула столичной жизни, оставалась в душе такой же, как они. Валя хорошо понимала, что они с Васей не пара, что дороги их жизни вряд ли могут сойтись, но от него исходила сила, такая же могучая и чистая, как от этих полей, реки, леса... Он, этот застенчивый юноша, был здесь хозяином.

Валя быстро шла по дорожке. Под кустами орешника прятались грузди. Присутствие грибов выдавали небольшие бугорки — там, под листьями, затаилась желанная добыча грибников — благородный груздь.

«Вот и Вася такой же, — подумала девушка, — скрывается, таится, а сам чистый, тонкий, талантливый. Нисколько он не виноват — это я сама дразнила его, кокетничала, даже вспомнить стыдно».

И Валя вдруг приняла неожиданное решение — надо встретиться с Васей, поговорить.

А вот и дом тети Насти. На оконной раме висит кошка, мяукает, просится в избу, но ей никто не отворяет окна. Валя знает, что хозяйка в больнице, значит, и сына нет дома.

— Васю не видели? — спросила у соседки.

— Ушел куда-то. С вещами.

— С вещами?..

— Часа два назад, как ушел. Поди, в город.

— В город... Да тетя Настя с ума сойдет, если узнает...

Через пятнадцать минут Валя вывела из ворот велосипед. Оказавшись на дороге, она нажала, как говорится, на все педали: только косы развевались за спиной да раздувался ветром подол легкого платья.

Он долго сидел в тени...

Один-единственный солнечный луч, пробиваясь сквозь могучую крону столетнего дуба-великана, падал на его плечи, освещал каштановые пряди волос.

За машинами, катящимися по дороге бесконечной вереницей, тянется столбом пыль, за поворотом пыльное облако словно отрывается от удаляющихся кузовов и, растерявшись, рассеивается, оседает на траве и кронах деревьев.

Конечно, не легко ему дался этот трудный шаг. Что ожидает впереди? Не за длинным рублем, не за мечтой о новой прекрасной жизни, не за впечатлениями, даже не за наукой, не за музыкой Васю потянуло в город. Он и раньше был всем доволен, он ничего не требовал от себя и окружающего — все было при нем. Крепким, молодым дубом поднялся он от земли, твердо зная, что его место здесь. Никогда его никуда не тянуло. Он был доволен своим деревенским житьем, наполненным до краев трудом, здоровой усталостью и таким же здоровым отдыхом. Ни книги, ни клубные развлечения не могли сравниться с теми впечатлениями, которые юноша получал от общения с природой. Вася любил и людей, и животных, но ровно, спокойно, без излишней сентиментальности, не избегал своих сверстников, но так получилось, что закадычного друга у него не оказалось. Не было нужды находить кого-то, чтобы излить перед ним душу. Рыбалка, лес вполне заменяли общение со сверстниками. Когда случались огорчения, то ничто его так не успокаивало, как природа. В лесу, в поле, под солнцем и ветром, среди летающих бабочек, поющих птиц, среди шорохов и звуков, красок и запахов временные неудачи и переживания уходили куда-то прочь, рассеивались и растворялись, казались смешными и нелепыми.

Так он и жил, никого не тревожа, ни с кем не враждуя, никуда не стремясь. Все в деревне считали Васю степенным и серьезным пареньком, завидовали Насте, но она сама постоянно тревожилась за сына. Чутким материнским сердцем мать улавливала в сыне его внутреннюю хрупкость и знала наверняка, что таким, какой он есть, Вася сможет сохраниться только здесь. Не всякое растение или дерево, так говорил крестьянский опыт, можно пересадить без ущерба для него на другую почву. С большим трудом переносит это, скажем, дуб или ель, а ветла, хоть одну ветку воткни в землю, сразу же даст ростки. Поэтому-то и встревожилась так Настя, когда узнала, что сына забирают в армию. Мало того сказать — встревожилась — чуть с ума не сошла! Подняла всех на ноги... Председатель сельского Совета, когда Васина мать примчалась в Совет и начала просить, умолять, требовать, скрепя сердце, подписал заявление в райвоенкомат с просьбой отсрочить Васи́н призыв — столь велик был материнский напор. «Кто ее знает, эту малохоленную, вдруг и вправду наложит на себя руки — тогда греха не оберешься. А от Насти этого можно ожидать — она баба с придурью».

— На учет тебе надо стать в дурдом,— в сердцах сказал председатель.

— А и стану,— дернулась лицом Настя.— Стану, куда хотите, только сына мне оставьте.

— Что ты так боишься? Слава богу, еще никого в армии не съели.

— Был бы ты матерью, понял. Нельзя Ваську моего никуда из деревни отпускать.

— Других можно, а его нельзя? Чудные вы какие-то...

— Считай — чудные.

Мать, сражаясь за сына, не напрасно тревожилась — с парнем что-то стряслось, не тот стал ее Вася: хмурый, невеселый, все молчит и часто, без причины, вздыхает и задумывается. Уж не сглазил ли кто его?

Насте и в голову не могло прийти, что виновницей перемен была Валя. Сколько лет живут рядом, выросли на глазах. Неприметно, чтобы Васька «сох» по Кулининой дочке. Она сама по себе, он, кажись, и внимание не обращает на эту красивую девчонку. Сын — парень спокойный, самостоятельный. Он на девчат, вообще, не глядит, еще ни одна, поди, не вскружила ему голову, ни с одной на лавочке не сидел после хоровода. Все один да один.

Одно подозрительно, только соседка кликнет: «Сынок, съезди на станцию за моей москвичкой» — или: «Отвези, сделай милость, Валечку к поезду» — Вася мигом соберется, чем бы ни занимался, какую бы работу ни делал — все бросает: Кулине-инге нет отказа, когда бы ни позвала.

Впрочем, узнай Настя правду, она вряд ли приняла ее близко к сердцу: Вася паренек деревенский и должен понять, кто ему пара, а кто нет.

Вася понимал... Но однажды случилось такое, в чем он так и не сумел хорошенько разобраться.

Было у него одно любимое местечко. Весной, как только зацветали ландыши, он спешил туда, на опушку. Там, под густой завесой листвы, расцветали эти удивительные цветы. Достаточно постоять рядом, вдыхая тонкий, нежный аромат, как потом весь день ходишь счастливый, довольный всем на свете...

Первый раз, когда Вася встречал молодую соседку, возвращающуюся домой после первой зимней сессии, на него вдруг повеяло ароматом лесных ландышей. И лицо у девушки стало похожим на белый чистый цветок.

С того раза и повелось: парень стал жить от встречи к встрече. Но любил ли он девушку? Хотел ли, чтобы Валя

стала его женой? Пожалуй, нет. Разве можно жениться на ландыше? Странное творилось в душе юноши. Его глаза видели Валию, бойкую, озорную студентку, по одежде и манерам непохожую на сельских девчат, а душа под этой внешностью различала иное — весеннюю опушку, залитую нежно-белыми цветами, от которых исходит запах, кружащий голову и делающий человека счастливым и довольным всем на свете.

И ревность, как и Васина любовь, была не такой, как у всех. Дотрагиваться до Вали — значит, не щадить хрупкой красоты лесного чуда — ландыша. Потому и горько стало парню, когда он увидел, что какой-то посторонний человек осмелился обнимать ее. Потому и горит обидой сердце при воспоминании о том вечере... Разве можно забыть, что видел? Они танцевали: Валины руки лежали на плечах того студента, а тот держал ее за талию.

Пожалуй, именно тогда Васе захотелось изменить свою жизнь, показавшуюся сразу вовсе не такой завидной, как ему раньше думалось.

Мать помешала уйти в армию. Пусть! Но он все равно не останется в деревне — все теперь потеряло свой смысл, нигде теперь он не мог найти покоя...

Из глубокой задумчивости его вывел чей-то голос, Вася поднял глаза. Рядом стояла Валя, держась за руль велосипеда.

— Ты что же не отвечаешь? Кричу, кричу.

— Не слышал.

— Говорят, ты в город собрался. Правда?

— Ага.

Он не мог говорить — так неожиданно было ее появление. Откуда она взялась? Зачем?

— Чего тут скрывать, — вздохнула девушка, — знаю, из-за меня. Я во всем виновата. Прости меня. Ну, чего ты молчишь?

Он пытался выдать из себя хоть слово, но не мог.

Валя прислонила машину к дереву, села рядом, пытаясь заглянуть юноше в глаза, но он отворачивался и смотрел куда-то вдаль невидящим взглядом. Так прошло томительных полчаса, наконец Вася собрался с духом.

— Не надо... — он хотел еще что-то добавить, она смотрела на него с напряженным вниманием, именно это и не давало ему говорить.

Всю свою жизнь Вася прожил молчком: ни с кем ни разу не вступив в настоящий, страстный спор, не потому,

конечно, что был трусом или не имел собственных убеждений — просто в конечном итоге что бы ни случилось, он всегда был всем доволен. Учителя советовали ему продолжать образование, но мать отговорила, и он послушался. Мало того, даже убедил себя, что зря в нынешнее время чуть что — гонят учиться. Если в школе считали, что у него талант, то разве у тех, кто создавал народные песни, у простых людей, было училище или консерватория? А вот, поди, приезжают музыканты-ученые и просят стариков, чтобы они вспомнили старинные песни. Для Васи тоже не нужно ничего, кроме самой песни.

Легко перенес он и неудачу с курсами трактористов. Он даже рад, что не связал свою судьбу с этим пожирателем бензина. Сравнивая свою привольную езду на телеге, да при вольном ветерке, да под голубыми небесами, Вася каждый раз радовался. Небось и предки его катили мимо этих же полей, по такой же мягкой пыли проселочной дороги, убаюканные мерным качанием телеги, клевали носом и, чтобы не уснуть, взбодриться, то и дело понукали лошадь, а та не спеша трусила себе, обмахиваясь хвостом, да сыпала на дорогу парные «лошадиные яблоки». Никакого тебе шума, никаких тебе отравных, удушливых газов...

Теперь он понял — надо «просыпаться»! Но каково будет это пробуждение? Город манил и звал, но сам ли город или та, что, как наваждение, уводила его за собой — русалкой — в омут? Вот очнется, а ее нет...

— Вот что, — сказала Валя решительно, — если ты действительно задумал поступать, то в этом году тебе ничего не светит. Время Ломоносовых прошло, чтобы котомку за плечо — и айда пехом в столицу. Готовиться надо, особенно тебе. Наверно, все перезабыл? А?

— Перезабыл, — признался Вася.

— Вот. Потом еще одно. Не понравится тебе в городе. Не тот у тебя характер.

— Мать то же самое говорит. А твой Игорь не пропал же.

— Игорь другое дело, он приспособленный. Да брось ты воображать всякие глупости. У меня с ним нет ничего — просто приятель. В Москве мы с ним и не видимся. Знаешь, я тут много о тебе думала. Мне кажется, что ты особенный человек, вот такие, наверно, и были мудрецы. Не смейся. Я так себе представляю: станешь стареньким, отпустишь длинную бороду, будешь сидеть в избе, а вокруг тебя люди: молодые, пожилые, дети... Ты им сказки рас-

сказываешь, песни поешь, советы даешь, как жить на земле красиво и достойно, чтобы никого не обижать, не жадничать, не ссориться. Много к тому времени наберется у тебя красивых слов... Может, и обо мне вспомнишь, мол, одна недалекая девушка вздумала меня перевоспитать.

— Я этого никогда не скажу.

— А что скажешь?

— Скажу так: была у нас в лесу опушка, на которой росли ландыши. Однажды она возьми и превратись в девушку.

— Неужели? «Валина опушка» не хуже звучит, чем «Полянка Златовласки». Да Игорек бы усох от такого!

— Валя, Валя, что ты со мной делаешь? — воскликнул юноша. — Я решил: хотел уйти, а ты держишь. То манила, звала за собой, то останавливаешь. Зачем?

— Я не хотела.

Девушка опустила голову, задумалась. Как все-таки поступить? Для нее ясно — Васю нельзя отпускать, во всяком случае сейчас, в таком настроении парень может наделать такого, о чем еще не раз пожалеет...

— Теперь ты молчишь, — протянул он, — а время уходит. Поди, опоздал на автобус.

— Вот что, — встрепелась девушка. — Ты на велосипеде ездить умеешь?

— Запросто.

— Тогда садись за руль, а я на раму.

— Что ты задумала?

— Все будет в порядке. Давай садись. Неужели откажешься подвезти?

— Куда?

— Домой, устала я очень, а ты и так не поспеешь сегодня.

Велосипед, спускаясь с Длинного холма, все набирал и набирал скорость.

Валины волосы щекотали щеки, временами он чувствовал прикосновение ее крепкого горячего плеча.

— Потихе, — предупредила девушка встревоженно, — тормоза не держат.

Но Вася только сильнее нажал на педали. От ее волос пахло ландышем, сладко кружилась голова — они вместе, они несутся навстречу радости!

Он все увеличивает скорость, велосипед мчится по пологому склону прямо к крутому берегу.

— Ой! — это отчаянно закричала Валя. — Пропали, разобьемся!

Ее косы лежали на его плечах, закинутые ветром. Продлить бы этот миг!

— Вас-я-а! Остановись!

Он почувствовал, как машина теряет устойчивость — это Валя отпустила руль, собираясь соскочить, но он только крепче обнял ее за талию, освободив одну руку.

Велосипед подпрыгнул на кочке, колеса ударились о доску, положенную через овражек. У Васи потемнело в глазах. Он сжал руль с такой силой, будто хотел раздавить. На лбу выступил холодный пот. В уши ударил девичий крик.

...Потом Вася долго лежал на берегу, закрыв лицо руками.

Как это произошло? Трудно представить, что машина, несущаяся с такой бешеной скоростью, смогла проскочить по доске длиной более пяти метров, не сорвавшись вниз.

— Послушай, — наконец сказала девушка, трогая его за плечо. — Ты же совершил небывалое! Знаешь, оставайся лучше таким, как есть.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

- 3 И всё стало
иным...
- 101 Девушка
с берегов Сормы
- 151 Агафьина
березка

РАССКАЗЫ

- 211 Двойник
- 251 Долг
- 273 Улдык
- 288 Вася-певец

Скворцов Ю. И.

С42 И всё стало иным...: Повести, рассказы/Пер. с чувашского К. Ткаченко.—М.: Современник, 1985.—318 с.— (Новинки «Современника»).

В пер.: 1 р. 40 к.

Повести и рассказы известного прозаика Чувашии Юрия Скворцова, пишущего о деревне, посвящены нравственным исканиям и проблемам сельской молодежи.

Герои большинства его произведений принадлежат к поколению, чьи отцы и старшие братья погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Это наложило свой трагический отпечаток на судьбу многих подростков, рано повзрослевших, узнавших тяжелый труд, испытавших лишения послевоенного времени. Но эти же испытания сделали их более чуткими, отзывчивыми на чужую боль, научили любить Родину, быть бескомпромиссно требовательными к себе и к людям, пробудили стремление жить полноценной духовной жизнью.

С $\frac{4702650000 - 315}{M106(03) - 85}$ 271—85

ББК 84 (ЧУВ)7
С (ЧУВ)

**Юрий Илларионович
Скворцов**

И ВСЕ СТАЛО ИНЫМ...
Повести, рассказы

Редактор **Е. Корнеева**
Художник **Н. Стасевич**
Художественный редактор **А. Дианов**
Технический редактор **Л. Демьянова**
Корректоры **Т. Воротникова, В. Лыкова.**

ИБ № 3767.

Сдано в набор 21.06.85. Подписано к печати 19.09.85. А13546. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 16,8. Усл. краск.-отт. 16,8. Уч.-изд. л. 17,86. Тираж 50 000 экз. Заказ 1664. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

1.40

